

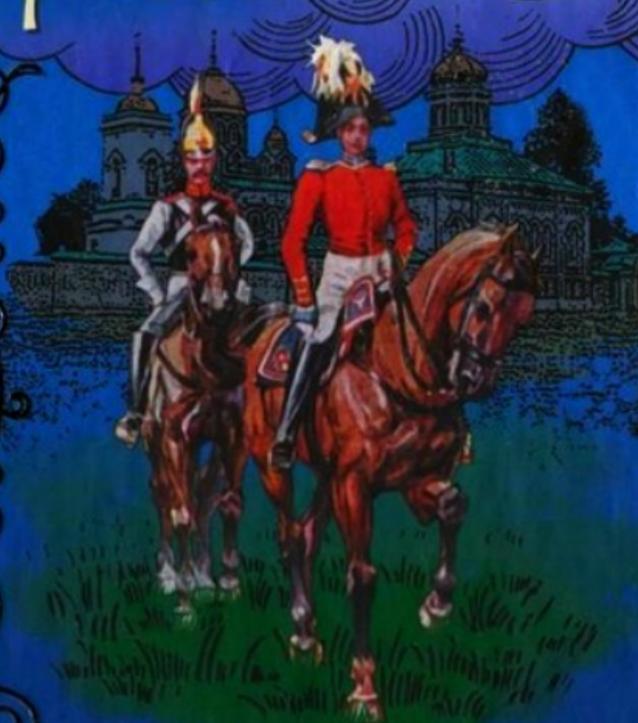
ИСТОРИЯ
РОССИИ
В РОМАНАХ

Софья
Макарова

Софья Макарова

ГРОЗНАЯ ТУЧА

ГРОЗНАЯ
ТУЧА



К

Книжный Дом

Софья Марковна Макарова

Грозная туча

Софья Макарова (1834–1887) — русская писательница и педагог, автор нескольких исторических повестей и около тридцати сборников рассказов для детей. Ее роман «Грозная туча» (1886) последний раз был издан в Санкт-Петербурге в 1912 году (7-е издание) к 100-летию Бородинской битвы.

Роман посвящен судьбоносным событиям и тяжелым испытаниям, выпавшим на долю России в 1812 году, когда грозной тучей нависла над Отечеством армия Наполеона. Оригинально задуманная и изящно воплощенная автором в образы система героев позволяет читателю взглянуть на ту далекую войну с двух сторон — французской и русской. Это поистине эпическое произведение читается с большим интересом, подкупает правдивостью и живостью изложения.

Содержание

#1	0007
Глава I	0007
Глава II	0024
Глава III	0034
Глава IV	0047
Глава V	0077
Глава VI	0099
Глава VII	0118
Глава VIII	0143
Глава IX	0157
Глава X	0179
Глава XI	0190
Глава XII	0206
Глава XIII	0226
Глава XIV	0241
Глава XV	0272
Глава XVI	0288
Глава XVII	0306
Глава XVIII	0323
Глава XIX	0338
Глава XX	0364
Глава XXI	0389
Глава XXII	0416
Глава XXIII	0435
Глава XXIV	0451

Глава XXV0479
Глава XXVI0501
Глава XXVII0523
Заключение0552

Софья Макарова
ГРОЗНАЯ ТУЧА



Софья Макарова

ГРОЗНАЯ ТУЧА



Глава I



Тоял над Москвой жаркий июньский вечер. Семья доктора Краева, жившая во флигеле дома генеральши Тучковой, собралась пить чай в садике, заросшем кустами смородины, крыжовника, сирени, душистого жасмина, калины, бузины. Небольшой сад этот был окаймлен орешником вокруг высокого досчатого забора, скрывавшего его от прохожих и соседей, что придавало садику уютный, чисто семейный вид. Босоногая горничная Палашка, переваливаясь, тащила большой медный самовар, тщательно, но все-таки плохо вычищенный. Анюта, дочь доктора, девушка лет семнадцати, сидела возле простого деревянного стола, покрытого пестрой скатертью, и расставляла чашки на подносе тульского изделия с ярко раскрашенной пастушкой посередине, пасущей овец на необычайно зеленом лугу. Ее бабушка Марья Прохоровна, еще

не старая женщина, в белом чепце с большими оборками и распашном ситцевом капоте, из-за пол которого проглядывала белая вышитая юбка, сидела на деревянной скамейке под густо нависшими ветвями старой липы и занимала гостей. Две пожилые дамы, ее соседки, Анфиса Федоровна Замшина и Дарья Андреевна Лебедева, сидели по обе ее стороны, а пожилой господин Григорий Григорьевич Ров то присаживался к дамам, то подходил к столу, за которым сидела Анюта.

Это был высокий, бодрый и сильный мужчина с густыми темно-русыми волосами, тщательно выбритый, в сюртуке, застегнутом на все пуговицы вплоть до шеи, так что не видно было и краешка белья.

— Слыхали, матушка, — говорила Анфиса Федоровна, — кто-то высчитал по Апокалипсису, что число звериное и есть он, сам Наполеон!

— Ах-ах-ах! — всплеснула руками Дарья Андреевна. — Недаром, видно, явилось знамение над Москвой!

— Антихрист — как есть он самый! — сказал серьезно пожилой господин, подмигивая

лукаво Марье Прохоровне.

— Уж вы известный насмешник, Григорий Григорьевич, — обратилась к нему ахавшая барыня, подметив лукавое выражение у него в глазах.

— Я, матушка Дарья Андреевна, только объясняю мысль вашу. Уж если наши умные люди в имени Наполеона видят звериное число, так кем же ему быть, как не антихристом!..

— Да ну вас! — отмахнулась от него шутливо Дарья Андреевна и продолжала: — А что, матушка, как вдруг он придет сюда со всеми-то своими полчищами?

— И что это вы, голубушка! — перебила ее Марья Прохоровна. — Разве допустят его до Москвы! Слышали ли вы, Григорий Григорьевич, — обратилась она к Роеву, — сколько у нас войска стоит наготове?

— Как не слышать, матушка Марья Прохоровна! В Первой Западной армии под начальством военного министра Баркляя-де-Толли сто двадцать семь тысяч, да во Второй Западной армии у князя Багратиона до сорока пяти тысяч, да в Третьей, резервной, у генерала

Тормасова до сорока пяти тысяч. Это ведь составит двести восемнадцать тысяч...

— Так куда же Наполеону к такой силе подступиться! — сказали разом все три обрадованные барыни.

— Так-то так! — заметил Роев. — Только у антихриста войска немало. Понабрал, вишь, он его отовсюду: и в неметчине, и в Италии... целые орды, говорят, на нас двигает.

— А вот господин Санси уверяет, — вмешалась в разговор Анята, — что Наполеон нам вовсе не страшен: постоит у границы да уйдет — не посмеет за рубеж перейти. Литва и Польша преданы нашему государю; в Вильне его называют ангелом, и он преспокойно разъезжает один по окрестностям города.

— Слушайте вы их, барышня, французов этих! — сказал Роев, качая неодобрительно головой. — Свой своему поневоле брат.

— Что это вы, Григорий Григорьевич! — ужаснулась Анята. — Господин Санси против Наполеона. Он за короля. Говорят, будто он сам французский аристократ, граф какой-то...

— Все они тут у нас себя за графов выдают — благо, родословную их проверить нель-

зя.

— Да нет же! — оспаривала горячо девушка. — Санси вовсе не выдает себя за графа. Я поняла из слов Маргариты Михайловны Тучковой, что он знатного происхождения. От него же самого я знаю только, что он называет Наполеона узурпатором, то есть похитителем престола французского короля, и ненавидит его. Сам он о себе ничего не рассказывает и никогда не упоминает о своем прошлом.

— Может, и вспоминать-то нечего. Был там у себя сапожником или обойщиком каким, а к нам сюда пожаловал да в графы и попал.

— Его знает давно Александр Алексеевич Тучков, — горячо возразила девушка. — Тучков очень дружен с Санси. А вы знаете, как хорошо образован Александр Алексеевич и как высоко он ставит честь и достоинство человека. Да и вы бы переменили свое мнение о Санси, если бы поговорили с ним: он такой умный, так много знает, такие у него мысли честные, светлые.

— Да уж, барышня, калякать по-ихнему не умею, — отвечал, словно обидевшись, Роев. — Предоставляю уж это вам.

— Разве тут что худое — знать хорошо иностранный язык? — засмеялась примирительно девушка.

— Знать-то его хорошо, коли знаешь не для того, чтобы сорокой щебетать, а для того, чтобы книги читать дельные, а то у нас только болтать попусту учатся...

— Ну уж это про нашу Аннушку сказать грешно, — заметила серьезно Марья Прохорова. — Хоть внучку особо хвалить не приходится, а все-таки скажу: не болтунья она пустая, а дельная девушка.

— Да я и не про нее говорил! — поправился Роев. — Она у нас профессор да и только.

— Хороша Аннушка, коли хвалят ее мать да бабушка! — засмеялась девушка.

— Ишь как острит! — заметил весело Роев. — Пожалуйста за это ручку, барышня!

И он молодцевато подскочил к Анюте и поцеловал ее розовые пальчики, причем она его поцеловала в голову, как этого требовал этикет того времени. Старушки весело смеялись.

— Победила меня барышня, да не убила! — начал снова Роев. — Вот ежели бы она порассказала нам, какие умные речи говорит

ей этот полоумный француз, так было бы дело другое.

— Я не сумею передать даже и того, как он хорошо характеризует Наполеона, — сказала задумчиво Аня.

— А вы попробуйте, Анна Никоноровна. Может, и передадите? Не философию же вам какую преподает этот француз!

— А что вы скажете, — быстро возразила Аня, — он смотрит на Наполеона именно с философской точки зрения.

— Ну, ну, порасскажите.

— Вот подождите... Дайте подумать, с чего начать.

И девушка, собравшись с мыслями, начала так:

— Господин Сэнси говорит, что он требует от каждого человека разумного, определенно-го стремления к цели, полезной для всего общества. Что же мы видим в действиях самого Наполеона?.. Ничего, кроме безумной гордости, властолюбия и эгоизма. Война — его стихия. Но и для войн своих он не дает разумного предлога. И в них видно лишь его стремление расширить свою власть, упрочить свое могу-

цество. Он отвергает все предания и чувства народов и, свергая с тронов законных государей, замещает их своими братьями и собственниками, из которых ни один не имеет качеств, необходимых для хорошего правителя. Для своей страны Наполеон тоже не сделал положительно ничего полезного. Народ он считает созданным для себя одного, а войска — для службы его эгоистическим интересам. Говорят, что он прекратил страшное кровопролитие революции и восстановил религию. Но он сам ни во что не верует и проливает более крови в войнах, чем было ее пролито во времена самых ужасных дней революции. Господин Санси находит, что Наполеон одно полезное дело сделал в своей жизни...

Тут Анюта остановилась и, лукаво посматривая на Роева, спросила:

— Какое бы вы думали дело?

— Ну, ну, барышня, говорите! — в нетерпении поторопил девушку Роев, весьма заинтересованный ее речью.

— Это — производство сахара из свекловицы, — продолжала лукаво Анюта.

— Что? — удивился Роев.

— Ах ты шутница! — закричала бабушка, смеясь вместе с соседками.

— Не смейтесь, бабушка! — продолжала серьезно Аня. — Наполеон действительно заставил ученых отыскать вещество, заменяющее тростниковый сахар. Возненавидев Англию, он стал против ввоза в Европу всех товаров, доставляемых морем из английских колоний, а без сахара во Франции обойтись нельзя; вот и поручил он ученым отыскать сахарные вещества в каком-нибудь европейском растении, и химик Ашар нашел его в свекловице...

— Так и видно барышню! — пошутил Роев. — Закончила все-таки сладким: говорила, говорила да на сахар и съехала. А все-таки, что ни говорит ваш француз о Наполеоне, а тот — сила. Похваляется он до самой нашей матушки Москвы добратся. Что ж! Может, и дойдет.

— Ах, что это вы, Григорий Григорьевич! — заохали опять барыни.

— Слушайте вы его! — успокаивала своих гостей Марья Прохоровна. — Он ведь нарочно нас пугает.

— Право же, матушка, слышал — знакомый сенатский чиновник мне говорил.

— Так вам и поверим, ждите!

В эту минуту в садик вошел высокий, худой пожилой человек. Лицо его выражало сильную озабоченность.

Быстро приблизившись к беседующим, он даже не подошел поцеловать ручки дамам, как это было принято, а, сделав общий поклон, нервно проговорил по-французски:

— Наполеон в России!..

— Что такое? Что случилось? — раздалось со всех сторон.

Едва выговаривая от волнения слова, девушка передала по-русски сказанное вошедшим. Дамы повставали со своих мест и схватились за головы.

— Быть не может! — перебил Анюту Роев. — Француз вам лжет... Кто ему сказал?

Анюта принялась расспрашивать вошедшего и быстро переводила его слова...

— Я сейчас от Алексея Алексеевича Тучкова, — говорил тот. — Нельзя не сознаться, что узурпатор действует весьма быстро. Десятого июня он объявил своим войскам: «Россия

увлекается роком, она не избежит судьбы своей. Вперед! Перейдем через Неман, внесем оружие в пределы России!..» И через два дня войска его перешли Неман.

— Где же император? Что с ним? — спросила тревожно Марья Прохоровна.

— Он был в Вильне, когда ему донесли о переправе войск Наполеона. Он действует истым рыцарем и, давая рескрипт, сказал: «Я не положу оружия до тех пор, пока останется хоть один неприятель в моем государстве». Лучше этого не сказал бы и сам король Франции! — добавил восторженно француз.

— Силы небесные! Что же это будет с Россией! — воскликнула Марья Прохоровна, всплеснув руками.

— Да, плохо! — протянул Роев. — Можно ли было ожидать, что Наполеон решится перейти нашу границу? Да не врет ли француз? Как же это наши войска допустили переправу? Спросите-ка, барышня...

— Наполеон объявил полякам, — отвечал Аняте француз, — что восстановит их прежнюю независимость, причем высказал свое особое уважение храбрым литовцам, и те сра-

зу стали на его сторону.

— Наши войска вступят в сражение с французами и разобьют их, — сказала с полнейшей уверенностью Марья Прохоровна. — Ворвался неприятель к нам изменой, но дальше его не пустят: наши обе армии стоят в Литве. Ведь там много войска. А как вы скажете, Григорий Григорьевич?

— Много, много, матушка! Да у Наполеона-то, видно, и того больше! А тут поляки еще стали на его сторону.

— Никто, как Бог! — сказала набожно Марья Прохоровна.

— На Бога надейся, а сам не плошай! — напомнил сурово Роев.

— Наши в России, — шептал между тем француз, опускаясь на стул возле стола, за которым сидела Аня, — и чувствовать, что они тебе чужие... даже более чем чужие — враги! О, это ужасно! Что сделали эти люди с нашей бедной Францией!

Аня, зная, что подобные размышления могут довести несчастного до полнейшего иступления, как бы помешательства, постаралась отвлечь его от раздумья.

— Выпейте-ка чаю, господин Санси, — предложила она ему ласково, подавая большую, высокую чашку.

— Я не в состоянии ничего есть, — отказался он.

— Выпейте чай так — безо всего.

Санси машинально принял чашку, поставил ее рассеянно на стол и продолжал бормотать что-то, то опуская низко голову, то поднимая ее и делая энергичный жест правой рукой.

— Ну не помешанный ли! — сказал Роев, указывая на него дамам. — Разве можно ему верить? Может, все это ему пригрезилось?

— Что слышно у Тучковых? — спросила Аня, чтобы направить мысли несчастного Санси в другую сторону.

— Вчера мадам Тучкова получила письмо: сыновья ее, генералы Николай, Поль и Александр Тучковы, по счастью, стоят на берегу Вилии. Это ведь не близко от переправы?.. Наполеон переправился через Неман у города Ковно.

— Надо знать, в каком месте подле Вилии они находятся, ведь, как вы знаете, Вилия

впадает в Неман.

— Ах, я и забыл! — ударил себя по лбу француз. — Подождите... генерал Александр близ Вильно, в Забелине.

— Что он толкует о Тучковых, барышня? — спросил Роев.

— Елена Яковлевна получила письмо от Павла Алексеевича: он стоит близ Вильно в селении Забелине вместе с братом своим Александром Алексеевичем.

— Счастливая, право, эта Елена Яковлевна! — заметила Замшина. — Все пятеро сыновей — генералы. Старший-то, кажется, командует корпусом.

— Нет, старший Алексей Алексеевич давно в отставке, — пояснила старушка Краева. — Корпусом командует Николай Алексеевич.

— В военное время иметь четырех сыновей в армии — не особенное счастье, — заметил Роев.

— Да, тяжело бедной матери! — согласилась Лебедева. — Но не менее тяжело и Маргарите Михайловне, жене младшего Тучкова. Она, кажется, сильно его любит.

— Да так любит, — кивнула Аня, — что

решилась оставить своего маленького сына под надзором француженки Бувье, а сама поехала в обозе вслед за мужем.

— Славная барыня! — воскликнул весело Роев. — Не думал я, что такая знатная, избалованная красавица, как урожденная Нарышкина, способна на такой подвиг.

— Чего не сделает любящая жена! — заметила Марья Прохоровна.

— Что они говорили о Тучковых? — спросил Санси, мало понимавший по-русски.

Анюта стала ему передавать, как все восхищались женой Александра Алексеевича, но Санси ее не дослушал: он быстро вскочил и пошел навстречу к входившему в сад хозяину дома Никанору Алексеевичу Краеву и, схватив его за обе руки, потряс их, спрашивая в волнении: слышали? Наполеон-то!

— Слышал! — отвечал Краев сурово. — Уж лучше бы и не слышать! — добавил он по-русски.

— Так это правда, что Наполеон перешел Неман? — спросили все в один голос.

— Всюду только об этом и говорят.

— Да что же говорят? — спросил нетерпе-

ливо Роев.

Наскоро поздоровавшись со всеми и опускаясь на стул, Краев ответил:

— Наполеон стоял со своими полчищами на нашей границе, за рекой Неманом, неподалеку от города Ковно, и десятого июня отдал по своим войскам приказ перейти Неман, что и было исполнено два дня спустя. Император Александр был в это время в Вильне. Получив известие о переправе через Неман наполеоновских войск и зная, что они вдвое многочисленнее наших, он в свою очередь дал приказ по армиям, кончавшийся следующим возванием: «Не нужно мне напоминать вождям, полководцам и войскам нашим об их долге и храбрости. В них издревле течет громкая победами кровь славян. Воины! Вы защищаете веру, отечество и свободу. Я с вами. На зачинающего Бог».

— Он весь тут — наш добрый, умный государь! — заговорили дамы в умилении, поднося платки к глазам.

— Что же Санси напутал, — отозвался вдруг Роев, — будто государь сказал: «Не положу оружия...»

— «...доколе не останется ни единого врага в моем царстве», — закончил Краев. — Он точно сказал это, но только не в приказах по армиям, а в рескрипте, данном им Салтыкову.

— Что же, скоро наши вступят в бой с Наполеоном? — допрашивала Марья Прохорова.

— Да Бог ведает! Вы знаете, одним из главнокомандующих Барклай-де-Толли, а он не прыток на сражения.

— Ну а любимец Суворова князь Багратион? — спросил Роев. — Чего же тот медлит?

— А вот будущее покажет нам, на что решатся наши, — сказал Краев. — А пока вам, барыни, надо готовить корпию. Много ее понадобится — ой много!..



Глава II



а полтора года до перехода Наполеона через Неман шел усиленный рекрутский набор во Францию. В небольшом городе Нанси пребывали в страшном волнении все те семьи, где были молодые люди, годные для военной службы.

— Вы-то чего тревожитесь, мадам Ранже? — говорила толстая торговка своей подруге, сидевшей, грустно опустив голову. — Вам нечего бояться за вашего Этьена: он у вас один. Неужто вы боитесь, что будут брать и единственных сыновей?

— Как знать, как знать, мадам Арман! — тихо отвечала Ранже, еще ниже опуская свое доброе выразительное лицо, сохранившее еще следы былой красоты.

— И полноте! И не думайте об этом! Вот мне — так есть над чем призадуматься. Ведь у меня три сына-молодца. Положим, Шарль вы-

шел уже из лет, но Мишель и Ксавье как раз по возрасту подходят: того и гляди, который-нибудь из них номер и вытянет... А вы знаете, мадам Ранже, что какой палец не куснешь, всё болит; так и сыновья: Мишеля жаль, он недавно женился, двое малюток, а Ксавье — жених. Роза, девушка тихая, скромная, семьи зажиточной, хорошая жена будет, и в торговом деле бойка, лучшей невестки и не найти мне. А тут, того и гляди, Ксавье в солдаты попадет. Если бы еще не идти ему в чужую дальнюю сторону, сражаться тут, за свое отечество, за кров свой, это я понимаю, а то ушлют его Бог весть куда!.. Поговаривают, будто еще на неметчину пойдут, на границу к варварам русским. Вы ничего не слышали об этом, мадам Ранже?

— От кого же мне слышать, мадам Арман? Муж мой несообщителен, я тоже, а Этьен, как и всякий молодой человек, не занимается политикой, да и некогда ему: только что кончит свою работу, сразу же берется за книги.

— А патер Лорен ничего ему не говорил об этом? Ведь ваш Этьен его любимец, он им не нахвалится, и учит-то он его не как наших де-

тей, а всему — словно дворянского сына.

При последних словах Ранже вздрогнула, но, быстро оправившись, сказала кротко:

— Не знаю, право, мадам Арман, может быть, он ему и сообщал что-нибудь, но у нас с Этьеном не было об этом разговора.

«Хитрёна! — подумала Арман. — Никогда ничего не скажет. Вот уже более пятнадцати лет минуло, как поселились они в нашем городе, а мы все-таки ничего не знаем об их прошлом, словечка не промолвит даром, все только отмалчивается. И муж не лучше, одного поля ягоды, до сих пор не знаем точно, за кого он стоит. Только и слышно, что всех жалеет, все для него люди, вишь, одинаковы. Ну нет уж, извините, я этого никогда не скажу, своего буржуа ни с аристократом, ни с иноземцем на одну доску не поставлю! А вот этим пришлецам — так все равно!»

И она со злобой взглянула на задумчивую, кроткую Ранже — словно на врага какого.

— А где вы жили до начала революции? — спросила она ее снова.

Ранже побледнела, но тотчас ответила:

— Мы жили с мужем в маленькой дере-

вушке на западе Франции.

— Уж вы не из тех ли, что отстаивали короля и его приверженцев под предводительством генерала Шаретта?

— Нет, мы не королевской партии, — уклончиво сказала Ранже.

— Не за короля и не против короля! — довольно злобно засмеялась Арман. — Куда ветер подует, туда и мы.

Ранже ей не возразила, но, взяв свою корзинку, сказала вежливо:

— Прощайте, мадам Арман! Мне пора домой.

Она пошла не спеша по главной улице и, повернув за угол, очутилась возле своего дома. Не успела она переступить порог его, как до нее донеслись обрывки фраз весьма горячего спора.

— Но отец! — говорил почтительно молодой человек. — Мне не дают прохода товарищи.

— Оставь их, дитя мое! Пусть себе потешаются. Надоест это им и отстанут.

— Но они называют тебя шуаном[1]... Скажи мне, отец, ты никогда не был на стороне

королевской партии?

— Нет, Этьен, я не был с теми, что отстаивали короля, но я не сочувствовал и тем, которые пролили его кровь: убить человека — дело ужасное, Этьен, а убить народного представителя — еще ужаснее! Если бы ты только видел, сколько невинной крови было пролито во имя равенства и свободы!..

— Народ жестоко мстит за прошлое.

— Вот то-то и есть, что мстить — дело постыдное и недостойное человека. Я никогда не стану на сторону мстящих. Они не щадят ни женщин, ни детей; они делаются точно лютые звери.

— Не вспоминай прошедшего! — кротко молвила вошедшая Ранже, положив руку на плечо мужа.

— Но Женевьева, — сказал тот быстро, — не могу же я допустить, чтобы Этьен ненавидел аристократов!.. — затем, словно спохватившись, он добавил: — Точно те не такие же люди, как и мы.

— Между аристократами, как и во всех условиях, — заметила серьезно Женевьева, — есть много честных людей. Я это постоянно

говору Этьену.

— Но я их не знаю, матушка! — живо возразил молодой человек. — А так как они действуют против Франции, то я охотно пойду против них.

— О, не дай Бог попасть тебе в армию!

— А я бы охотно пошел! Мне так тяжело слышать все эти упреки, видеть, как вы равнодушно относитесь к тому, что так меня волнует.

— Ты не доволен, что мы с твоим отцом не умеем ненавидеть? — подняла на сына грустные глаза Женевьева. — Поживи, Этьен, увидишь больше людей, лучше приглядишься к ним, и твое сердце смягчится. Ты тогда сам убедишься, что приходится многое прощать людям, а ненависть не прощает.

— Франсуа Ранже, от Ревизионного Совета! — прокричал чей-то голос, и рука с военными пуговицами на обшлагах просунула в щель приотворенной двери большой пакет, запечатанный казенной печатью.

Франсуа взял пакет, распечатал его дрожащей рукой, прочел бумагу и сильно побледнел.

— Что там такое? — спросила в волнении Женестьева.

— Призывают Этьена в набор.

— Как? Единственного сына?.. Быть не может!

— Берут всех, кто только способен к военной службе. А наш Этьен, кажется, ни на рост, ни на здоровье пожаловаться не может, — грустно произнес Франсуа, глядя с любовью на сына и невольно любуясь его стройным станом, красотой и умным выражением лица.

Этьен, за минуту перед этим говоривший, что охотно пойдет в солдаты, побледнел и опустил голову. Ему вдруг показалось невыносимо тяжким оставить все окружавшее его с детства, не говоря уже о сильно им любимых родителях. Покинуть этот очаг, у которого он провел все свое детство и юность... покинуть товарищей... не видать больше колокольни, которую — он привык видеть с тех пор, как помнит себя... Оставить все это и идти куда-то... Он всем сердцем откликнулся Женестьеве, с рыданиями обнявшей его.

— Может быть, он не вынет номера! — успокаивал жену Франсуа. — Кому какое сча-

стье!

Но Ранже говорил все это таким голосом, будто сам не верил в сказанное.

Семья эта, еще за минуту до рокового пакета жившая мирно и тихо, вдруг почувствовала себя выбитой из обычной колеи. Все с этих пор пошло у них вверх дном. Часы работы и отдыха, так мирно чередовавшиеся, нарушались без всякой видимой необходимости: то Женевьева не состряпает вовремя обеда, то Этьен не вернется в оговоренное время, то сам Франсуа проработает дольше обыденного; сойдутся, молчат, у всех тяжело на сердце; что кто ни скажет, представляется и ему, и другим некстати. Прошло так с неделю. Позвали, наконец, Этьена в Ревизионный Совет. Пошли и старики за ним туда же. Не одни их сердца бились тревожно: все шедшие туда страдали не меньше их; только и слышались вздохи и сдерживаемое рыдание да неестественно веселые голоса молодых людей, В: смехе которых чувствовались подавленные слезы. Трудно было пробраться в зал ратуши по почерневшей дубовой лестнице. Целые массы двигались по ней вверх и вниз. В боль-

шом зале расхаживал жандарм, стараясь всеми силами водворить порядок, а в смежной с залом комнате заседали члены. Слышно было, как там громко выкрикивались имена.

Время от времени входил туда неестественно разбитной походкой один из молодых людей, вызванных из большого зала, где он находился среди своих родных и близких, и через минуты три выходил оттуда весь красный или смертельно бледный, с крупными каплями пота на лбу. Редко кто из них радостно бросался на шею своих близких; по большей части вышедшие подходили молча и показывали номер. Многие уже стояли с номерами в руках: и Матвей Ру, и Луи Сорбье, и Люсьен Гра, и другие... Родители встречали их со слезами и подавляемыми вздохами. Семья Арман оплакивала уже поступление Ксавье, а тот, глядя на свою невесту Розу, старался казаться беззаботно веселым перед своими товарищами и знакомыми.

Широкая дверь здания ратуши была раскрыта настежь, и через нее доносились звуки разных мотивов, наигрываемых в двух, в трех местах площади.

— Этьен Ранже! — раздался голос полицейского.

Этьен, не взглянув на своих, торопливо пошел к дверям.

Старики притихли, в них будто все замерло: ни один из них не мог поднять головы, опущенной на грудь, и сидели они, словно приговоренные к смерти, беспомощно опустив руки.

Прошли в ожидании несколько минут, показавшихся им годами. Кто-то прокричал какие-то слова там, в этом страшном заседании; они не поняли; полицейский выкрикнул новое имя, и в дверях показался Этьен с № 20 в руках. Женевьева вскрикнула и схватилась за грудь. Франсуа взял ее под одну руку, Этьен под другую и бережно повели ее к выходу.

Барабаны на площади неистово трещали, флейты заливались, литавры звенели, а из соседнего помещения продолжали выкрикивать номера...



Глава III



емья Франсуа и не опомнилась, как пришлось прощаться с Этьеном.

Последнее время все они находились точно в чаду каком-то. Только одно дело продвигалось толково — это приготовление всего необходимого на дорогу сыну. В мешке его не только была прочная пара сапог и по две перемены белья, но туда же засунула Женевьева и фуфайку, и шерстяные чулки, и напульсники с теплыми перчатками.

— На границе России холодно! — говорила озабоченно мать. — Кто знает, может быть, захватят их там морозы. А если лишним окажется мое вязанье, пусть лучше тогда его выкинет.

— Не велика тяжесть от чулок да от фуфайки, — заметил Франсуа. — И у нас утренники бывают холодные, а тут еще дождем не раз его промочит, так и рад будет теплой перемене.

не!

— Когда же мы, Франсуа, скажем ему? Так ли бы следовало его снаряжать! Как я подумаю только о его знатном роде, так у меня еще больше сердце надрывается. Увидал бы его покойный дедушка, герцог де-Брисак... как его внук, граф Этьен Санси де-Буврейль, пойдет в поход наравне с простыми солдатами!..

— Что об этом толковать, жена! Благо, он не изнежен, так и лишения ему не покажутся особенно тягостными. А сказать все-таки надо, я уже предупредил отца Лорена об этом. Мало ли что за поход может случиться.

— Что ни говори, а он не таков, как простые рабочие. Вот погляди, что делается теперь по трактирам: пьют, курят, бранятся; старые служаки с сизыми носами рассказывают молодым турусы на колесах, а те их даром угощают. А наш-то все с хорошими людьми в обществе.

— Это оттого, жена, что он учился толково, ум-то работает, так пьяная компания и не тянет. Ему бы ученым быть, вот его прямая дорога. Ну да что тут толковать! Надо идти, куда

судьба ведет.

Разговор их был прерван приходом Этьена.

— Завтра выступаем, — сказал тот, вешая фуражку на гвоздь у входной двери.

— Патер Лорен знает об этом? — тревожно спросил Франсуа.

— Да, отец! Он мне сам сообщил об этом и хотел зайти, провести последний вечер с нами.

— Вот это отлично! — сказал Франсуа, многозначительно взглянув на жену.

Та молча встала и пошла доставать что-то в сундуке.

Этьен ожидал встретить слезы, и эта торжественная сдержанность стариков удивила его и порадовала. Ему так тяжело было оставлять родной свой угол, а слезы матери отняли бы у него последнюю бодрость.

— Все необходимое мы тебе приготовили в этом мешке, — сказал ему Франсуа. — Об одном прошу тебя: не бросай всех этих вещей, пока не будешь на обратном пути. Когда захочется тебе что-нибудь швырнуть как ненужное, вспомни, с какой материнской заботой Женевьева готовила все это для тебя.

Долго еще говорил Франсуа. Этьен слушал его молча, следя за всеми движениями Жене-вьевы, готовившей ужин. Он точно желал за-помнить до мельчайшей подробности все то, что сейчас окружало его.

Когда патер Лорен вошел, стол уже был на-крыт, и вся семья встретила гостя с почти-тельной радостью.

— Поужинаем, чем Бог послал! — сказал ему Франсуа. — А затем попрошу вас сделать напутствие нашему Этьену.

— Что ж! Подкрепить силы не худо! — от-вечал одобрительно патер, садясь прямо к столу.

Франсуа принес откуда-то припрятанную на торжественный случай бутылку хорошего вина, и все принялись молча ужинать. Одна-ко ни вино, ни вкусное кушанье не развесе-лили их. Даже патер Лорен, похваливая ма-стерски приготовленную баранину, не ел ее с таким аппетитом, которого следовало ожи-дать.

Вскоре все было убрано со стола, и оста-лась только недопитая бутылка вина.

— За здоровье отъезжающего! — сказал па-

тер Лорен, высоко подняв наполненную до краев рюмку. — Да хранит его Господь и поможет честно исполнить долг гражданина.

— Аминь! — заключила набожно Женевьева, утирая слезы, так и катившиеся по лицу.

— Прошу вас, отец Лорен, — обратился Франсуа с особенной торжественностью к патеру, — объявить Этьену так тщательно скрываемую нами от него тайну.

Молодой человек с недоумением и тревогой взглянул на отца, затем на патера.

— Да, сын мой! — обратился тот к нему ласково-серьезно. — Мне давно известно, что эти хорошие люди... тебе не родители.

Этьен с горьким чувством глядел на Женевьеву и Франсуа. Он не мог так сразу сообразить, как это те, кого он называл, как помнил себя, отцом и матерью, ему не родители, а может быть, и совсем чужие...

— Тебя это удивляет и, кажется, огорчает, — продолжал патер. — Но дольше скрывать твое происхождение Ранже не желают. Так как ты идешь сражаться за границу, то, может быть, там встретишь своего отца, если он жив еще. Узнает он тебя вот по этому меда-

льону с образом Парижской Богоматери. Над внутренней крышкой его вырезано твое имя, год и число твоего рождения, а внутри хранится записка твоей матери, написанная ею к твоему отцу в страшную и самую мучительную минуту ее жизни, а именно когда дед твой был схвачен и посажен в тюрьму вместе со многими другими.

— Как? Мои дед и отец!.. — воскликнул Этьен.

— Как и ты сам, — перебил его патер Лорен, — они древней знатной фамилии, честно и доблестно служившей своему отечеству. Тебе не придется краснеть, если земли твоих предков однажды будут возвращены тебе: они приобретены не хищничеством, а получены за верную и честную службу нашему отечеству. Твой дед, по отцу, граф Санси де-Буврейль, был убит в сражении. Твой дед, по матери, герцог Брисак, всегда отстаивал обиженных и громко порицал несправедливость и злоупотребления. Он последнее время не оставался при дворе и был привлечен к суду только по злобе на него взяточников, ставших, к несчастью, во главе республиканского

правления. Теперь тебе ясно, сын мой, почему честный Франсуа Ранже и его жена так старались развить в тебе чувство беспристрастности ко всем сословиям, почему они приходили в ужас, когда твои сверстники внушали тебе ненависть ко всем аристократам вообще. Поверь, сын мой, честные благородные люди, к какому бы сословию они не принадлежали, составляют гордость нации, и ты можешь смело гордиться своими предками не потому, что они знатны, а потому, что они — честные люди...

Этьен был ошеломлен всем услышанным. Его мозг работал сейчас усиленно, одно впечатление сменялось другим, и он не мог ничего представить себе ясно.

— Воспитавшие тебя Ранже, — продолжал патер Лорен, — люди без образования. Но, тем не менее, эти добрые люди не уступают в честности твоим предкам. Они укрыли тебя в минуту страшной опасности. Дед твой по матери, герцог Брисак, жил в своем поместье, когда начались ужасы революции. Ты тогда был нескольких месяцев и находился с матерью в имении деда, так как твой отец был с

нашим посольством в Петербурге. Когда деда твоего казнили, мать твоя, кормившая тебя, не вынесла этого удара и умерла в страшной агонии. Ты бы погиб, как погибли многие дети аристократов, заморенные в тюрьмах и приютах, но тебя спасли Ранже. Твоя мать, графиня Маргарита Санси де-Буврейль, устроила брак Франсуа с Женевьевой, она отказалась от какой-то блестящей безделушки и деньги отдала Ранже на новое их хозяйство. Сделала она счастливыми не одних их только, но они сильнее прочих чувствовали благодарность.

— О нет! — воскликнула Женевьева. — Многие готовы были сделать то же, но я была в замке в тот ужасный день, когда явились с обыском, и мне сунула няня в корзинку Этьена вот только с этим медальоном. Если бы не добрые соседи, мне не удалось бы спрятать ребенка, но они все постарались не выдать меня, все любили графа и никто не оказался предателем. Вскоре мы с мужем уехали, не сказав никому, куда, и с тех пор Этьен считается нашим сыном, да и точно мы любим его не менее родного дитя.

Этьен бросился к Женевьеве, обнял ее, затем обнял Франсуа и сказал с чувством:

— Даю вам слово: почитать и любить вас, как это было до сих пор.

— Господь тебя наградит за это, сын наш по сердцу! — сказал Франсуа.

Женевьева только плакала и прижималась к груди обнимавшего ее Этьена.

— Отец знает, что вы меня воспитываете? — спросил молодой человек, когда немного успокоился от волнения.

— Нет, мы не могли сообщить ему этого, — ответил Франсуа. — Мы боялись выдать тебя, написав в Россию. Ты видишь, как неприязненно до сих пор относятся к нам жители Нанси, а во время нашего сюда переселения было еще хуже. С тех пор, как Наполеон сделался императором, стали относиться с меньшей враждебностью к аристократам. Но в первое время республики не щадили ни стариков, ни детей.

— И вы, мой отец, — обратился Этьен к патеру, — ничего не слышали о моем отце?

— Я избегаю всякого сообщения с эмигрантами. Если бы Женевьева не призналась мне на

исповеди, кто ты, и не просила бы меня заняться твоим воспитанием как можно внимательнее, то я бы и не узнал никогда о твоём происхождении.

— Жив ли отец мой? — спросил задумчиво молодой человек. — До сих пор о нём ничего не слышно. Неужели он не разыскивает меня?

— Вспомни, Этьен, — остановила его Женевьева, — что он не знает, куда мы поехали. И даже если ему сказал кто-нибудь из наших, что ты у нас, то ему все равно невозможно было разыскать тебя.

— Если он и приезжал во Францию, — пояснил патер Лорен, — то не иначе как под чужим именем. Наполеон хорош только с теми аристократами, которые не стоят на стороне королевской партии. Между тем отец твой, находясь в России, всегда держался стороны принцев и готовился помогать Людовику занять французский престол, на который тот имеет права по наследству своего брата Людовика XVI и его малолетнего сына. Ты поймешь, мой юный друг, как опасно при подобных обстоятельствах приезжать во Францию,

где малейшая неосторожность может грозить твоему отцу смертным приговором. Если он знает, что ты жив, то обязан беречь свою жизнь ради тебя; если же он думает, что ты убит, то тем более не станет разыскивать погибшего...

— Это верно! — согласился задумчиво молодой человек.

— Дай тебя благословить на дорогу! — продолжал патер Лорен. — И запомни слова своего старого воспитателя. Ты принадлежишь к обоим сословиям и не должен никогда забывать этого. Сословная вражда не должна существовать для тебя. Помни еще, что как есть худые и хорошие люди в разных сословиях нашего народа, так точно они есть и в каждом народе, а потому ты должен считать всех людей нашими близкими, как указал нам Спаситель, и щадить тех, с которыми нам приходится вести войну. Ты умен, образован и не трус; весьма вероятно, что счастье тебе улыбнется, и тебя сделают офицером. Тогда ты обязан будешь не дозволять своим подчиненным ни грабежа, ни насилия, никаких безобразий: Каждый обязан помнить, что он

не только солдат, но и человек. Только при таких условиях я и могу благословить тебя на борьбу с неприятелем, который, может быть, как и мы с тобой, любит мирную жизнь, но вынужден защищать свое отечество и проливать кровь наших братьев — французов.

По уходе патера Лорена Этьен долго еще расспрашивал Франсуа и Женевьеву о своих: об отце, деде, матери. Женевьева так живо описала наружность их, привычки, образ жизни, что юноше казалось, будто он увидел их. Его интересовали малейшие подробности, и вся ночь прошла в рассказах о замке и его обитателях.

— Однако пора тебе отдохнуть! — сказал Франсуа, вставая из-за стола. — С рассветом вы выступаете в поход. Тебе необходимо быть бодрым.

— Я не засну, — сказал тихо Этьен.

— Если не заснешь, то полежишь спокойно, приведешь в порядок свои мысли.

Но далеко не спокойно провел Этьен оставшиеся часы последней ночи под мирным кровом людей, столь долго заменявших ему родителей. Все кругом спало. Свет луны проник

в его маленькую комнату, и Этьену казалось, что он видит то бледное лицо своей матери, то энергичное лицо деда, то умное, ласковое лицо отца. Все они манили его куда-то, в неведомую ему сферу в сфере людей, которых он когда-то так не любил, к которым относился всегда с пренебрежением. И об этих-то людях он узнал столько хорошего: в них было так много правдивости, любви к своему отечеству, ума, благородства, такое серьезное знание всех наук, о каких он получил только маленькое понятие в мирных беседах с патером Лореном.



Глава IV



аснул Этьен только перед самым рассветом. Вскоре его разбудил оглушительный барабанный бой. Франсуа и Женевьева были уже на ногах. По улицам двигались рекруты. В соседнем доме в растворенное окно высунулся капитан Дюшо, отдавая разные мелкие приказания.

Молодой человек не скоро очнулся: все, происходившее вокруг него, представлялось ему продолжением горячечного бреда, начавшегося тем, что ему сообщили о его знатном происхождении. Но через минуту он был уже на ногах и в лихорадочном волнении выскочил на улицу. На крыльце соседнего дома стоял капитан; серый плащ его, свернутый в трубку, был перекинут через плечо.

— Остается четверть часа до выступления! — говорил капитан своим подчиненным. — Смотрите, чтобы рекруты не опозда-

ли.

Не успел Этьен выпить теплого молока, вскипяченного Женевьевой, и закусить вчерашним бараньим жарким, как послышался непрерывный барабанный бой: барабанщики всех частей, собравшись на площади перед ратушей, производили неистовую трескотню.

Пора в путь! — сказал Этьен, обнимая Франсуа и Женевьеву. — Спасибо вам за все. Буду счастлив, если судьба позволит мне хоть чем-нибудь отблагодарить вас за ваше попечение о моем детстве, за чисто родительские ласку и любовь.

— Не забывай нас! — сказала Женевьева, порывисто обняв его.

— Пиши нам через патера Лорена, — добавил Франсуа.

Через несколько минут Этьен был уже на площади. Родные и знакомые новобранцев окружали их плотной толпой. Тут собралась вся семья Арман, провожавшая Ксавье. Глаза Розы были сильно заплаканы; даже хорошенькие ее бровки едва выделялись над покрасневшими распухшими веками.

Капитан Дюшо едва сдерживал своего ры-

жего жеребца, так и танцевавшего под ним. Офицеры окружали его. Сержанты делали перекличку.

Вот раздалась громкая команда Дюшо:

— По местам! Марш!

Новобранцы потянулись длинной вереницей к городским воротам. Мальчишки побежали за ними, крича: наши уходят! глядите-ка, глядите, как они маршируют! словно настоящие солдаты!..

Не прошло и полчаса, как все скрылось из виду выступавших: огороды, дома, казармы, пороховые заводы... исчезли скоро и крыша ратуши, и высокая церковная колокольня... все точно потонуло в мгlistом тумане.

Прошли новобранцы много селений. Перед каждым из них барабанщики поднимали неистовый барабанный бой. Новобранцы приосанивались и, с бодрым видом людей бывалых в походах, проходили молодцевато мимо женщин; а те, глядя на них, говорили грустно: «Это новички». Причем многие из них вздыхали о ком-нибудь из своих близких, где-нибудь тоже марширующих под треск барабанов. Особенно молодцевато выпрямлялся

всегда Ксавье Арман, стремившийся во что бы то ни стало прослыть лихим солдатом в глазах начальников и новых своих товарищей.

На остановках новобранцев принимали большей частью радушно. Жители обязаны были давать им только ночлег, но они зачастую кормили их даром: то появится перед рекрутами молоко с ломтями домашнего хлеба, то картофель, иной раз даже и лакомое кушанье — капуста с салом.

Этьен едва доплелся до первого привала: такую несносную боль чувствовал он в ногах от непривычки к продолжительным переходам. Вероятно, и Ксавье Арману было подчас тоже невыносимо; он менялся в лице, спотыкался, но продолжал шутить и напевать, тогда как Этьен молча шел мерным шагом.

Нужда приучит ко всему! Селение за селением, город за городом — новобранцы так добрались до Франкфурта-на-Майне. Этот старинный немецкий город наполнен евреями. Улицы в нем так узки, что едва можно разглядеть неба между дымовыми трубами.

Тут начали сортировать новобранцев —

кого в кавалерию, кого в артиллерию, кого в пехоту. И всем надели солдатскую форму. Свое прежнее платье им пришлось продать за бесценок евреям, несмотря на то, что многие из них преисправно торговались, стараясь вырвать у евреев лишний су, так необходимый солдату в походе. Тут же стали их обучать военным приемам и верховой езде. Этьена Ранже, Матье Ру, Ксавье Армана и Луи Сорбье поместили в конницу.

Они провели всю зиму между немцами, а весной их рассортировали по полкам.

Этьен и его товарищи поступили в легкую кавалерию генерала Себастиани и очутились в отряде короля неаполитанского Мюрата, женатого на сестре Наполеона.

Увидев в первый раз своего главного начальника Мюрата, Этьен поразился вычурности и оригинальности его одежды: венгерка, густо вышитая золотом, на голове модный бархатный убор вроде чалмы с пучком страусовых перьев; на груди золотые цепочки, на пальцах кольца... все это странно было видеть на таком боевом, отважном человеке.

Мюрат отличался храбростью, рыцарским

великодушием и был любимцем Наполеона Бонапарта.

Стали поговаривать в войсках, что Мюрат командует передовым отрядом, который движется к границе России.

На пути их обогнал император Наполеон. Он ехал из Дрездена в дорожной карете, запряженной шестериком. Его окружали пажы, адъютанты и конвой. Бывалые войска громко и радостно приветствовали императора, водившего их не раз в бой, еще когда он был только генералом.

Ксавье Арман пришел в неописуемый восторг от великолепной свиты императора. Он едва не сошел с ума при мысли, что многие из этих генералов в звездах и орденах были еще недавно мелкими офицерами, а многие офицеры — простыми рядовыми. С этих пор он только и мечтал сделаться офицером, а затем генералом и старался при всяком удобном случае показаться перед начальством. Нужно ли было переправляться вброд, он вызывался плыть первым, но его неумелость выказывалась при этом вполне, и он беспрестанно попадал впросак, и товарищи частенько подни-

мали его на смех.

— Наш Арман молодчик! — потешались они. — Первый в лужу лезет! Что боров, тину любит!..

— А помните, как он стадо быков за немецкую конницу принял?

— Добро бы баранов! — замечали некоторые в насмешку над союзниками-немцами, которых французы всегда недолюбливали.

— Без Ксавье Армана мы все пропали бы! — смеялась молодежь. — Он нас ведет, а не наши офицеры. В каждый лесок заглянет, на каждую горку первый въедет.

То беззаботно болтая, то молча перенося усталость и лишения, передовые отряды дошли в первых числах июня до границы Литвы и остановились лагерем близ Немана.

— Император неподалеку! — разнеслось вдруг по лагерю. — Он ночует в имении польского графа у Вилковишского леса.

— Стоит только ему самому появиться сюда, — говорили бывалые в делах солдаты, — так все и закипит.

— Я был с ним в деле под Маренго! — сказал один. — Задали мы тогда неприятелю пер-

цу!

— При Маренго все не то, что при Аустерлице! — говорил другой. — Мы так там рубились, что страх!.. Всю русскую гвардию искрошили. Сам император похвалил нас, сказал: «Я доволен вами! Вы покрыли наши знамена вечной славой!».

«А сколько крови пролито за эту славу! — невольно подумал Этьен. — Сколько семей разоренных, сколько траура!..»

И вспомнилось ему, какие горькие слезы были пролиты у них в Нанси, когда после этой блестящей победы дошли до них вести о том, что сын старого Жака раздавлен орудием, молодой здоровый Шарль Бомон изрублен, а весельчак Андре смертельно ранен. А сколько умерло в госпиталях от лихорадок, горячек или после операций, призывая в горячечном бреду своих близких, простирая к ним руки за тысячи верст.

Пока Этьен грустно раздумывал, Ксавье с восторгом слушал рассказы солдат, особенно о том, как многие из рядовых были произведены в офицеры.

— Вот хотя бы наш командир! — продол-

жал улан с длинными усами. — Мы с ним вместе в одном эскадроне служили. Я был у наших, пожалуй, еще в большем почете, чем он. А теперь до него и рукой не достать — генерал...

И честолюбивому Ксавье виделось, как ему прищипливает сам император крест Почетного легиона за храбрость, затем он уже офицер... гремит саблей, командует... ведет свой взвод на неприятеля, рубит врагов, давит их копытами лошади; пули свищут, гранаты разрываются, но ему все нипочем!.. И вот сражение кончено, и он произведен за геройство в старший чин, он ротмистр...

А бывалые продолжали вспоминать о битвах, лихих стычках и крестах Почетного легиона. Смех, грубые шутки и похвальба вылетали вместе с клубами дыма из-под их густых усов.

На следующее утро десятого июня, лишь только начало светать, верст за тридцать от ночевавших на бивуаках войск, появился на берегу Немана Наполеон. Он ехал верхом в синем походном плаще и польском головном уборе: он приехал ночью из Вилковишек с од-

ним только инженерным генералом и принялся сам осматривать местность. Чудный вид открылся перед его взором. Среди пестревших цветами лугов и полей с колосившейся уже рожью текла величаво Вилия, стремясь слить свои прозрачные воды с более темными и бурливыми водами Немана. В самом том месте, где обе реки соединились, образовав крутой поворот, расположен, точно в каком треугольнике, небольшой красивый городок Ковно. Гора Алексота, словно богатырь, стоит на страже реки, охраняя ее берега и приютившийся близ них городок. Всюду царят мир и покой, русского войска не видно, только кое-где поблескивают пики сторожевого казачьего кордона.

Но как городок ни мал, а все-таки в виду его переправляться небезопасно, и Наполеон выбрал для переправы своих войск место в трех верстах от Ковно, близ местечка Понемуни. Он остался весьма доволен тем, что в этом месте у Немана не стоят русские войска, и, возвращаясь, напевал все время: «Мальбруг в поход поехал». Два часа спустя он уже осматривал подходившие к Неману войска. Его те-

перь окружала блестящая свита, и воздух дрожал от слова «виват», которым императора встречали войска. Даже Этьен, не сочувствовавший кровавым битвам, поддался общему воинственному настроению. Он не мог отвести глаз от Наполеона. Правильное лицо его было так закончено, словно изваяно из мрамора. Светлый взгляд его охватывал все и всех. Легкая самодовольная улыбка не сходила с губ, хотя нахмуренное чело ясно указывало на беспокойные мысли, бродившие в его голове. Вся его осанка выражала сознание силы и превосходства. «Нет и не может быть у тебя других повелителей» — говорила она каждому.

Ру, Ксавье, Луи Сорбье, как и все остальные, охрипли, крича «виват!». Они забыли страшно томительные переходы, дожди, мочившие насквозь их одежду, и не сводили глаз с этого гениального вождя; а он спокойно объезжал на небольшом белом коне их колонны и дружески приветствовал не только офицеров, но и многих солдат, бывавших при нем в бою.

К вечеру войска, уставшие до крайности,

двигались сплошными массами впотьмах по совершенно незнакомой им дороге. Все шли в полнейшей тишине и во мраке. Не дозволялось разжигать огня и разговаривать. Эта предосторожность ясно указывала, что неприятель находится невдалеке, и заставляла любопытных делать в уме всевозможные предположения.

Так дошли они вплоть до реки Немана и расположились бивуаком на сырой земле, без костров. Нельзя было не только надеяться на теплый ужин, но даже на возможность просушить платье и обувь.

Какая-то зловещая тишина царила вокруг лагеря. Все местное население словно вымерло. Только на той стороне реки ярко светились костры, отражаясь искорками в тихих водах Немана. Это были линии сторожевых казаков, наблюдавших за русской границей.

Между тем у одной ближайшей корчмы появился худой длинноногий еврей в туфлях без задников, с пейсиками, вьющимися неряшливыми локонами из-под ермолки, в длиннополом сюртуке с фалдочками чуть не до самых пяток. Он пошептался о чем-то с вы-

шедшим к нему на крыльцо хозяином корчмы и быстро пошел обратно домой, а другой еврей побежал из той же корчмы передавать далее полученную весть. Такая передача называлась в Литве «пантофлевой почтой».

— Где же неприятель? — спрашивали друг друга потихоньку французские солдаты. — Неужели у русских всего только войска, что горсть этих казаков?

— Варвары русские испугались нас и побежали! — говорили хвастливо некоторые. — Где им устоять против нас!

— Как бы не так! — заметили записные воюки. — Вот как начнется у нас переправа, так они со всех сторон и нагрянут!..

— Кто идет? — раздался вдруг оклик часового.

— Франция! — отвечали ему.

— Какой тут полк? — продолжал допрашивать часовой.

— Шестой легкий.

Это был маршал Даву с генералами, окруженный саперами, инженерами и артиллеристами. Он ехал верхом у самого берега, всматриваясь в изгибы реки. По его указаниям бы-

ли уже расставлены пушки, и начинались приготовления к переправе. С разных сторон подвозились телеги, нагруженные разными материалами для постройки мостов; тащили лодки и бревна, наводили понтонные мосты. Артиллеристы стояли с зажженными фитилями у заряженных орудий, готовые начать пушечную пальбу по первому приказанию начальников. Со всех сторон подходили войска, только и слышны были названия полков того или другого корпуса.

На рассвете затрещали барабаны, и началась переправа двухсотпятидесятитысячной армии по трем мостам, наведенным за ночь на Немане. Остальные войска Наполеона в то же время переправлялись через Неман в других местах: у Тильзита, Прен и Гродно.

Наполеон велел поставить себе палатку на горе Алексоте и лично следил за переправой... Проходившие мимо него войска громко его приветствовали: «Да здравствует император!».

На мостах была страшная давка: пехота, конница, обозы — все спешило переправиться, все сбилось в одну сплошную массу и ме-

шало друг другу. Триста поляков с громким криком «виват!» бросились вплавь и первые переправились на ту сторону.

Увидев ясные приготовления к переправе неприятельских войск, командир казачьего разезда Жмурин, не смея вступить в бой без приказания, поскакал к своему начальнику графу Орлову-Денисову. Однако в его отсутствие началась-таки легкая перестрелка между казаками и поляками, переправившимися на русскую сторону, и гул ее нарушил утреннюю тишину. Но казакам вскоре велено было отступить, и поляки заняли без боя первую деревеньку.

Между тем переправа продолжалась, но полил дождь, испортил дороги, и перешедшим трудно было взбираться в гору, особенно — обозам. Тем не менее тринадцатого июня французы заняли Ковно и его окрестности.

Наполеон был очень удивлен, не встретив сопротивления, и проскакал три версты за город, желая лично убедиться, что тут нет и следа русской армии.

Несмотря на то, что поляки и литовцы

встречали Наполеона сочувственно, войска его принялись грабить страну, и Наполеон, переночевав в Ковно, выехал на следующий день, преследуемый воплями несчастных жителей, в дома которых ломились французы и грабили их беспощадно.

Этьен Ранже переправился со своими товарищами в одном из передовых отрядов. Дождя еще тогда не было, и при первых лучах солнца перед ними открылась прелестная местность, воспетая лет через десять Мицкевичем. Этьен увидел высокую гору, всю покрытую густой зеленью, чистые струи Немана, протекающего у ее подножия, прекрасные луга, и все это напомнило ему дорогую сердцу Францию. Но когда французы потянулись по песчаной дороге, окруженной густым лесом, когда небо заволкло свинцовыми тучами и пошел мелкий, пронизывающий насквозь дождь, то какое-то неприятное, томительное чувство охватило Ранже. Ему казалось, что их завели в безлюдную пустыню; и точно, селения попадались весьма редко; народ, напуганный грабежом, бежал в леса, унося с собой все, что мог, и уводя скот. Оставшиеся были

утрюмы и необщительны.

Вдруг поднялась страшная буря с проливным дождем. Солдаты изнемогали, лошади падали и до десяти тысяч лошадиных трупов легли между Ковно и Вильно, распространяя зловоние и заразу.

Этьен, находясь в передовых отрядах, не видел, по крайней мере, ни брошенных на произвол судьбы солдат, не способных из-за потери сил следовать за остальными, ни лошадей, павших под беспощадными бичами артиллерийской и обозной прислуги, не прекращавшей избиение бедных животных, чтобы только вывезти как-нибудь пушки, зарядные ящики и повозки, нагруженные офицерскими пожитками и провиантом. Но зато он стал свидетелем страшных обид, наносимых жителям его товарищами. Многие из них, проходя деревнями, забегали в крестьянские дворы, грабили, дрались с хозяевами, хватали по дороге кур, поросят, овец, резали им головы и прятали под седла. Затем они вбегали в помещичьи дома и хватали там все, что могли унести. Этьен молча следил за ними, но они чувствовали, что он не одобряет их, и ста-

рались оправдаться.

— На войне, если не брать силой, умрешь от голода, — говорил Ксавье Арман, занимавшийся грабежом вместе со всеми.

— Лучше умереть, чем красть! — заметил Этьен.

— Поглядим, то ли ты заговоришь, когда поголодаешь! — проворчал Ксавье.

— Что будет, не знаю, но теперь я еще не настолько голоден, чтобы решиться грабить и уничтожать накопленное трудами человека.

— Какой труд! — возразили ему насмешливо грабившие. — Разве помещики работают? За них трудятся рабы их.

— Рабам еще тяжелее работать, чем нам, — стоял на своем Этьен. — А мы с вами знаем, чего стоит трудовой день.

— Оставьте этого проповедника! — закричали его товарищи. — И не давайте ему своих запасов. Пусть поголодает — тогда будет поговорчивее.

— Вам бы уж оставаться с отставшими по доброй воле вместо того, чтобы унижать имя французского солдата! — сказал Этьен с досадой.

«Как бы не так! — думал Ксавье. — Так вот и послушаю тебя, отстану от армии. Я хочу, конечно, вернуться восвояси. Но — по крайней мере, капитаном. А он предлагает остаться с отставшими...»

Что-то такое Ксавье и пробурчал невнятно. Вдруг ворчание его перешло в громкий и радостный крик:

— Вот так находка! — захохотал он, вытаскивая из чащи кустов совсем молоденькую девушку.

Лицо девушки было бледно, темно-серые глаза выражали страшный испуг, помертвевшие губы дрожали. Из груди ее вместо крика вырывались жалобные стоны.

— Оставьте паненку! — кричала пронзительно пожилая женщина, пытаясь защитить девушку. — Это панна Майковская! Мало еще вам, что вы — разграбили имение ее отца, еще на дочь нападать хватает у вас совести!

Но Ксавье и двое из его товарищей не обращали ровно никакого внимания на вопли и стоны старухи и старались вытащить на дорогу прятавшуюся в кустарнике девушку.

Этьен не выдержал и крикнул:

— Как тебе не стыдно, Ксавье! Что бы ты сказал, если бы кто обращался так грубо с тобой Розой?

Прозвучавшее имя невесты разом образумило Ксавье Армана. Он отпустил руку девушки, оттолкнул грубо старуху и крикнул им:

— Убирайтесь!..

Пожилая женщина схватила девушку за руку и скрылась с ней в лесу. Несколько солдат было бросились за ними, но подскакавший офицер громким окриком заставил их вернуться, угрожая застрелить тех, которые отойдут от дороги далее трех шагов.

Посыпавшиеся на отряд пули словно подтвердили слова офицера. Оказалось, что они наткнулись на какой-то малочисленный отряд русского арьергарда, оставленный, чтобы задержать наступление французов. Началась перестрелка... Подобные стычки случались нередко, и молодежавшие болтуны вроде Ксавье Армана зачастую плохо вели себя в этих схватках. Застигнутые врасплох, они кидались в сторону и затем, сделав вид, как будто насилу справились со своими непокорными

конями, выдвигались храбро вперед перед начальством. Этьен не лез вперед, но и не отступал без приказа; он без порывов и не спеша исполнял свои обязанности.

Отряд, в котором двигался Этьен, прошел уже ущелье Понарских гор и подходил к городу Вильно, когда ему пришлось выдержать жаркую атаку казаков. Тут только французы убедились, как храбро могут драться русские...

В этой схватке Этьену в первый раз довелось видеть страшные глубокие раны, размозженные головы, трупы людей, проколотые насквозь пиками. Сам он находился, как в чаду каком; в начале схватки он только рубил направо и налево, защищаясь от нападавших на него казаков, но затем он обезумел от всей этой сумятицы и сам уже кидался на неприятеля...

В самом жару этой стычки он вдруг видит, что их раненого генерала Сегюра окружили казаки. Он бросился его защищать, но Ксавье Арман оттеснил его, стараясь первый подать помощь генералу. Этим моментом воспользовались казаки, подхватили раненого Сегюра

и помчались с ним в Вильно.

Два раза бросались казаки в атаку под начальством храброго своего командира Орлова-Денисова, стараясь удержать французов, а в это время войска русской Первой армии выступали в строгом порядке из Вильно! Понимая необходимость оставить город, главнокомандующий Первой армией Барклай-де-Толли велел вывозить все важные бумаги, деньги из казначейства и разные драгоценности еще за несколько дней до выступления войск, а сам оставался в Вильне наблюдать за действиями неприятеля и переписываться с князем Багратионом, главнокомандующим Второй русской армией, которая находилась в это время к югу от Гродно около города Вилковишек.

Настало шестнадцатое июня. Это был Троицын день. Еще не брезжил свет. На улицах Вильно была тишина, только казаки появлялись тут и там. На площади у ратуши разместился гвардейский Павловский полк. Солдаты, составив ружья в козлы, отдыхали, лежа на земле. Готовили себе кашу в котлах. Офицеры сидели на скамейках или прогулива-

лись, тихо разговаривая. Некоторые из них держались поближе к полковнику. От этой группы отделился один офицер и быстро приблизился к монаху, проходившему мимо них.

— Куда идешь в такую рань? — спросил он его по-польски.

— К умирающему, капитан! — ответил тот.

— Вдвойне солгал! — покачал головой офицер, улыбаясь. — Во-первых, ты вовсе не исповедник, так как у тебя нет на голове капюшона; во-вторых, я не капитан... А может, тут кроется и третья ложь, самая непростительная, — едва ли ты монах...

— Милостивец! — воскликнул тот в страхе. — Накажи меня Господь, если я точно не бернардинец здешнего монастыря! *Mea culpa* [2], что солгал, будто иду к умирающему. Очень уж я испугался...

— Тогда говори скорее, почему в такую рань таскаешься по улицам!..

— Любопытно, милостивец! Это самое простое любопытство — и не столько мое, сколько моих собратий. Они-то и послали меня узнать, что делается на улицах.

— А-а!.. Так ты шпион! — крикнул грозно

офицер. — Знаешь ли, чем это тебе грозит?

Заметив, однако, как сильно монах изменился в лице, офицер продолжал ласковее:

— Ну не бойся! Шпион от бернардинской армии нам не опасен. Ступай скорее восвояси и доложи любопытным отцам и братьям, что пополудни будут в Вильне гости.

Начинало светать. На улицах стал показываться народ. Но все пробирались боязливо, закоулками или выглядывали из-за ворот. На Свянтоянской улице, против дворца, в котором после отъезда императора Александра поместился главнокомандующий Первой армией Барклай-де-Толли, набралась небольшая толпа народа и жадно следила за всем, что делалось на обширном дворе.

Там стояла карета, запряженная восьмериком. Ее окружали несколько десятков конных казаков.

— Здесь еще фельдмаршал? — спросил у часового офицер, прискакавший во весь опор со стороны Погулянки.

— Еще здесь! — ответил часовой.

Офицер въехал во двор, соскочил с коня и побежал прямо к крыльцу, не отряхнувшись

даже от пыли.

— Это карета фельдмаршала Барк-
лая-де-Толли! — пронесся шепот в толпе, сто-
явшей против дворца.

Показалось солнышко, еще больше народа
собралось на улицах. На дворцовый двор вле-
тел второй курьер. Толпа напротив дворца
становилась все гуще и гуще. Кто радовался,
кто трусил, кто смешил или пугал других...
Вот появился и третий вестник на взмылен-
ном коне. Тотчас же по его приезде выбежал
из дворца офицер и помчался к площади.
Многие любопытные отделились от толпы,
стоявшей у самых ворот дворца, и побежали
вслед за офицером, пробираясь, однако, пере-
улками.

Едва только офицер показался на площа-
ди, раздался барабанный бой, и солдаты по-
вскакивали, бросив недоеденную кашу. Во
мгновение ока все были уже готовы и двину-
лись скорым шагом к Антокольскому предме-
стью, а глазевшие на них вернулись ко двор-
цу и объявили тут оставшимся, что послед-
ний русский полк выступил по дороге к
Неменчину.

В это время во дворцовом дворе началось движение. Несколько верховых полетели в разные стороны, и на крыльцо вышел сам Барклай-де-Толли в сопровождении Виленского губернатора и нескольких адъютантов. Все весело разговаривали, фельдмаршал улыбался.

— Вот так диво! — слышалось в толпе. — Бонапарте за горой, а они себе спокойно разговаривают.

Барклай-де-Толли остановился, окинул все вокруг спокойным взором и неторопливо сел в карету. Подле него поместился губернатор. Свита вскочила на коней и поскакала за каретой тоже по направлению к Антоколю. Всех их окружал конвой из казаков и драгунов.

Еще карета главнокомандующего не выехала за город, как раздался страшный треск, от которого зазвенели стекла в окнах, и народ замер от ужаса. Не успели жители прийти в себя, как снова раздался треск.

— Зеленый мост русские взорвали!.. — понеслась весть с одного конца города в другой.

— Магазины на Лукишках взлетели на воздух!.. — толковали всюду.

Только что все успокоилось, как раздались три пушечные выстрела и снова оглушили всех.

— Стреляют по городу!.. — пронзительно крикнул кто-то.

Поднялся страшный переполох, бежали со всех улиц, толкаясь, роняя друг друга и крича, что есть мочи.

Переполох оказался напрасен. Французы этими выстрелами давали знать русским, что они вступают в город, так как император Александр, жалея красивый город, велел нашим войскам сдать его без боя.

Толпы успокоились, но, движимые любопытством, переносились, словно волны, из одного края в другой. Одни бежали на горы, Замковую и Бекешовую, надеясь увидеть оттуда, что делается вокруг города; другие лезли на соборную колокольню; иные бежали к Погулянке встречать французов, двигавшихся с этой стороны, и все кричали, словно помешанные.

Городской голова спокойно сидел в ратуше. Перед ним на прекрасной работы серебряном подносе лежали позолоченные ключи,

якобы от ворот города, которых в то время уже не существовало. Затишье это продолжалось часа с два. Вдруг послышался снова крик: колят! колят!..

— Кто? Кого колят? — спрашивали в толпах, но никто не мог на это ответить.

Однако и этот переполох оказался напрасен; хотя на всех улицах показавшиеся французские уланы и летели, направив вперед пики, будто готовились колоть, но колоть они никого не кололи, и толпы зевак струсили попусту...

Лишь только в ратуше узнали о вступлении в город французов, городской голова поднялся со своего места, вышел к офицеру, переговорил с ним и тотчас же отправился на Погулянку. Его окружали именитые горожане, отправленные депутатами для поднесения городских ключей Наполеону.

Между тем конница продолжала входить в город. За уланами показались конные егеря, во главе которых ехал на мощном коне Мюрат. Он взмахивал обнаженной саблей, громко крича:

— Vive Napoleon!

Увидя депутатов от города, шедших навстречу Наполеону, Мюрат дозволил им идти к Понарским горам, где находился император французов, поджидая изъявления покорности от города Вильно.

Приняв городскую депутацию весьма благосклонно, Наполеон въехал, однако, в Вильно только после полудня, когда все было готово к торжественной встрече: дома увешаны коврами и убраны цветами и венками. Поляки и польки приветствовали французского императора восторженными криками. Наполеон остановился во дворце, из которого дня за три до того выехал император Александр.

Министр полиции генерал Балашов, присланный императором Александром с письмом к Наполеону, был поражен роскошью и пышностью обстановки французского двора в Вильно. Из большой приемной, где толпились французские генералы и польские вельможи, Балашова провели в маленькую залу, и через несколько минут из противоположной от входа двери вышел к нему Наполеон.

Он был невысок ростом, полный, широкоплечий, с моложавым лицом, большими

быстрыми глазами и орлиным носом. Синий мундир с черным воротником облегал плотно его толстую талию и, расходясь на груди, открывал белый жилет. Белые лосиные панталоны обтягивали ноги, обутые в ботфорты. Во всей его осанке было нечто решительное, а вместе с тем и величественное. Он принял Балашова весьма милостиво, но отказался наотрез вывести свои войска обратно за Неман, причем дал почувствовать, что у русских всего двести тысяч войска, а с ним пришло втрое более, да вся Польша и Литва за него.

Отпуская Балашова, Наполеон дал ему письменный ответ императору Александру. Это была последняя попытка российского императора примириться с Наполеоном. Затем все переговоры были прекращены, и началась война...



Глава V



Между городами Гродно и Минском, немного южнее их, находится небольшой городок Слоним, населенный большей частью евреями. Слонимский шляхтич Конопка, служивший во французской армии и отличившийся в походах в Испании, был произведен Бонапартом в генералы и прислан в Слоним, чтобы сформировать третий легкий гвардейский кавалерийский полк императорских уланов. Полк этот должен был состоять исключительно из польских и литовских дворян.

Литовская молодежь, наэлектризованная ксендзами и женщинами, стекалась со всех сторон, почитая за честь вписаться в этот блестящий полк.

Князья Воронецкие, графы Залусские, графы Тышкевичи поступали простыми рядовыми, чистили скребницами своих коней посреди улиц, учились управляться с пиками, ме-

сили грязь на площади, учась маршировать повзводно и поэскадронно. Большая часть студентов Виленского университета прикнула к ним, а мальчики-подростки и гимназисты плакали, что их не принимали, хотя они просили, как милости, идти в рядах своих соотечественников. Весьма может быть, что об этом же мечтали два сверстника, впоследствии прославившиеся своими поэтическими дарованиями: Адам Мицкевич и Эдуард Одынец, тогда еще учившиеся в Минской гимназии. Красавицы Юлия и Аделаида, сестры генерала Конопки, вышивали шелками, золотом и бисером знамя полка и разные боевые принадлежности для молодых уланов.

Молодежь ликовала, веселилась и шумно высказывала свою радость. Жиды сновали между этой богатой молодежью, снабжая ее всем нужным и ненужным, набивая при этом себе кошелек червонцами, щедро сыпавшимися из рук восторженных и неопытных императорских уланов. Казалось, сам воздух пел вместе с ними патриотические песни; и восхваления Польше и Франции гудели и переливались на всевозможные лады.

Поставленный Наполеоном правителем Литвы маршал Марель, герцог де-Бассано, назначил подпрефектом в Слоним Феликса Броньского.

Обряженный во французский мундир с иголки, Броньский появлялся всюду, то провожая, то встречая войска, проходившие через Слоним, стараясь при этом выказать французам свои расторопность и усердие, а также преданность Наполеону. Глядя на него, трудно было поверить, что еще несколько дней тому назад он так же восторженно восхвалял императора Александра и не далее как девятнадцатого июня низкопоклонничал перед князем Багратионом, простоявшим со своими войсками целые сутки в Слониме, двигаясь со своей армией к укрепленному лагерю, устроенному неподалеку от Динабурга [3] подле города Дриссы.

Но таков уж был нрав Броньского. Крича громче других о том, что Наполеон восстановит Польшу и присоединит к ней Литву и Украину, он старательно припрятал свой русский мундир — сохранил на всякий случай.

— Пан президент, пан президент! — кри-

чал он впопыхах, догоняя Пулавского, председателя комиссии для удовлетворения потребности войск.

Тот велел кучеру остановиться.

— Слышали, пан президент, — говорил словоохотливый Броньский, свесившись из своей брички, чтобы Пулавскому было удобнее его расслышать, — приехал к нам маршал князь Шварценберг. Он требует вас к себе, хочет наложить на вас контрибуцию в тысячу червонцев.

— Как контрибуцию? — вскричал Пулавский. — Слоним занят французами, в городе введено их правление. И они же хотят обирать нас?..

— Что делать, что делать, пан президент! Война! Что ни потребуют, то отдавай.

— Как бы не так! — бросил раздраженно Пулавский. — Не на того напали! Ввели свое правление в городе, так и считайте его своим, а не неприятельским. Ни за что не дам я им ни одного гроша контрибуции, а не то что тысячу червонцев.

— Ах, что вы, пан президент! Вы восстанавите против нас французов.

— Шварценберг не француз, а австриец, — проворчал Пулавский.

— Все же он маршал наполеоновской армии.

— Да что же они! Союзники наши или враги?..

— Не время, не время нам об этом толковать, пан, скорее заплатите требуемое, и дело кончено!

— Нет, ни за что не стану я обирать моих соотечественников. Повадь их только — этих австрийцев, — так они нас до нитки оберут.

— Вы обязаны помогать начальникам французских войск. Вы — президент комиссии удовлетворения потребностей войск... Хуже будет, когда они возьмут требуемое силой.

— Пусть попробуют взять силой, найдем на них управу. Мы обратимся в Гродно к императорскому комиссару генералу Шансону, а не то так и в Вильно съездим к маршалу герцогу де-Бассано.

— Ого-го!.. До Вильно-то далеко!

Тут подскакал к разговаривавшим адъютант Шварценберга и пригласил Пулавского следовать за ним к маршалу.

Пока все это происходило на улице Слонома, в одном из лучших его деревянных домов с большим фруктовым садом шла оживленная беседа. К хозяйке дома, госпоже Пулавской, приехала ее сестра, госпожа Хольская, жившая близ прусской границы в своем имении. Сестры давно не виделись и не могли наговориться.

— Что ты слышала о войсках? — спросила сестру Пулавская, переговорив с ней о семейных делах.

— Все хорошие вести! — весело отвечала Хольская. — На границе собралось французских войск видимо-невидимо. Все солдаты отлично обученные, сытые, хорошо вооруженные — просто прелесть! Если бы не ты, ни за что бы не уехала, очень хотелось мне самой угостить наших избавителей французов.

— Полно, сестра! Как можно женщинам оставаться одним в такое время в деревне?

— А чего бояться! Народ французский известен своей деликатностью и любезностью к дамам. Я ничуть их не боюсь, и все уже у меня было приготовлено, чтобы угостить первый отряд, который остановится вблизи мое-

го поместья, как вдруг пришло твое письмо... Я не устояла против твоей просьбы пробыть это время вместе, бросила все, забрала с собой дочерей, Анелю и Зосю, и вот, как видишь, мы у тебя; только по дороге заехала на недельку к брату мужа и погостила у него...

— Ну так-то лучше, дорогая. Все будем вместе. Мы даже и тут, в Слониме, не останемся. Муж мой отвезет нас за две мили в новое наше имение. Я рада не оставаться тут: где войска, там женщинам жить неприятно.

— Не согласна с тобой. Я люблю военных.

— Только, надеюсь, не во время войны. Ты послушала бы, какие ужасы рассказывает нам Маевская о вступлении французов в Ковно. Страшные грабежи и бесчинства начались в городе и окрестностях. Ей бы не сдобровать, если бы не заступился за нее один молодой французский солдат; он остановил своих товарищей, напомнив им о их сестрах и невестах.

— Вот видишь, все-таки нашелся рыцарь даже между солдатами! О, я верю в благородство французов.

— Не одни французы вступили в нашу

Литву. Тут много и саксонцев, и австрийцев, а те в военное время обращаются весьма бесцеремонно с жителями занятых ими провинций. Вот хотя бы вступивший в Слоним отряд Шварценберга вовсе не отличается рыцарскими галантностями. Да и сам Шварценберг не прочь захватить, как говорят, даром все, что попадает ему под руку.

— Верны ли эти слухи?

— Не знаю, но об этом все чаще поговаривают. Вот...

В эту минуту вбежал старый лакей, бледный и перепуганный, и доложил сбивчиво:

— Пани... нашего пана солдаты ведут...

Госпожа Пулавская, вскочив и заломив в отчаянии руки, закричала:

— Боже! Да за что это?

— Не знаю, пани.

— Не беспокойтесь, — сказал Броньский, быстро вбежав в комнату. — Это одно недоразумение. Поверьте мне! Пан президент не хочет дать контрибуции, а Шварценберг горяч и велел его отправить под арест.

Пока Броньский рассказывал все подробности дела, одна из пани, бедных дворянских

девиц, которые жили постоянно в богатых домах, помогая хозяйке дома по всем отраслям ее хозяйства, узнав, что Пулавского ведут под арест, побежала рассказать об этом панне ключнице Чернявской, и вскоре весь дом узнал о случившемся. Дети с воплями прибежали к матери, слуги охали, ахали, громко плача и призывая Божью кару на голову Шварценберга.

— Папу ведут! — закричал двенадцатилетний Янек Пулавский, взглянув в окно.

Его мать и вся семья бросились к окнам. По улице шел спокойно и с большим достоинством Пулавский между двумя австрийскими солдатами. Смотревшие в окна замерли в немом ужасе, хотя Пулавский, увидя их, подал им знак, чтобы они не беспокоились.

Пулавский сидел уже преспокойно на гауптвахте, а семья его все еще громко плакала, охала и проклинала Шварценберга. Тщетно успокаивал их Броньский, никто не хотел верить двуличному человеку.

Собралось много соседей; все судили и рядили по-своему. Кто советовал Пулавской идти самой к Шварценбергу и просить за мужа,

кто уговаривал ее ехать прямо в Гродно с мольбой к Шансенону.

Бедная женщина не знала, кого слушать. Но тут пришел громажор уланского полка Таньский, отличавшийся спокойным и толковым взглядом, и объяснил, что бояться ей за мужа нечего, так как Шварценберг не может не выпустить его в самом скором времени, но ей все-таки не мешает ускорить дело и самой попросить Шварценберга.

Пулавская не решалась идти одна, и Таньский с ее братом Фердинандом Беннеловским вызвались сопровождать ее. Она взяла с собой всех детей и обоих племянников своего мужа, поступивших вместе с ее братом Фердинандом Беннеловским в полк императорских уланов. Семейная эта экспедиция к Шварценбергу имела трогательный вид и носила патриархальный характер, и фельдмаршал воспользовался случаем представиться растроганным и прекратить арест Пулавского, так как сам чувствовал, что перегнул палку — поступил с Пулавским незаконно.

Супруги Пулавские вернулись домой вместе, окруженные детьми и вышедшими к ним

навстречу родными и знакомыми, и день этот закончился тихим семейным праздником. Старшая дочь Хольской, красивая брюнетка Анеля, села за фортепиано, и все хором принялись петь псалмы и патриотические песни.

Однако мирный праздник был нарушен приездом эконома пани Хольской. Он явился страшно взволнованный и растерянный и, вызвав свою госпожу в столовую, стал ей говорить торопливо и сбивчиво:

— Все перебили, все переломали, все разорили: от зеркал одни кусочки, фортепиано изрублено, большие картины разорваны...

— Иисусе Христе! Матерь Божья! — воскликнула вне себя Хольская. — Да кто же все это совершил?

— Драгуны, пани! Драгуны...

— Откуда же появились у нас русские драгуны?

— Не русские, пани, а французы.

— Как французы? Что ты выдумал? В своем ли ты уме?

— Правда, пани! Святейшая правда!.. Как узнал, что вступили французские войска, я за-

ложил бричку и прямо к их полковнику поехал и говорю ему: «Ясновельможная моя пани велела мне пригласить один из эскадронов в свое имение и угостить на славу». Полковник милостиво принял меня, поблагодарил и велел одному из эскадронов драгун ехать за мной. У меня все уже было готово, как вы, пани, велели: большие столы накрыты в саду, поставлены жаркие, ветчина, колбасы, вино, пиво, мед. Ну, словом, все как следует... А они, разбойники, все поели, перепились да и лезут в комнаты. Я их стал уговаривать, не пускать... Куда там! Меня чуть не убили. Ворвались в дом, все растащили, а чего унести не смогли, перебили и разрубили своими палашами. Ни одного стекла в окнах не оставили — такие злодеи!..

— Ты, Масловский, может быть, чем-нибудь рассердил их, не подал им, чего они просили. Я же велела ничего не жалеть для них.

— Все подавал, что они просили. Всего и съесть не смогли, что подано было. Даже сладким пирожным с вареньями угощал... а они вот как отблагодарили. Чтобы им на том свете пусто было!

— Нехорошо проклинать людей, Масловский. Они тоже католики, как и мы с тобой.. Ну, что делать! Видно напали мы на отряд с плохой дисциплиной. Не все такие, поверь мне! Французы все народ образованный, деликатный.

— Что вы, пани! Какой там деликатный! Все перепортили — просто жалко смотреть! Придется отдать сто червонцев, чтобы только стекла вставить да исправить двери и замки... А сколько добра всякого пропало!..

— Ну, полно, Масловский, не рассказывай тут никому.

— Пусть пани простит мне, я уже рассказал здесь всей дворне, да шила в мешке не утаишь — не сегодня, так завтра все бы узнали.

Хольская вошла в гостиную сама не своя. Это тотчас все заметили. Начались расспросы, и ей пришлось рассказать о случившемся. Как она ни старалась извинить своих гостей-драгунов, однако все решили, что с такой плохой дисциплиной в войсках вряд ли будет какой толк в деле. Решено было всем женщинам поскорее уехать в имение в пят-

надцати верстах от Слонима.

На следующий день с самого раннего утра начались сборы и укладка в сундуки всего, что подороже. Торопились увезти с собой все ценное, чтобы не попалось завистливому глазу недоброго человека. К вечеру все было упаковано и на другое утро положено на подводы. Сам Пулавский повез семью в деревню. Молодые племянники его — Алоизий и Карл — считали за особенную честь провожать дам и похвастаться перед ними блестящими мундирами, дорогими конями и умением ездить верхом. Они гарцевали, барышни ахали и острили. Янек с завистью посматривал на своего двоюродного брата, который был только пятью годами старше его, а уже служил в императорских уланах.

Переезд этот сначала был похож на веселый пикник. Но вскоре местность стала сумрачнее, диче; наконец, песчаная дорога потянулась по густой, непроходимой лесной чаще. Господский дом и вся деревня словно погребены были в этой массе лесов, чаща которых охраняла их от всяких непрошенных гостей. Воров бояться было нечего, прислуги

много, и оружие кое-какое хранилось у эконома и лесника. Однако Пулавский нашел все-таки небезопасным держать серебро и другие ценные вещи в доме и решил отправить все сундуки в более глухое место.

— Ну, пан Грохольский, — говорил Пулавский своему главному лесничему, — указывай нам твое секретное место. Да точно ли оно так безопасно, как ты уверяешь?

— Пусть пан президент вполне на меня положится! — отвечал уверенно шляхтич Грохольский. — Туда никому и не добратся. Поляна эта в самой глуши, и к ней не то что дороги, а и тропинки нет. Надо вырасти в лесу, как я вырос, да знать в нем каждое дерево, чтобы пробраться туда.

— Как бы прислуга не выдала.

— Об этом должны знать лишь Корзун да полесовщики Адам и Винцентий.

— Как же свезти туда вещи?

— А вот как, пан президент!.. Прежде свезем туда пустые сундуки, а там понемногу ночью перевезем все уложенное в ящиках и шкатулках, сложим в сундуки, запрем и запечатаем.

— Верно, верно, Грохольский! Люблю за сообразительность! Только все-таки нельзя оставить вещи без охраны. Кто же будет сторожить их?

— А полесовщики? Пусть чередуются. Дам я им по ружью и зарядов вдоволь, чтобы было, чем отбиться от медведей и недобрых людей.

— И мы поможем перевозить вещи! — предложили Алоизий и Карл.

— Где вам, панычам, в такой чаще пробираться? — усмехнулся Грохольский. — Да еще в таких разукрашенных мундирах! Уж вы предоставьте это дело нам, чернорабочим.

— Не одни наши сундуки надо поставить, пан Грохольский, — продолжал Пулавский. — Еще и соседи просят поставить в ящиках их деньги и серебро.

— А найдутся ли у них верные слуги?

— За слуг своих они ручаются. Да ты сам знаешь Казимира, заезжачего слонимского, да Доминика, приказчика михальского.

— Как не знать! Я за них могу головой поручиться. Берите их, пан президент, пусть и они помогут нам беречь добро.

Распорядившись всем, Пулавский уехал обратно в Слоним вместе со своими племянниками.

Жутко показалось барыням, барышням и детям проводить первый вечер в деревне. Лес вокруг шумел так таинственно и мрачно... Начало смеркаться. Вошел лакей, неся на подносе две свечи в высоких и массивных старомодных подсвечниках.

— Да святится имя Господне! — сказал он, торжественно ставя свечи на стол.

— Во веки веков! Аминь! — отвечала хозяйка, строго придерживавшаяся всех старинных обычаев.

Все взялись за рукоделие, придвинув свои стулья к столу. Но работалось плохо. Темная ночь заглядывала во все окна, и лес шумел все страшнее и страшнее. Начали перекликаться совы и филины то протяжно, то дрожащими нотками, словно плач ребенка. Янек храбрился, разыгрывая роль молодого человека, но сестренки его так и жались к матери; даже молодые Хольские притихли и задумчиво глядели на тусклые свечи в старинных подсвечниках. Вдруг раздался грохот желез-

ных запоров, все вздрогнули, но вскоре сообразили, что закрывают ставни.

Госпожа Пулавская, дабы развлечь молодежь, завела с сестрой длинный разговор о добром времени, когда они обе были молодыми, беззаботными, веселыми девушками, и рассказывала один анекдот смешнее и забавнее другого.

— Теперь уж не то время! — вздохнула Хольская. — Нет уж той беззаботности.

— Все заняты политикой, — добавила Пулавская.

— А помнишь, мама, монаха? — спросил Янек.

— Какого монаха? — заинтересовались племянницы.

— Разве я вам не рассказывала, как поддел нас француз в прошлом году?

— Нет, нет, расскажите! — оживились все, перебивая один другого.

— Нечего вам напоминать, — начала госпожа Пулавская, — что прошлое лето мы еще жили в Ружанах во дворце графа Сапеги и часто ходили гулять по вечерам к кузнице — той, что стоит между местечком Ружаны и

этим дворцом. Как теперь помню, был один из жарких июньских дней, когда мы всей семьей отправились к кузнице. Видим, остановился какой-то экипаж вроде кабриолета в одну лошадь, а перед ним стоит в странной одежде человек, в шляпе с широкими полями, как у еврея, и показывает кузнецу толстой тростью, где и как исправить экипаж. Подойдя ближе, мы разглядели, что это монах иностранного ордена, в коричневой рясе с красным крестом на левой стороне груди. Муж стал с ним разговаривать на латыни, и тот ему сказал, что он итальянец из монастыря, стоящего в Апеннинских горах, и явился к нам за сбором средств для выкупа пленников. Муж, разумеется, тотчас пригласил его к нам. Монах оказался человеком весьма образованным и много рассказал интересного, но страшно бранил Наполеона; он проклинал его за то, что тот притесняет Папу, и сулил ему всевозможные бедствия. Мы с мужем защищали Наполеона, как только могли. Монах упрямо твердил, что это — изверг, антихрист и должен скоро погибнуть. На другой день он уехал. Представьте же наше удивление, когда

через недели две мы узнали, что этот монах был задержан на границе и оказался офицером французского генерального штаба, посланным для съемки крепостей и дорог Гродненской губернии. В толстой палке он прятал снятые им планы и свои заметки.

— Ох, страшно! — передернула плечами Зося. — Я не засну. Мне теперь будет мерещиться монах...

— А вот и я!.. — раздался мужской голос за дверью.

Девочки испугались, взвизгнули и бросились к матери. Сам храбрый Янек спрятался под большой платок старой панны Чернявской, сидевшей около него. И до того все растерялись, вообразив, что входит монах, что даже не узнали вошедшего Карла Пулавского.

— Брат Королек! — звонко крикнул Янек, бросаясь к молодому человеку.

— И точно Королек! — обрадовались Пулавская и Хольская.

— Что с вами, тетушки? Как это вы меня не узнали?

— Ты вошел в ту самую минуту, когда Зося боялась увидеть таинственного монаха.

Молодой улан разразился таким веселым смехом, что и другие засмеялись.

— Как тебя опять отпустили к нам? — спросила Пулавская.

— Не отпустили, тетуся, а послали по делу Шварценберг требует поставить тридцать пять лучших коней под пушки. Дядюшка оповестил помещиков, чтобы доставляли самых лучших — рослых, сильных лошадей; и сам обязался отдать пару своих коней из-под кареты.

— Как? Из-под нашей собственной кареты? — всплеснула руками расстроенная Пулавская.

— Моего любимца Зуха возьмут, — заплакал Янек, который страшно любил молодую буланую лошадь с черными гривой и хвостом.

— Что делать! — успокаивал Карл Пулавский. — Дядя должен подать пример — что он не жалеет ничего для армии.

Но правда ли, что это для армии? — не верила Пулавская.

— Кто знает! — сказал шепотом молодой человек. — Всюду поговаривают, что Швар-

ценберг более заботится о собственном кармане, чем о нуждах армии. Но мы обязаны подчиняться ему как маршалу Наполеона. Завтра явятся с открытым листом австрийские уланы.

— Еще чего не доставало! — воскликнула панна Чернявская. — Надо сказать прислуге смотреть в оба. Пожалуй, еще что-нибудь стащат!..

— Надо их накормить и угостить водкой, — сказала строго Пулавская.

Конец вечера прошел в разговорах о Наполеоне и его войске. Но не было в речах того воодушевления, какое испытывали в начале кампании. Янек плакал о своем любимом Зухе, прижавшись к плечу старой панны Чернявской, жившей лет двадцать в доме и считавшейся уже не прислугой, а членом семьи.



Глава VI



Москва существует около семи с половиной столетий. Это один из самых больших городов. Построен он подобно Риму — на семи холмах. Самый высокий из этих холмов, Боровицкий, находится в центре Москвы, в ее Кремле; на нем высится колокольня Ивана Великого. Кремль, или городская крепость, окружен высокой каменной стеной с башнями и бойницами. В нем нет частных домов, а всё общественные здания, соборы, церкви и дворцы. К кремлевской стене с одной стороны прилегает Китай-город, или Красный, так названный вследствие того, что был некогда обнесен неоштукатуренной кирпичной стеной. Понятно, что при таком разделении города стенами необходимы ворота, и их очень много в Москве. Названы они по иконам, близ них находящимся, как, например: Иверские, Никольские, Варваринские.

В 1812 году в Москве уже было очень много больших красивых каменных зданий, но рядом с ними ютились покосившиеся деревянные домишки, крохотные, невзрачные лавчонки и придавали городу такой неряшливый вид, что один французский остряк, посетивший Москву за 25 лет до вторжения в Россию французов, так характеризовал ее: «Москва не похожа на город. Она имеет вид, будто пятьсот богачей аристократов стоворились поселиться друг подле друга и перенести в одно место свои великолепные дворцы и каменные дома своих приближенных, но вместе с тем перенесли и все деревянные постройки и пристройки, где живут их прислуга, ремесленники и рабочие». Тем не менее Москва невероятно живописна и оригинальна с сотнями своих церквей, возвышенностями, извилистыми берегами плоскодонной Москвы-реки и садами при частных домах.

Между воротами Варваринскими и Ивановским монастырем высилось в описываемое нами время каменное здание Соленого двора. Двухэтажный каменный дом его выходил фасадом на Солянку. От него тянулась ка-

менная стена аршина четыре в высоту и огибала квадратное пространство с версту по периметру стена эта была не что иное, как сплошные амбары. Снаружи двора был только один вход под каменной аркой с железными воротами. В то время никто не смел торговать солью, и все должны были покупать ее от казенных приставов.

Одним из таких приставов был Григорий Григорьевич Роев.

Несмотря на то, что дом был велик, помещение в нем было очень тесно, так как большую часть здания занимали громадные сени; окна последних выходили на улицу, тогда как окна комнат смотрели во двор.

В одной из этих небольших комнат сидели две женщины: одна, пожилая, Анна Николаевна Роева, другая, молодая, стройная красавица, невестка ее Прасковья Никитична.

— Что-то долго их нет! — говорила озабоченно старушка. — Уж не случилось ли чего?

— Чему же случиться, матушка? Все кажется тихо да мирно.

— Не заехали ли к кому в гости?

— Николай Григорьевич обещался прямо

из дворянского собрания домой.

— Мало ли что он обещался! Отец, может быть, увез его куда. Не станет же он противоречить Григорию Григорьевичу!

— Пойти посмотреть в сени, не увижу ли из окна дрожек их...

— Чего смотреть! Расскажи мне лучше, что у вас в Дмитриеве делается.

— Да все по-прежнему. Только и пересудов у наших, что о французе. Комету смотреть ходят.

— Разве у вас видна она?

— Еще как видна!.. И мы вечером, гуляя с Николаем Григорьевичем, не раз ею любовались.

— Есть чем любоваться — только бедствие предвещает. Ах, Господи!..

Молодая женщина при этом улыбнулась, опустив пониже голову. Здесь послышался перестук колес въезжавшего во двор экипажа. Молодая Роева бросилась к окну, но тотчас же отошла от него, бросила:

— Это Замшина.

— А-а!.. — протянула старушка. — Давай-ка, Пашенька, мне поскорее мою желтую

шаль и чепец с лентами.

И за минуту перед этим старушка, сидевшая просто в ситцевом капоте, с косичкой, подвернутой под гребень, превратилась в нарядную чопорную барыню и важно поплыла навстречу гостье.

Не одна Роева принаряжалась только ради гостей; в то время все так делали, и молодую Роеву называли мотовкой и франтихой за то только, что она всегда была чисто одета.

— Здравствуйте, голубушка Анфиса Федоровна! — встретила приветливо хозяйка дома вошедшую.

Они обнялись и поцеловались.

— Заехала узнать о вашем здоровье, — говорила гостья немного нараспев, точно сама любуясь своей речью.

— Пашенька! — обратилась Роева к невестке. — Ты бы приказала подать нам закусить чего: балычка, рыжичков...

— Не беспокойтесь, голубушка Анна Николаевна. Я от обедни заходила домой чаю выпить.

— Как можно! — прервала ее хозяйка. — Вы меня обидите, коли не отведаете моего со-

ленья! Иди, иди, Пашенька, распорядись!

Но молодая Роева уже была за дверью.

— Что-то не видать вас было одиннадцатого у Ольги Федоровны? — спросила Замшина, усевшись поудобнее.

— Да сын с женой ко мне в тот день приехали, так я только и ездила с невесткой поздравить именинницу, а от обеда отказалась.

— А что смеху-то перед обедом было, не знаете?..

— Нет, ничего не слыхала!

— Так послушайте же! Обед был роскошный! — начала Замшина тоном хорошей рассказчицы, знающей себе цену. — Народу набралось изрядно. Ну и наша Дарья Андреевна Лебедева в том числе... Подошла она со всеми нами к подносу с закуской... а закуска была знатная, чего-чего там только не поставили! Вот она, выпив рябиновочки, только что стала закусывать свежей икоркой, как вбежал Алеша, младший сын именинницы; видно, с поздравлениями все утро рыскал — да и брякни сразу: «Французы через две недели в Москве будут!». Как услышала это наша Дарья Андреевна, так и закатилась: истерика случи-

лась с ней. Только и твердит: «Воды! Воды!.. Ой, душит меня, душит!» Все к ней: кто с одеколоном, кто с уксусом, кто со спиртом... развязали ей чепец. Она его в одной руке держит, в другой — стакан с водой. И все твердит: «Душит, душит... умираю! Ты меня, Алешенька, уморил». Тот извиняется, мол: «Сказал, что вся Москва говорит... Да и то, не всякому слуху и верить можно, Дарья Андреевна!» — добавил он, чтобы ее успокоить. А ей эта, видно, уж комедия и прискучила, она тотчас же и успокоилась. А как сели за стол, так не менее всех остальных кушала, даром что истерика с ней начиналась.

— Потеха да и только!.. — смеялась Анна Николаевна, махая правой рукой.

— Такая привередница, такая привередница! — продолжала гостя, складывая пухлые руки на груди и поднимая глаза кверху.

В это время лакей с прорванными локтями и нечесанной головой принес большой поднос с закуской, и началось подчивание. Замшина преисправно брала и с того, и с другого блюдечка той же вилкой, что и ела, и похваливала домашние соленья, прося поделиться

рецептами.

— А слышали вы, матушка Анна Николаевна, — обратилась она опять к хозяйке дома, — что поговаривают об ополчении? Государь-то, вишь, прибыл в ночь на двенадцатое.

— Как не слышать! Николаша наш в Кремль бегал, еле протискался: народу там набралось видимо-невидимо, на площади была такая давка — яблоку негде упасть. Если бы не будочники, не доехать бы ни одному экипажу до собора. Николашу знакомый квартальный провел и поставил у самых южных дверей, через которые вошел в собор государь. И Николаша видел его, вот как я вас вижу.

— Во-о-от как!.. — протянула Замшина, видимо, стараясь запомнить все подробности, чтобы затем разносить их по городу.

— Когда государь вышел на Красное крыльцо, раздался звон колоколов и народ закричал «ура!». Со всех сторон слышалось: «Веди нас, отец наш, умрем или победим злодея!». Государь постоял несколько минут на крыльце.

— Говорят, государь очень изменился в ли-

це.

— Сильно изменился наш батюшка, похудел, лицо темное, грустный такой!.. Встречал его наш преосвященный Августин с крестом в руках.

— Да, митрополит наш Платон уж стар. Где ему встречать! Ему под восемьдесят лет. Он едва на ногах держится...

— Куда ему! Вот и встречал государя его викарий, преосвященный Августин. Государь выслушал его приветствие с глазами полными слез и благоговейно молился все время благодарственного молебна.

— По случаю чего же был благодарственный молебен? — полюбопытствовала Замшина.

— По случаю благополучного окончания войны с Турцией, — пояснила молодая Роева, видя, что ее свекровь затрудняется с ответом.

— Одна война кончилась, — кивнула Замшина, — а другая, худшая, — уже в разгаре. А что же это ваших благоверных не видно? — обратилась она к обеим дамам. — Уехали в дворянское собрание?

— Оба уехали! — поспешила ответить сло-

воохотливая Анна Николаевна. — Вот до вас мы сидели с Пашенькой и все поджидали их.

— Раненько поджидать стали. Чай, только теперь начались пожертвования. А мой-то Михаил Михайлович все сиднем сидит со своими больными ногами. Досадно даже смотреть на него...

— И мы не много знаем. Слышали, что было воззвание к народу, а в чем оно... тоже не знаю. Вот наши вернутся, нам все и расскажут.

— Уж вы, голубушка Анна Николаевна, позвольте мне посидеть, пока они не придут.

— Еще бы! Очень рада!..

Долго еще пришлось болтать барыням в ожидании Роевых, пока те, наконец, прибыли.

— Ну что? Что Государь? — крикнули в один голос обе старухи, едва только появился в дверях старший Роев.

— Ну уж манифест! — ответил тот, разводя руками. — Все мы плакали, когда Растопчин читал нам его. Постойте, дайте вспомнить хоть главное из него, — сказал он, садясь и об-

тирая себе лоб и шею клетчатým бумажным платком, и, немного помолчав, начал цитировать слова манифеста: — «Неприятель вступил в пределы наши... он положил в уме своем разрушить славу и благоденствие России. Мы, призвав на помощь Бога, поставляем в преграду ему войска наши, кипящие мужеством и стремящиеся попать неприятеля; но притом полагаем нужным собрать внутри государства новые силы в защиту домов, жен и детей. Да встретим в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном Палицина, в каждом гражданине — Минина. Соединитесь все с крестом в сердце, с оружием в руках...»

Слезы помешали Роеву закончить.

— Вот так мы все плакали! — сказал он, наконец немного справившись со своей слабостью. — Прочитав манифест, Растопчин указал на залу купечества, сказав: «Оттуда посыплются миллионы, а наше дело выставить ополчение и не щадить себя». И в какой-нибудь час было поставлено, восемьдесят тысяч ратников от одного нашего московского дворянства. Каждый из нас обязался поставить десять ратников со ста душ. В это время во-

шел государь, и мы крикнули все в один голос: «Не пожалеем ни себя, ни детей наших для спасения отечества!». — «Иного я от вас и не мог ожидать, — сказал государь с чувством. — Вы оправдали мое о вас мнение». Из дворянской залы государь прошел в купеческую, где уже было собрано до тринадцати миллионов рублей. Когда он благодарил купцов за их рвение, с которым те жертвовали капиталом, они отвечали: «Мы готовы жертвовать тебе, отец наш, не только имуществом, но и собой!».

— Ай да купцы! — воскликнула восторженно старуха Роева. — Сами в ополчение идти собираются. Молодцы! Право, молодцы!

— И дворян немало записывается, а Николай Никитич Демидов и граф Мамонтов взяли за свой счет содержать по целому полку. И Никола наш не отстает от других — тоже записался в ополчение...

— Что? — воскликнула вне себя Анна Николаевна. — Наш Николушка записался в ополчение?..

— Что ж тут удивительного, матушка! Когда купечество идет сражаться, так неужто

нам отставать?

— Никак ты, Григорий Григорьевич, на старости лет помешался! — прервала его крикливо жена. — Дозволить единственному сыну нашему записаться в полк, когда началось вторжение неприятеля. Я ни за что не допущу этого! Пусть из головы он своей выкинет эту дурь!..

— Матушка! — пробовал уговорить старуху Роев. — Не он один ведь идет! Сотни молодых почитают за счастье послужить отечеству...

— Перестань глупости говорить!.. Хорошо идти холостым. А наш-то женатый, двое малюток! Подумал ли ты об этом?.. Да я до этого ни за что не допущу. Как записался, так и выпишется!..

— Этого сделать никак нельзя, матушка! — сказал твердо, но почтительно молодой Роев. — Это не шутки какие! Если записался — так уже служи!

Тут молодая Роева, все время крепившаяся, не выдержала и, громко зарыдав, бросилась к мужу.

— Видишь, чего настряпали! — продолжа-

ла Роева надорванным хриплым голосом. — Полюбуйся! — указала она на невестку — А! Хороша!.. Молодую жену, старуху-мать, малых детей, все бросить и идти подставлять лоб под пулю окаянного француза! И чтобы я допустила это? Ни за что! Сама к графу Мамонтову пойду... к Маркову... к государю!..

— Матушка! — сказал негромко молодой Роев. — Раз я решил идти сражаться за отечество, ни вы и никто не вправе запретить мне это.

— Убил, убил меня! — закричала старуха, хватаясь за голову. — Ох, ох, ох!..

И она замертво повалилась на стул.

— Доктора! Скорее доктора! — крикнул сыну старик Роев, бросаясь за водой, меж тем как молодая Роева развязывала ленты нарядного чепца и расстегивала капот у лежавшей без чувств старухи.

— Умерла? — спросила с испугом Замшина, взяв похолодевшую руку Анны Николаевны.

— Что это вы, Анфиса Федоровна! Просто сильный обморок... Поддержите немного голову матушке, а я сбегая наверх за одеколо-

НОМ.

— Нет уж, увольте, голубушка! Страх как боюсь я покойников. Да и домой мне пора... Чай, мой Михаил Михайлович невесть что думает... Ужо Фомушку пришлю узнать, что с Анной Николаевной.

И Замшина торопливо засеменила к выходу, и она была уже на площадке лестницы, как ее чуть не сбил с ног Роев. Он бежал с бутылкой уксуса в руках, за ним летела стремглав целая толпа женщин, кто с водой, кто с тазом, кто с полотенцем...

— Извините, Анфиса Федоровна! — бросил Роев, не останавливаясь. — Не могу проводить вас. Сами видите!..

— Э, батюшка! До того ли тебе!

— Палашка! — крикнул Роев, повернув голову к прислуге. — Кликни барыне ее лакея!

Одна из женщин бросилась со всех ног вниз по лестнице и, еще не отворив дверь в кухню, крикнула уже:

— Фомка, а Фомка! Барыня твоя уезжает.

На ее зов выскочил лакей в запачканном казакине. От него так и разило махоркой. Видимо, он только что бросил трубку.

— Экипажа нет-с! — произнес он грубо.

— Как нет? Где же он?

— Молодой барин поскакали на нем за доктором.

— Вот еще оказия! — проворчала Замшина с досадой. — Ну веди меня, коли так, наверх. Да смотри, поосторожнее, дурак. Ишь, смял мне шаль, косолапый!

Когда Замшина опять вошла в комнату Роевых, Григорий Григорьевич тер жене виски уксусом, а Прасковья Никитична растирала ей руки и ноги.

Не успела Замшина отпыхтеться от усталости после ходьбы по лестнице, как к крыльцу подъехал экипаж. Через минуту раздались спешные шаги на лестнице. В комнату вошел знакомый уже нам доктор Краев и прямо направился к полумертвой Роевой.

— Опасности большой нет! — сказал он, прощупав пульс. — Это просто обморок. Советую только тотчас же уложить больную в постель и ничем ее не тревожить.

Все еще суетились вокруг хозяйки дома.

— Что вызвало обморок? — спросил доктор старика Роева после того, как больная была

перенесена на кровать и приведена в чувство.

— Наш Николай Григорьевич записался в ополчение. А вы знаете, как Анна Николаевна дрожит над ним, как боготворит его. И то сказать: он у нас один ведь. Сгоряча-то я его в собрании не остановил, а теперь и самому жутко, как подумаю, что могут убить, а не то еще хуже — на всю жизнь калекой сделать.

— Полноте, Григорий Григорьевич! Я не узнаю вас! — сказал чуть не с досадой Краев. — Такое ли теперь время, чтобы думать о последствиях. И кто может знать, что будет? И дома сидя можно сделаться калекой, и на войне Бог милует.

— Так-то так... а все же за своего жутко становится: кабы еще был он военный, против этого кто бы мог слово сказать. А то сам, ведь, напрашивается, словно без него в войске меньше станет.

— Если бы все так рассуждали, — перебил его резко Краев, — так в ополчении бы никого не оказалось.

— Вам хорошо рассуждать! — ответил в запальчивости Роев. — У вас нет сына!

— Я сам иду, сударь вы мой! И считаю за честь быть полезным отечеству.

Роев взглянул с удивлением и оттенком особенного уважения на старика доктора, единственную поддержку престарелой матери и молоденькой дочери. И вдруг, ободрившись, сказал энергично:

— Будь что будет! А за Русь святую стоим и мы!

— Николушка... — прошептала больная. — Ты не убьешь мать свою, ты не пойдешь сражаться.

Доктор не дал ответить молодому Роеву, быстро сказав:

— Успокойтесь, матушка Анна Николаевна! Еще неизвестно, пойдут ли в бой ополченцы. Их хотят оставить оберегать Москву.

— Ну так еще куда ни шло! — вздохнула с некоторым облегчением больная. — А все-таки лучше было бы тебе, Николушка, выпиться.

— Нельзя, матушка! — начал было молодой Роев.

Но доктор его снова перебил:

— Ему можно приписаться к тут остаю-

щимся. Я уж это устрою.

При этом он так многозначительно сжал руку молодого Роева, что тот понял уловку доктора.

Больная перекрестилась и, вздохнув спокойно, села в постели.

— Слыхали вы, Анна Николаевна, — продолжал развлекать доктор больную, — что в Москву к нам приехал немец Шмидт? Он берется истребить разом всю армию Наполеона...

— Что вы! Как же это?

— А вот как: хочет он построить громадный шар, наполнить его разными горючими материалами, пустить его в середину неприятелей да и поджечь.

— Ох, хорошо было бы, кабы их всех разом извести! — вскрикнули обе старушки и принялись расспрашивать все подробности касательно диковинного шара.



Глава VII



Моленск расположен на гористой покато-сти и весьма живописен издали. Он, словно букет, в котором здания представляются в виде пестрых цветов, так как они окружены зеленью больших и тенистых садов.

Сам город, хотя и растянулся на большое пространство, но в описываемое время состоял большей частью из небольших деревянных домов.

Еще недавно в городе было большое оживление. Через него тянулись войска и облегали его громадным лагерем. Гостиницы битком были набиты офицерами и генералами. Цены на все держались высокие.

Причина такого скопления войск была следующая... Армии наши не успели соединиться у Свенцян, и Барклай-де-Толли направился с Первой армией к городу Дриссе, где был устроен укрепленный лагерь для нашего

войска. Князь Багратион должен был направиться туда же со Второй армией. Барклай-де-Толли нашел, что место для общего лагеря было выбрано весьма неудачно, и, оставив графа Витгенштейна защищать дорогу в Петербург, повел своих далее к Смоленску, будучи уверен, что Багратион может легко прийти туда. Но оказалось, что Могилев, через который предстояло идти Багратиону, успели в это время занять французы, и войска Барклай-де-Толли должны были выдержать тринадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого июля жестокие сражения под Витебском и затем отступить далее к Смоленску, где обе армии наконец соединились двадцать первого июля. Главное начальство над ними принял Барклай-де-Толли и повел их обратно к Поречью, рассчитывая, что там находятся главные силы Наполеона.

Таким образом, Смоленск в конце июля опустел, и в нем остался только небольшой отряд Дивизии Неверовского; сам Неверовский с остальными войсками своей дивизии был послан в город Красный, находящийся в сорока верстах от Смоленска. Много слез бы-

ло пролито смолянами при проводах армии: кто сына провожал, кто отца. Но особенно тосковала Ольга Владимировна Бельская, вышедшая замуж перед самым началом войны. Муж ее был молодой офицер, храбрый служака и отличный товарищ.

Еще так недавно, приехав погостить в Смоленск, он кружился с Ольгой в танце, выделял замысловатые «па» котильона. Затем отпраздновали их свадьбу к радости обоих семейств, а тут вдруг — поход. И пришлось ему примкнуть к своему полку, стоявшему в Литве, оставив молодую жену на попечении ее матери Глафиры Петровны. У старушки Нелиной было всего двое детей: восемнадцатилетняя дочь Ольга и пятнадцатилетний сын Павлуша.

Вести о том, что Наполеон стоит у Днепра готовый переправиться, сильно тревожили старушку Нелину, и она давно уговаривала свою дочь ехать в Москву к родным, но Ольга ни за что не хотела уезжать из Смоленска, надеясь вскоре увидеться с мужем или хотя бы получать от него часто известия.

Второго августа, около шести часов вечера,

мать и дочь сидели у чайного стола, по обыкновению споря насчет отъезда. Глафира Петровна только что получила письмо от своей двоюродной сестры Анны Николаевны Роевой.

Та писала:

«Спокойствие покинуло наш город. Мы живем, не зная, что ждет нас впереди: нынче мы здесь, а завтра будем Бог знает где. Однако мы отложили поездку в деревню, узнав, что там происходит набор ратников. Тяжелое время в деревнях, когда берут человека рабочего из семьи в ту пору, когда окончены полевые работы; но представь, что это должно быть теперь, когда такое множество рабочих рук отрывается от работы!.. Мужики не ропщут, говорят, что они охотно пойдут на врагов и что в такое тяжелое для России время их всех бы следовало взять в солдаты. Но бабы в отчаянии — страшно стонут и вопят. Все помещики уехали из деревень, чтобы не видеть и не слышать их стонов. Лишь только набор завершится, уедем в деревню. А ты, ради Бога, не слушай своей Оли, много ли

ума-то у молоденькой бабенки. Выезжай поскорее в Москву, пока еще все дороги не заняты войсками. Я вас устрою пока кое-как в городе, а там вместе поедем в деревню: в тесноте — лишь бы не в обиде. А кто самый несносный обидчик наш, как не Наполеон! Говорят, Остерман одержал большую победу — оказалось, что выдумка. А вот Витгенштейн — так точно отличается на славу. Да он, ведь, защищает Петербург, и нам, москвичам, не поможет. Но и здесь принимают важные меры для защиты от французов. Всюду движение: старые и молодые идут в ополчение. А сколько траура и слез! Молодая Муханова, Урожденная Олсуфьева, лишилась мужа; молодой ее муж выказал большую храбрость в деле Раевского, так что был представлен князю Багратиону, а в тот же день оказался смертельно ранен и отправился на тот свет».

— А что скажешь, — спросила Нелина у дочери, складывая письмо, — ведь Анюта права. Завтра же начну укладываться.

Не успела молодая женщина ответить ма-

тери, как в комнату вбежал Павлуша.

— Наши отступают! — крикнул он, едва переступив порог. — Было сражение под Красным. Французов видимо-невидимо. Так вот и наскакивают со всех сторон на наших егерей.

Ольга вскочила, словно ужаленная, схватила брата за руку и сжала ее, горячо шепча:

— Скажи скорее... Митя убит? Убит?..

— Я ничего о нем не знаю! — сказал растерянно Павлуша, только тут поняв, какую страшную весть принес он своим близким.

Узнав о сражении под Красным и об отступлении наших войск к Смоленску, он и не подумал, что муж его сестры находится среди отступающих.

— Как не знаешь? — продолжала, задыхаясь, Ольга. — Кто же тебе сказал об этом?

— Все говорят, что наши отступают...

— Так что же ты по-пустому кричишь и пугаешь мамашу, передавая пустые слухи!

— Как же, сестрица, не предупредить было ее! Надо спасаться: все бегут из Смоленска.

Старушка все время сидела неподвижно, словно громом пораженная, широко раскрыв глаза и машинально сжимая в пальцах кусо-

чек сахара, который собиралась положить себе в чашку.

— Не пугайтесь, маменька! — сказала Ольга, обняв старушку. — Наши возвращаются к Смоленску. Митя скоро тут будет и сам скажет, что нам делать.

Молодая женщина старалась при этом улыбаться — глотая подступавшие к горлу слезы.

— Наши разбиты, — шептала старушка. — Олечка, надо нам уехать, дорогая. Укладываться надо скорее и уехать...

— Вы бы, маменька, Павлушу к коменданту послали узнать, в чем дело. А то мало ли что болтают в городе!

— Пусть сходит и узнает! А только как хочешь, но мы будем укладываться. Долго ли до беды! Вдруг неприятель нагрянет?

— У Неверовского целая дивизия. Да еще два драгунских полка! — сказал Павлуша.

— Эка сила, подумаешь! — с досадой прервала Нелина сына. — Да если не подоспеет подкрепление, так наших в землю положат.

— Господи! — охнула Ольга, уже видя в своем пылком воображении Митю убитым.

— Укладываться! — вскричала Нелина. — А ты, — обратилась она к Павлуше, — беги к коменданту да возвращайся скорее, не то уедем без тебя, ждать не станем.

— Палашка, Машка, Дунька! — позвала она во весь голос прислугу. — Тащите сундуки да попроторнее. Позовите ко мне Митрофана...

— Вы не извольте беспокоиться, матушка-барыня, — молвил почтительно вошедший старый слуга Митрофан. — Уложим все необходимое в тарантас. На козлы сядет лакей Андрей, и поезжайте с Богом в Москву.

— А как же с вещами, Митрофан? Надо за подводами в деревню послать.

— За подводами я уж Митюху верхом послал. А ждать вам их незачем. Я сам уложу, и вслед за вами поедем.

— Что ты, Митрофан, в уме ли? А дом-то как без тебя будет? Что ж его так на разграбление и оставить?

— Верно ваше слово, матушка-барыня. Дом никак оставить без присмотра нельзя. А только как же подводы зря отпустить, чтобы вещей не растащили?

— Посмеют ли! Ведь свои! Я старосте строгий приказ пошлю: беречь все пуще своего глаза. А дорогой Матвеевна присмотрит.

Столпившиеся вокруг нее женщины хватались за голову, всхлипывали.

— Молчите! — прикрикнула на них барыня.

— Что тискаетесь! — крикнул на них и Митрофан. — Ступайте укладывать добро по сундукам. Чтобы все было у вас готово, как подводы придут!

Женщины заметались во все стороны и, забыв про неприятеля, начали спорить между собой по поводу каждого ящика и каждой тряпки.

Ольга машинально собирала разные ценные вещи и старалась помогать матери. Но мысли ее были далеко — на большой дороге к Красному. Воображение ей рисовало, как Митя бодро шагает возле своей роты, в порядке отступающей перед массой напирающего со всех сторон неприятеля; то он виделся ей тяжелораненым... и она, забыв, где она и что возле нее делается, вздрагивала всем телом и хваталась обеими руками за голову.

— Полно же, голубушка моя, полно, моя радость! — говорила Нелина, глядя густые черные волосы дочери. — Никто как Бог! Что умиляться! Может быть, наш Митя здоров и двигается к нам...

— А мы уезжаем, мамаша! — проговорила сквозь слезы Ольга, с легкой укоризной в голосе.

— Нельзя иначе, голубка моя! Никак нельзя оставаться. Необходимо уехать — и как можно скорее.

— Хотя бы мне узнать, что с Митей. Подумайте только: уехать так далеко отсюда, не зная, жив ли Митя, не ранен ли он! Маменька, голубушка, подождите до завтра, только до завтра!..

— Матушка-барыня. Мы пропали!.. — закричал вдруг повар Гаврило, подбежав к растворенному окну. — Наши, слышь, остановились неподалеку. От француза отбиваются. Степка с повозкой прибыл.

Ольга опрометью бросилась к двери, выскочила на крыльцо и чуть не столкнулась лбом со своей горничной Машей, бежавшей со всех ног в комнаты.

— Письмецо вам от барины! — крикнула Маша, потрясая в воздухе клочком серой измятой бумаги.

Ольга нетерпеливо выхватила у нее письмо и стала с жадностью читать. Но бумага была сильно измята, а она так взволнована, что едва смогла разобрать следующие строки, наскоро набросанные карандашом:

«Если вы еще в Смоленске, то, ради Бога, уезжайте скорее прямо в Москву».

— Что он пишет? Что? — спрашивала тревожно Нелина, тоже вышедшая на крыльцо.

— Велит уезжать, — ответила грустно Ольга.

— Ну вот видишь, голубушка, сама теперь понимаешь, что я права.

Однако Ольга не слушала матери и, обратись к Маше, приказала позвать к себе денщика Степку. Не успел Степан появиться, как был засыпан вопросами.

— Живы-с, здоровы-с! — отвечал он, улыбаясь во все лицо. — Кланяться велели. И как это только Господь хранит его благородие! То есть хоть бы царапинка... А дело под Красным

было жаркое! Ух какое жаркое!..

— И Митя сражался? Да говори же скорее! — торопила Ольга.

— Как же-с! Почесть все впереди! Да вот расскажу все по порядку. Дозвольте только, сударыня, водицы испить, в горле уж больно пересохло. Весь день гнали лошадей без остановки, ведь француз-то был близехонько от нас.

— Ну иди, выпей и закуси. Я велю Матвеев-не тебе чарку вина дать. Только ты, смотри, приходи скорее рассказать нам все, да рассказывай потолковее, как дело было.

— Хотя мы в деле не бывали, а все ж с колокольни видели и можем доподлинно рассказать, как все происходило.

— Так приходи же, смотри, скорее!

— Мигом-с явимся. Не успеет безволосая девка и косу заплести, как мы перед вами предстанем.

— Ну-ну, беги! — сказала добродушно Нелина. — Довольно ораторствовать!..

Тоска Ольги заметно поутихла, но молодая женщина так страстно желала знать все подробности о муже, что не могла ничего толко-

во укладывать, а сновала по комнатам, захватив свою дорогую белую шаль, подарок Мити к свадьбе.

Через четверть часа Степан уже бежал по двору, утирая губы рукавом своего казакина и дожевывая кусок сала, которым его угостила Матвеевна. Обыкновенно она была не очень щедра, но тут как не угостить на радостях встречи, да и жалеть провизию незачем более: всех запасов с собой не увезти, а оставить — растащат или испортится... а не то еще француз съест, так пусть лучше свои покушают всласть.

Представ перед госпожой, Степан остановился чинно у самых дверей. Он опустил руки по швам, наклонил голову немного влево и начал ровным голосом толкового рассказчика:

— Вот это пришла наша дивизия под Красный, и стали мы на биваках недалеко от самого города. С нами тоже были Харьковский драгунский полк и два полка казаков. Тут шепнул один из казаков, вернувшись из разведки: «Плохо, ребята! Французов видимо-невидимо. И все — конные...» Вот это сего-

дня утром раненько и говорит мне его благородие: «Ступай, Степан, к обозу да мои вещи и коня стереги». Поехал я это на заводной через город и не утерпел, привязал жеребца к церковной ограде, а сам — на колокольню... А перед городом-то место ровное — видно далеко. Вот и вижу: скачут французы; да такая их сила — страх!.. Гляжу, а подле самого города наш-то батюшка Дмитрий Иванович мост на болоте наводят, ему барабанщики наши да флейтчики помогают, ломают изгороди да срубы, к их благородию тащат...

— Чего ты врешь! — остановила его строго Нелина. — Станет Митя мост в виду неприятеля строить!..

— Вот провалиться мне живому сквозь землю, коли вру, матушка-барыня! Как же их благородию моста не наводить, если начальство приказало. Да француз-то был еще эвона как далеко от наших. Нам-то его только с колокольни как на ладони видно было.

— Ну, рассказывай, рассказывай дальше! — нетерпеливо поторапливала денщика Ольга.

— Егеря-то наши перед городом стали це-

пью, — продолжал Степан. — Кажись, весь сорок девятый стоял тут, а наш третий батальон на улицах Красного был расставлен, и два орудия тяжелой артиллерии — при наших. Казаки да драгуны сунулись было вперед, да как увидали, какая сила на них прет, тут же ретировались. А наши молодцы егеря не сробели, так угостили француза пулями, что он перестал напирать. А тут пушки наши грянули картечью и повалили-таки немало людей и лошадей. Да враг-то уж больно хитер! В обход, вишь, пошел. А то бы наши в город его ни за что не впустили, лихо били они французов этих проклятых. Как увидел я, что наших обходят басурманы, того и гляди город займут, я с колокольни горшком скатился, да на лошадь, да вскачь... Слышал, что тут и наши отступать стали и вышли через город на Смоленскую дорогу... да, слышь, не успели орудий-то вывезти, как окаянные нагрянули да в атаку на артиллерию нашу и пошли, людей всех на месте положили; перерубили постромки, повернули пушки да нашими орудиями давай в наших палить.

— Ах Господи! — ахнула Нелина. — Что ж

это наши не устояли?

— Как не устояли! Дрались на славу. Да басурманов этих, вишь, что муравьев летучих понабралось. Туча тучей налетают, а наших-то всего одна дивизия!.. Не устояли только драгуны и поскакали без приказа прочь. Зато же их и рубили французы да поляки. А наши егеря сомкнутся, передовые шеренги станут на одно колено и не шелохнутся, ждут неприятеля. Тот налетит вихрем, звеня оружием, поднимая облака пыли, а наши голубчики стеной стоят. Подпустят басурмана на выстрел да как шарахнут его разом из ружей, так передовых словно скосит, а тут уж из задних шеренг заряженные ружья подадут, и снова наши молодцы палят. Сколько раз били, да француз не унимался; одни легли — другие тотчас лезут... напоследок наши их в штыки так ловко приняли, что повернули-таки окаянные, ускакали.

— Да ты как же видел, как наши от Красного отступали?

— Сам-то я не видел, да казак нагнал меня близехонько от Смоленска и рассказал про все это. Его, вишь, казака-то, наш генерал с

бумагой сюда послал. Сказывал он, что долго француз не допускал их выйти на большую дорогу: дорога-то обсажена с каждой стороны в два ряда деревьями, так кавалерии ихней было бы трудно наскочить на наших егерей; вот он и не хотел дать нашим выйти на дорогу, но наши все-таки вышли. Сказывал тот казак еще, что наш Дмитрий Иванович так вот и одобряет всех егерей: «Постойте, голубчики, — говорит им, — постойте, родные! За Русь святую сражаемся, землю родную отстаиваем». Сам храбрый и храбрых любит. Коль враг, а дерется хорошо, — беспрерывно похвалит. Подскакал, говорят, к нашим егерям польский штабс-капитан. Конь под ним знатный, сам смелый такой. Подъехал близехонько и давай уговаривать наших сдаться. «Все равно всех вас перебьют», — говорит. А наш фельдфебель Коломчевский ему в ответ как пустит пулю в лоб, так тот как сноп свалился, один конь его понесся обратно к своему фронту. А наш-то Дмитрий Иванович, Божья душа, и говорит: «Жаль беднягу! Храбрый был офицер!». А что таких-то жалеть! Отважен-то он был отважен. Да вишь с чем к на-

шим пожаловал — «сдавайтесь, мол!..» Как бы не так! Не на таковских напал: мы все ко-
стьюми лучше ляжем, а французу окаянному
ни за что не сдадимся.

— Да тебе, верно, две чарочки Матвеевна
поднесла! — пошутила Нелина. — Что-то ты
уж много храбрости понабрался.

— Так-то так, матушка-барыня, точно, две
чарочки пропустил. Да только, сударыня, не
вино во мне говорит, а кровь русская закипе-
ла: жаль своих — вот как жаль! — повторил
он, хватаясь за грудь. — Родные ведь!..

— Молодец, Степка, право, молодец! — по-
хвалила его Нелина. — Тебе бы не в обозе
быть, а в рядах с солдатами.

— Что ж, матушка-барыня, велят в строй,
так хоть сейчас готов. Головы не пожалею за
нашу матушку Русь святую, православную...

Степан утер слезу и замолчал.

— А вот, сударыня, — начал он опять через
несколько минут, но уже совершенно иным
голосом, с легким оттенком самодоволь-
ства, — не в труд себе поставьте взглянуть,
какую я вещицу важнейшую выменял у одно-
го казака на кисет с табаком.

И Степан вынул из-за голенища прелестный медальон и подал его Нелиной.

— Что это! Никак золотой! — сказала та, внимательно рассматривая медальон. — Взгляни, Оля, тут на нем герб какой-то, а внутри портрет или образ, не разберешь.

— Да, это графский герб, — сказала Оля, взяв из рук матери медальон. — А в нем образ Парижской Богоматери. Вероятно, медальон этот снят с убитого французского офицера.

— Ошибаетесь, сударыня Ольга Владимировна. Вещицу эту снял казак с французского солдата. Лежал тот французик под деревом. Не раненый, а мертвый. Видно, лошадь его о дерево шарахнула. Казак его хорошо разглядел, весь ранец его выпотрошил. Чудной такой солдатик тот. Лето на дворе, жарница, а у него в ранце теплая фуфайка, рукавицы и шерстяные носки. Смех да и только.

— Что же ты с медальоном станешь делать? — спросила Нелина.

— Отдам жене, пусть по праздникам в нем щеголяет. Одно не ладно: образ-то не наш, а ихний, басурманский. Разве сказать кузнецу выломать его?

— Я бы купила у тебя медальон этот, да более червонца дать за него не могу.

— И что вы это, матушка-барыня, коли рублик дадите, так и того много. Кисет-то с табаком копеечек двадцать стоит.

— Червонец обещала, червонец и дам, — сказала Нелина тоном, не допускающим возражения, и, вынув из бисерного кошелька голландский червонец, подала его денщику.

— Матушка-барыня, подводы пришли! — доложила визгливым голосом молоденькая горничная, влетая в комнату стрелой.

Все в доме снова засуетилось, задвигалось. На дворе раздавались громкие голоса укладывающих на возы вещи, в комнатах бегала, суетилась и громко переговаривалась женская прислуга.

Наконец все было уложено, завязано, укрыто рогожами. А Павлуши между тем все не было. Но вот наконец появился и он.

— Где ты так долго сидел? — спросили его в один голос мать и сестра.

— Какое там сидел! Только полчаса тому назад добился я увидеть коменданта. Он все ходил по крепости и отдавал приказания гар-

низону и артиллеристам. Неприятель — точно — идет за нашими по пятам. К рассвету ждут сражения под стенами крепости. Надо поскорее уезжать!

— Все готово! Стоит только велеть закладывать, — сказала Нелина.

— Так я распоряжусь.

— Распорядись, Павлуша. Вели в наш тарантас заложить четверку, пару коренных в дышло, а на пристяжку пусть Кирилло выберет из деревенских лошадей понадежнее.

Через минуту Павлуша вернулся с вестью, что лошади, прибывшие из деревни, так устали, что запрягать их невозможно. Все равно придется ночевать, отъехав верст с десять, так не лучше ли дать им отдохнуть дома и выехать на рассвете...

Пришлось покориться необходимости и отложить выезд.

— Так пусть Гаврило подает нам поужинать! — решила Нелина, усаживаясь в кресло и принимаясь за свое нескончаемое вязание на длинных деревянных спицах.

На следующий день, лишь только начало светать, все в доме Нелиной были уже на но-

гах и, выпив наскоро чаю, готовились к отъезду, как вдруг в городе поднялось необычайное движение, и на улицах появились русские войска, отступавшие от Красного.

Встревоженная этим неожиданным появлением, Нелина стала еще более торопить своих с отъездом и звала детей скорее садиться в экипаж, уже совсем запряженный. Но Ольга медлила под разными предлогами. Старуха рассердилась не на шутку и, выходя во двор, крикнула дочери:

— Так оставайся же тут одна, коли тебе резню в улицах видеть хочется!

Ольга неохотно пошла за матерью, но не успела подойти к экипажу, как во двор вбежал запыленный офицер и бросился прямо к ней.

— Митя! — вскрикнула вне себя молодая женщина.

— Уезжайте! Как можно скорее уезжайте! — говорил Бельский, обняв одной рукой жену, а другой взяв руку тещи и целуя ее. — Что же вы это, мамаша, до сих пор не уехали? Французы у стен города...

— Да вот все твое сокровище! — пожалова-

лась старушка, указывая на дочь. — Никак ее не уговоришь, не урезонишь. Все тебя поджидала. Видно, сердчишко чувствовало, что явишься к нам... — досказала она ему шепотом.

Но Бельский не мог расслышать слов тещи, так как Павлуша душил его своими поцелуями.

— Ради самого Бога, уезжайте скорей! — торопил Бельский, сажая жену в тарантас. — Я вырвался на одну минуту — послан от генерала с поручением к коменданту и должен возвращаться с ответом.

Он еще раз поцеловал жену, ручку теще и Павлушу, затем побежал к воротам, крикнув кучеру и лакею:

— Садись! С Богом! Трогай!

Тарантас грузно закачался и застучал большими колесами по немощенному широкому двору, и пока выехал за ворота, Бельский был уже на коне. Он послал юной супруге прощальный поцелуй, пришпорил коня и помчался в противоположную сторону той, куда направился тарантас с дорогими ему людьми.

Когда Бельский присоединился к своему отряду, тот уже выдержал не менее пятнадцати атак кавалерии Мюрата, старавшегося во что бы то ни стало прорваться к Смоленску и отрезать наши армии от Москвы.

Но егеря дивизии Неверовского отбивались стойко и отступали в полном порядке, несмотря на беспрестанные стремительные нападения неприятеля, вчетверо их превосходящего.

Неверовский поджидал себе в подкрепление корпус Раевского, но тот все не показывался, и его дивизии в итоге пришлось одной выдержать до сорока жарких атак неприятеля на протяжении двенадцативерстного расстояния. Только к вечеру третьего августа подошли они к Смоленску. Французы гнались за ними и к ночи остановились перед городскими укреплениями.

В Смоленске поднялось страшное смятение. Растерянные жители бросились вон из города, унося все, что только можно было захватить с собой. Выйдя на дорогу, ведущую в Москву, все рассыпались по разным проселкам и тропам, ища спасения в ближайших де-

ревнях, но большая часть направилась прямо в Москву. Все дороги были заполнены возами и пешеходами. Тащились старики с котомками за плечами, тяжело опираясь на палки; бежали дети, придерживаясь за телеги или за платья матерей; шли женщины с грудными детьми на руках. И все это двигалось растерянное, заплаканное, не зная в точности, куда именно направиться, где приютиться и укрыть от опасности своих близких и пожитки, ценности, с немалым трудом накопленные.

На рассвете четвертого августа началась канонада вокруг стен Смоленска. Французы кидались на приступ Кремля с разных сторон. Гранаты черными змейками влетали в город, сильно ударялись то тут, то там, разлетались вдребезги и своими осколками ранили тех несчастных, которые еще оставались в городе. Никто не смел выходить из дому, но и за деревянными стенами домов и дворов было не менее опасно: гранаты зажигали строения то в той, то в другой части города.



Глава VIII



Петербурге еще ничего не было известно о бомбардировании Смоленска.

У Триниуса, лейб-медика принцессы Вюртембергской, собралось довольно большое общество, состоящее большей частью из иностранцев. Тут находился и высокий, величавый красавец-старик, поэт Клиндер из Франкфурта, и приземистый швед Крузенштерн, совершивший кругосветное путешествие, и страшный поклонник Наполеона астроном Шуберт, и барон Штейн, формировавший в то время немецкий легион, который должен был выступить с нашими войсками против французской армии, и множество разных немцев, явившихся в Россию для поступления в этот русско-немецкий легион. В числе новых приезжих был тиролец Франц Юбиле, статный мужчина лет сорока, говоривший весьма увлекательно и живо передававший

эпизоды последней тирольской войны. Его неподдельный патриотизм воодушевлял всех окружающих.

— Спойте вашу национальную песенку! — просила одна из дам. — Когда я ее слушаю, мне представляется, я нахожусь в горах Тироля.

Он с любезностью стал позади севшей за фортепиано дамы, и полилась звучная народная песня Тироля.

В это время к Триниусу подошел Мейндорф, приехавший для поступления в немецкий легион, и попросил познакомить его с германским поэтом Арндтом, вызванным из Германии бароном Штейном себе в помощники.

После обычных приветствий завязалась беседа. У познакомившихся оказалось много общих знакомых в Германии, и разговор их вскоре принял весьма непринужденный, почти дружеский тон.

— Вы, я думаю, — заметил Мейндорф, — немало почерпнете здесь сюжетов для вашего пера.

— Да, — отвечал задумчиво Арндт, — тут

много есть и для наблюдений, и для описаний. Многое так и просится под кисть художника. Ехал я сюда через Волынь и нахожу, что на Волыни хозяйство ведется не хуже, чем у нас в Германии. Какие пчельники, луга! Какой рослый скот!..

— Но как вы приехали? В это время уже двигались русские войска. Мне пришлось сесть на корабль, чтобы добраться до Петербурга.

— Да, задержек на пути было немало. Движение войск сильное. Особенно много военных скопилось около Смоленска. В то время к этому пункту стягивались войска, так как Багратион шел на соединение с Барклаем-де-Толли, и все поле вокруг Смоленска представляло один сплошной лагерь. Помню, было тогда жаркое время. А именно — июльское утро. Мы едва двигались через эту массу войск. Пыль стояла столбом и густым слоем пудрила нас и нашу поклажу. Хотя наш германский поэт Мезер и говорит, что пыль — помада героев, но я нахожу, что можно было бы нам обойтись без этого геройского украшения. В самом Смоленске нашли мы те же толпы: на-

силу смогли добраться до гостиницы симона Джиампа, но там все номера оказались уже битком набиты. Наш саксонский офицер Боуль сидел просто на лестнице и на наши требования от прислуги хлеба и вина только улыбался, повторяя: «Терпение, друзья, терпение! Я послал в город моего слугу и вот уже более часа его жду. Здесь же, в гостинице, вы ничего не достанете, ибо все съедено и выпито дочи́ста. Угла нет тут ни за какие деньги! Уланские и казачьи офицеры заняли не только весь дом, но и весь двор. Всюду такие толпы, что разве мышь проберется»... Военный поток этот отхлынул только к вечеру, и мы наконец добыли себе две комнаты и несколько жареных куриц. В войсках оказалось много наших немцев, саксонцев, австрийцев, пруссаков, отточивших свои мечи против французов. Они группировались вокруг дивизионного генерала, герцога Вюртембергского, и меня представили ему в качестве будущего служаки в немецком легионе... Никогда я не забуду этой пестроты военного лагеря. Каких только войск не пришлось мне видеть за эти три дня, проведенных мною в Смоленске! Тут

проходили и проносились вскачь татары из Кабарды и Крыма, статные казаки с Дона, калмыки с плоскими лицами, впалой грудью и кривыми ногами, башкиры с луками и стрелами. Но всего красивее был взвод конных черкесов. Из Смоленска я направился на Москву с молодым офицером немецко-русского легиона. Он был послан в лагерь и возвращался в Петербург. В Вязьме мы застали часть императорского кабинета: графа Нессельроде, барона Арштета и других. Как теперь помню наш парадный обед у тамошнего полицеймейстера. Накрыто было в зале на сто пятьдесят человек; собралось все местное дворянство. И воодушевление у всех было чрезвычайное. Французов называли рабами за то, что они провозгласили Наполеона своим императором. Восторг этот был вовсе неподдельный и отражался в народной толпе. Мы пировали, провозглашая тосты за счастливое окончание войны, за наш немецко-русский легион. Прекрасные дамы и раненые русские офицеры сочувственно жали нам руки за то, что мы приехали в Россию идти вместе с русскими против общего нашего врага Наполео-

на. А вокруг города стояли станом тысячи молодых крестьян, набранных в рекруты и в ополчение и провожаемых своими близкими, да повозки раненых, которых отправляли в глубь России. Но ни эти юные новобранцы, ни вид повозок с ранеными не могли охладить общего воинственного настроения. Я с восторгом любовался, когда мимо меня мчался длинной вереницей поезд ополченцев: впереди скрипки и дудки, подле рекрутов матери, братья, сестры, невесты в цветах. Весело и шумно неслись они, нарядные и здоровые, провожаемые своими близкими на смертный бой. Одна подобная картина может послужить прекрасным сюжетом для поэта и для художника. Есть тут над чем призадуматься и мыслителю: тяжелое время переживаем мы с вами, молодой человек!

— И нам, может быть, придется заснуть вечным сном на поле битвы, — сказал Мейндорф не без сентиментальности.

Арндт молчал, а Юбиле продолжал петь свои национальные песни, все более и более воодушевляясь патриотическим чувством.

— Кто эта брюнетка? — спросил Мейндорф

после некоторого молчания. — Она очень некрасива, но у нее такие необычайно умные и привлекательные глаза.

— Это европейская знаменитость, госпожа де-Рокка, — ответил Арндт.

— Я никогда не слыхивал этого имени! — признался откровенно Мейндорф.

— Возможно ли? — поразился Арндт. — Она известна и как писательница, и как высокогуманная, либеральная и умная женщина. Сочувствуя свободе, она, однако, сильно восстала против ужасов революции и многих спасла от смерти. За упорное отстаивание своих взглядов она была выслана из Франции.

— Описание, сделанное вами, до того схоже с характеристикой знаменитой Сталь, что если бы вы не назвали госпожу де-Рокка...

— Да она и есть — Сталь! — засмеялся тут Арндт. — Просто я забыл вам сказать, что Сталь вторично вышла замуж — за французского офицера де-Рокка.

Оба собеседника долго смеялись, вспоминая комическое недоразумение.

— Как она здесь очутилась? — поинтересо-

вался, наконец, Мейндорф.

— Она бежала из Вены, боясь, чтобы австрийцы не выдали ее Наполеону, и пробирается теперь в Швецию. Наполеон преследует ее повсюду. Сталь уверяет, что ей пришлось, убегая от Наполеона, изучить карту всей Европы так же подробно, как ему самому пришлось изучать ее ради своих завоеваний.

— За что же он ее так возненавидел?

— Она ему не только никогда не льстила, но и позволяла себе высказывать не совсем лестное о нем мнение в присутствии блистательного парижского общества, наполнявшего ее залы. Наполеону сие пришлось сильно не по вкусу, и вот уже лет с десять, как он преследует не только ее, но и всех тех, кто оказывает ей какое бы то ни было внимание.

— Каков этот де-Рокка?

— Вот он стоит! — указал глазами Арндт на молодого красавца.

— Не пойму: что ей вздумалось выйти за этого красавчика. Он к тому же гораздо моложе ее.

— Она полюбила его, ухаживая за ним, когда он был ранен. Его нашли полуживым, ис-

текающим кровью у дверей ее дома, когда она жила в Швейцарии.

— Сама она уже не молода?

— Да, у нее уж взрослая дочь Альбертина — вот та милая девушка, что разговаривает в эту минуту со Шлегелем. Его-то вы, верно, знаете — нашего известного поэта и мыслителя Августа Вильгельма Шлегеля. Он воспитатель детей госпожи Сталь и бежал вместе с ней из Вены.

— По его произведениям я, разумеется, хорошо знаю брата нашего известного философа Фридриха Шлегеля, — сказал Мейндорф. — Знаком с его чудным переводом Шекспира, но лично я его никогда не видел.

— Вон он заспорил с астрономом Шубертом. Пари держу, что говорят они сейчас о Наполеоне, и Шуберт, верно, ему доказывает, что и эта война кончится полным торжеством Наполеона.

В эту минуту началось некое необычное движение в зале. Триниус вскочил, бросился к входной двери, и через минуту на пороге показалась высокая, стройная красивая молодая женщина, окруженная придворными да-

мами и фрейлинами.

— Герцогиня... — тихо сказал Арндт, быстро поднявшись с места и почтительно кланяясь вошедшей.

— Продолжайте! — обратилась герцогиня Вюртембергская к Юбиле с ласковой улыбкой. — Я пришла не помешать вашему собранию, а полюбоваться им.

Тиролоец, не раз уже певший в присутствии герцогини, начал звучным голосом ее любимую песню, которую сама герцогиня часто наигрывала по слуху.

— Любите ли вы музыку? — спросил Мейндорфа Арндт.

— О да! Особенно серьезную музыку.

— Скажите, слышали вы когда-нибудь сонаты Бетховена?

— Их играл в концерте Мендельсон — Бартольди. Но не только я не понял ничего в этих сонатах, но почти никому они не пришлись по вкусу.

— Странно. А между тем на меня они действуют более всего, что я только до сих пор слышал: такая сила, такая мощь... глубина мысли и серьезного чувства. Дух захватывает.

Слушая Бетховена, я думаю, что это — гений.

— Весьма может быть! — согласился Мейндорф. — Но мы не доросли до него. Вот Мендельсона песни без слов — так прелесть!

И они горячо заговорили о музыке...

Чем ближе к полуночи, тем разговорчивее гости, тем воодушевленное поет Юбиле, тем громче рассказывает он о своей аудиенции у австрийского императора и у английского принца регента, тем живее он передает о подвигах и страданиях своих тирольцев во время последней войны, о том, как они стойко боролись против союзника Наполеона, короля Баварского, и заняли с австрийцами столицу его, Мюнхен. В промежутках, когда мужчины уходят курить в кабинет хозяина, госпожа Сталь блещет остротами — удачными, меткими сравнениями и живостью своей речи невольно увлекает всех оставшихся в оживленный разговор, где каждый, чувствуя свою силу, становится находчивее и красноречивее обыкновенного. У нее необычайный дар поддерживать разговор и вызывать возражения. Но она особенно внимательно относится к каждому слову высокой белокурой красави-

цы, сидящей несколько поодаль от всех придворных, и разговаривает с ней так почти-тельно, словно с коронованной особой.

Вот уж скоро и полночь. Принцесса поднимается со своего места, собираясь ехать. Пока она разговаривает с Штейном, молодая красавица блондинка скромно подходит к Юбиле, благодарит его за доставленное ей удовольствие пением. Затем заговаривает с ним о Швабии, о Рейне, причем дает ему понять, что сама она родилась близ Рейна.

— Если вы, тирольцы, — продолжает она с кроткой улыбкой, — снова восстанете против Баварии и Бог вам пошлет победу, то вспомните о моей просьбе: не слишком по-военному хозяйничайте в Баварии и Швабии.

— Не могу обещать, это выше наших сил! — возразил откровенный тиролоец. — Как было имперцам — австрийцам — не взять Мюнхена, когда до сих пор король Баварский не может забыть, что он служил во французском войске. Весьма может быть, что и теперь придется нам ему напомнить, что он немец, а не француз. Что же касается короля Вюртембергского и великого герцога Баденского...

Триниус, однако, не дал Юбиле докончить. Он быстро подошел к нему и спросил:

— Знаете ли вы, любезный Юбиле, с кем вы говорите?.. Это ее величество императрица.

— Ваше императорское величество, будьте милосердны!.. — едва мог пролепетать испуганный Юбиле. — Могло ли мне прийти в голову, что нахожусь я перед русской императрицей!..

— Успокойтесь! — сказала ласково государыня. — Я сама спровоцировала вас высказать ваше мнение. Вы исполнили мою волю, отвечая мне откровенно.

— Ваше величество, простите! Я высказал то, что мне подсказывало чувство патриотизма.

Императрица ласково кивнула ему, простилась со всеми и вышла своей величавой, но легкой походкой, исполненной неподражаемой грации.

Она давно уже исчезла за дверью, а несчастный Юбиле все еще оставался на прежнем своем месте, бормоча несвязно:

— Кто бы мог подумать, что это сама импе-

ратрица... Как это меня не предупредили... А каково!.. Осмелиться порицать ее родственников и угрожать их владениям!.. Ах я несчастный! Что со мной будет?

— Поверьте, ничего дурного! — успокоил барон Штейн. — Раз императрица явилась инкогнито, она и ко всему делу отнесется не как императрица, а как частное лицо. А вам я советую в другой раз быть поосторожнее и не забывать, что вы находитесь в таком государстве, где вдовствующая императрица — из дома Вюртембергского, а великий герцог Баденский — родной брат супруги самого императора.

— А я вам как доктор посоветую, — добавил Триниус, — идти скорее домой, лечь в постель и принять успокоительное, не то как раз от испуга заболеете...



Глава IX



И татели, вероятно, догадались, что молодой французский солдат, с которого казак снял медальон, попавший затем в руки Нелиной, был не кто иной, как Этьен Ранже.

С обычной своей храбростью Этьен не раз бросался отважно вперед во время атак и, смело врезавшись в ряды русских солдат, рубил направо и налево, не щадя ни неприятеля, ни собственной своей жизни. Он дрался словно в чаду каком или неистовом опьянении: прежде ему было невыносимо слушать стоны раненых и бросаться с поднятым палашиком на своего ближнего, но вид крови приводил его в неистовство, и Этьен, поддаваясь этому чувству, не видел более человека в своем противнике.

Изнуренные безостановочным движением вперед и беспрестанными стычками с неприятелем, Этьен и его товарищи сознавали одно

только — что надо во что бы то ни стало занять Смоленск, иначе им не дадут отдохнуть, и бросались в атаку, как бешенные.

Мюрат не раз обращал внимание на храброго Этьена Ранже, воодушевлявшего своих товарищей и поддерживавшего в них бодрость; не раз он замечал его распорядительность и толковость. Кроме того, сам по себе Этьен был ему чрезвычайно симпатичен, и он решил произвести его в офицеры.

Но в одну из кровавых схваток конь Этьена, испугавшийся штыка, шарахнулся в сторону и со всего размаха ударил своего седока головой о дерево. Молодой человек свалился как сноп на землю. Казаки приняли его за убитого и ограбили.

Что случилось бы с Этьеном, если бы его оставили на месте, неизвестно; но на его счастье казак, переверошивший его ранец, повернул Этьена лицом кверху, и Мюрат, следуя за передовым своим отрядом, проехал мимо него и узнал своего храброго любимца.

— Убит? — спросил он, указывая на него.

— Кажется, — отвечал равнодушно генерал-адъютант короля Росетти.

Но тут Этьен пошевелился. Мюрат велел адъютанту осмотреть, куда он ранен, и тот, к общему удивлению, не нашел на нем никакой раны.

— Дайте ему понюхать соли! — велел Мюрат своей обычной скороговоркой. — Он, вероятно, лишился чувств от ушиба.

Росетти поднес к лицу Этьена флакон с нашатырем, поданный ему Мюратом, и Этьен, открыв глаза, обвел всех мутным взором.

— Взять его с собой! — скомандовал Мюрат. — И вперед, друзья! Времени терять не будем!

Адъютанты подхватили Этьена под руки, и один из них посадил его перед собой на лошадь.

Быстрая езда вскоре согрела окоченевшие члены Этьена, и он почувствовал себя совсем здоровым и бодрым и тотчас же заявил об этом.

Ему дали одну из запасных лошадей, и он понесся вдогонку за своим взводом, шедшим в авангарде отряда.

В одну из следующих стычек Мюрат крикнул одному молодому солдату:

— Браво, молодец! Как зовут?

И едва не попятился в удивлении, когда солдат, приложив руку к киверу, отвечал:

— Этьен Ранже, ваше величество!

— Как! Кого же подняли полумертвым мои адъютанты?

— Меня, ваше величество! — отвечал бодро молодой человек.

— И ты уже снова рубишься впереди всех?.. Становись на место убитого подпоручика Марто. Видно, судьба тебе быть офицером еще до занятия Смоленска, хотя я собирался тебя произвести после взятия этого города! — сказал Мюрат с обычной своей самоуверенностью, будто бы взять Смоленск было так же легко, как занять какую-нибудь деревушку.

Ксавье Арман с завистью поглядывал, как один из приятелей Этьена поднес ему эполеты и саблю, снятые с убитого в схватке Марто, и Этьен мгновенно преобразился в подпоручика и стал выше первого офицерского чина, что было вовсе не редкость в такое время, когда простые рядовые в одну кампанию достигали чина полковника или даже генерала.

Сам Иоаким Мюрат был сыном трактирщика. Своей отчаянной храбростью он обратил на себя внимание Наполеона, когда тот еще был генералом, и быстро пошел в гору. В 1800 году он женился на сестре Наполеона и в 1808 году был возведен им на престол неаполитанских королей.

В то время, как Этьен надевал офицерские эполеты, князь Багратион получил известие, что дивизия Неверовского разбита под Красным и преследуется Мюратом, и приказал корпусу Раевского идти поддержать Неверовского и защищать Смоленск.

Так как необходимо было во что бы то ни стало удержать этот город за собой по возможности дольше, чтобы дать нашим армиям время выйти на Московскую дорогу, то и Барклай-де-Толли отправил туда из Первой армии корпус Багговута. Но тот прибыл к Смоленску только на рассвете пятого августа, когда французские ядра уже осыпали улицы города. Багговут со своими остановился на bivуаках по правую сторону Днепра у самого Смоленска, в предместье, находящемся на правом берегу Днепра, тогда как собственно

город расположен на склоне левого берега и окружен каменной зубчатой стеной, построенной еще при Годунове. Кремль составляет продолжение этой стены, в четыре сажени высотой, с десятью башнями, круглыми, четырехугольными, неправильно расположенными в разных местах. Стены эти прорезаны только двумя воротами: одни ведут на дорогу к Красному, другие — на Мстиславль в Москву. Тот и другой выходы защищены полукруглым земляным валом, укрепленным бастионами без палисадов. На эти бастионы нельзя было поставить пушки, и пятьдесят орудий расположили по полукруглому валу и подле бастионов.

С высокого правого берега, на котором находился корпус Багговута, виделся отчетливо не только весь Смоленск с его земляными укреплениями впереди стен, но и неприятельский лагерь. Французские войска обложили городские укрепления с левой стороны Днепра, и полукруглые фланги их доходили до самой реки. Они часто бросались на приступ то с одной, то с другой стороны и особенно сильно напирала на одни ворота. Гул нес-

ся страшный; грохот пушек, ружейная пальба, крики сражающихся и стоны раненых и умирающих сливались в один звук. Вскоре деревянные дома загорелись и пылали, словно гигантские костры, и даже иные старинные башни были объаты пламенем. К вечеру весь город уже был в огне. И вдруг раздался протяжный благовест в соборе, призывая к всенощной накануне великого праздника Преображения Господня. Колокола остальных церквей заворили, и торжественный благовест разлился по городу.

Несмотря на пожар, окружавший церкви и колокольни, и на непрекращавшуюся бомбардировку, народ стекался со всех сторон к всенощной и в теплой молитве к Господу искал успокоения и отрады. А неприятельские ядра меж тем жужжали, шипели, свистели в воздухе, гулко ударяя в землю или в стены зданий, неся с собой смерть и разрушение.

Вечер был прекрасный: ни малейшего ветра. Огонь и дым поднимались столбом под самые облака. Куполы церквей и колоколен ясно виделись на фоне пылающего неба.

Сражение прекратилось только к ночи.

Солдаты и офицеры улеглись под открытым небом, возле ружей, составленных в козлы, стараясь восстановить сном свои силы. Все ожидали, что на следующий день начнется новый смертельный бой.

Дивизия, в которой находился Павел Алексеевич Тучков, заняла Петербургское предместье Смоленска, на правой стороне Днепра. К ночи офицеры собрались в кружок и толковали, угощаясь кое-какой закуской.

— Если бы мы не ходили взад и вперед то к Инкову, то к Смоленску, — говорил один из офицеров, — мы бы успели отразить неприятеля у Красного. А тут вот пришлось только с горки глядеть на сражение.

— Как знать, как знать! — пожимал плечами Майор. — А это не так-то легко, как кажется. Вот ведь верные известия были получены о том, что Наполеон идет на Смоленск, и двинули нас сюда было, а пришли, и все же мы стали кричать, что нас обманули; ушли к Инкову, а тут французы без нас перешли Днепр и взяли Красный.

— Как хотите, господа, — сказал кто-то, понижая голос, — а странно, что наш главноко-

мандующий избегает боя...

— Верно, верно! — поддержали его другие.

— Полноте, господа! — заговорил снова майор. — Разве могли мы выдержать генеральное сражение, пока наши две армии не соединятся?

— К чему нужно было растягивать войска? — проворчал капитан. — И без того у нас войска втрое меньше, чем у неприятеля. А тут еще разделили на три армии и растянули от Балтийского моря до самой Галиции.

— Нельзя было знать, с какой стороны Наполеон вторгнется в наши владения.

— Что ж! Разве мы помешали его переправе?.. Все это мудрят у нас в штабе немцы. Если бы все войска были в одном месте, не допустили бы мы Наполеона до Смоленска.

— Ну что толковать! — прервал его майор. — Главное сделано: наша Первая армия соединилась с армией Багратиона. И теперь нас до ста пятидесяти тысяч при семистах шестидесяти орудиях.

— Вы почему знаете численность войск и орудий?

— Помогал в вычислениях адъютанту, пи-

савшему докладную записку главнокомандующему.

— Вот посмотрим, что станут делать теперь, когда обе армии соединились! — говорила молодежь. — Куда поведут нас наши немцы?

— Уж, разумеется, не отступим от Смоленска! — бросил майор уверенно. — И не отдадим такой важный пункт в руки неприятеля.

— Только бы этого не доставало! — крикнул кто-то из молодых.

— А я так и тут не уверен, чтобы мы не отступали, — молвил насмешливо капитан. — Ведь можно же было не допустить неприятеля до переправы через Неман, но переправился он благополучно и без помех.

— Кто же мог думать, что Наполеон вторгнется в наши пределы, не объявив предварительно войны! — покачал головой майор.

— От него всего можно было ожидать! — прервал его капитан запальчиво. — А мы все ему дорогу очищаем. Вспомните только, господа, как было дело с нашей бригадой: мы жгли мост на Вилии, когда Наполеон уже перешел через Неман.

— А здоровый мост был! — заметил пожилой прапорщик. — Бревна — толще не бывает! Много хвороста и соломы нужно было натаскать на него, чтобы огонь охватил намокшую древесину.

— Есть о чем жалеть! — засмеялся один из молодежи. — Сколько людей с тех пор погело, а он о бревнах жалеет.

— Не перебивайте меня! — начал снова капитан. — Дайте мне перечислить все наши походы. Помнится, мы отступили от Вилии пятнадцатого июня. Семнадцатого и восемнадцатого простояли на месте. Затем двинулись к главной квартире в пресловутые укрепления Дриссы.

— Опять немцы! — заметил запальчиво один из молодых. — Чего стоили эти укрепления и оказались никуда не годными!

— Тут мы тоже жгли, — продолжал капитан настойчиво. — Только уже не мост, а провиантские магазины.

— И сожгли одного хлеба на миллион рублей! — ввернул снова старый прапорщик.

— А сколько громких слов было сказано Барклаем-де-Толли! — продолжал капитан. —

Помните, господа?.. Когда укрепляли лагерь под Дриссой, главнокомандующий говорил, что копает могилы неприятелю. А пришли мы в Дриссу, так все увидели, что, останься мы в этом укреплении, нас, как мух, перебьют французы... Тут снова уверял в своем приказе Барклай-де-Толли: «Не отступлю более ни на шаг перед неприятелем». А второго вся армия отступила через Двину по дороге к Полоцку.

— И мы замыкали шествие, поджидая себе в подкрепление графа Витгенштейна! — добавил кто-то из молодежи.

— А никто и не думал нападать на нас, — продолжал капитан. — И мы преспокойно прибыли одиннадцатого июля в Витебск и расположились на берегу Двины, как стоим теперь над Днепром. И простояли до тех пор, — добавил он с горечью, — пока главнокомандующий не получил донесение от князя Багратиона, что Могилев взят Наполеоном, и обе армии через это не могут соединиться иначе, как под Смоленском.

— И мы снова потянулись, отступая, — сказал не без сарказма один молодой офицер. —

Только на этот раз по дороге к Поречью, а французы меж тем овладели оставленным нами Витебском.

— Жутко досталось тогда нашему арьергарду от войск Мюрата! — заметил кто-то.

— Зато граф Пален второй молодецки сдержал напор! — ответил майор. — Наши войска бились на славу!

— А помните, господа, как послали нашего командира Павла Алексеевича заступить место барона Корфа по случаю приключившейся у того болезни?

— Мы тогда только вдвоем с ним отправились обратно по дороге к Витебску! — сказал адъютант Тучкова Новиков, хранивший до сих пор молчание.

— Невесело вам тогда было! — заметил молодой подпоручик.

— До Витебска было ничего! — решил рассказать адъютант. — Вся дорога, однако, была запружена повозками и народом, бежавшим из города. Встречные нас уверяли, что Витебск занят уже французами. Но Павел Алексеевич не верил этому и хотел убедиться, точно ли французы в городе... Ну и убедился —

если не *воочию*, то *воушию*: только-только въехали мы с ним в предместье, как слышим — в улицах города идет пальба. Сомнения тут больше никакого не было в том, что французы в городе. И нам следовало уходить, чтобы не попасть в плен. Мы свернули с большой дороги вправо и поехали полями отыскивать свой отряд. Дело было к вечеру, а мы не знали наверно, где он находится, и постоянно рисковали наскочить на неприятеля. Меня Павел Алексеевич послал в одну сторону осмотреть местность, а сам направился в другую, и мы потеряли друг друга, и пришлось каждому из нас пробираться к своим поодиночке. Сильно стемнело, едва можно было разглядеть путь на просторных равнинах, окружающих Витебск. Вижу вдруг, идет кавалерия. Впереди уланы... Наши или неприятель — решить трудно. Ведь польские уланы, сражающиеся против нас заодно с французами, в мундирах, очень похожих на наших улан, а французы, заняв Витебск, могли выслать польских уланов для прикрытия своего фланга. Пока я раздумывал, ехать ли мне навстречу показавшейся коннице или

скакать от нее, за уланами показались гусары в серых мундирах... «Слава Богу! Это наш Елисаветградский полк!» — вздохнул я облегченно и поскакал к нему.

— Так вы и шли с конницей?

— Куда же мне было деваться! Примкнул я к ней, да вскоре к нам присоединился и Павел Алексеевич. Он, оказалось, тоже долго не решался к нам подъехать, боялся попасть в плен. Так вышло, что и сам барон Корф был в этом отряде. Так мы с ним и проследовали до самого города Поречья, где тогда находилась главная квартира нашей Первой армии. Нам, однако, велено было остановиться версты за три, не доходя до города, и Павел Алексеевич расположил принятый им отряд на самой дороге, близ корчмы. Ночью мы слышали страшный крик в Поречье, до нас долетело громкое «ура!». Павел Алексеевич велел мне скакать в главную квартиру и узнать, что там делается. Я пустил своего коня в карьер, и вдруг узнаю, что некоторые из солдатиков добрались до покинутых откупщиками подвалов, выкатили оттуда бочки с вином и подняли весь этот шум на радостях.

— Вот какая оказия! — засмеялся старый прапорщик.

— Тут вскоре обе армии соединились под Смоленском! — прервал рассказчика благодушный майор.

— И Павел Алексеевич принял начальство над нашим отрядом, — добавил прапорщик.

— Главное то, что армии соединились! — отметил майор.

— Того и жди, что опять велют нам отступать, — покачал головой капитан.

— Полно вам вороной каркать! — остановил его строго майор.

— Пора, однако, нам и на покой! — засобирался адъютант. — Неизвестно, каков-то будет завтрашний день. Может быть, придется и нам биться весь день с неприятелем.

Вскоре все улеглось и заснуло, кроме часовых, мерно двигавшихся по периметру лагеря.

Все затихло и мирно спало, как вдруг раздался перестук конских копыт. И проезжавший мимо ординарец крикнул:

— Господа, отступаем!

— Куда? Как? — взволновались офицеры,

вскакивая и озираясь.

— Пошутил? Быть не может! — заметил спокойно майор.

Но не успел он договорить, как раздался ружейный огонь, и мирный их лагерь огласился страшными криками. Несколько солдат лежали мертвые и тяжелораненые.

Оказалось, что русские войска, точно выступили ночью из Смоленска, и неприятель, пробравшись через опустевший город, пошел на Петербургское предместье, лежавшее на правом берегу реки и соединенное с городом деревянным мостом. Передовые стрелки, высланные вперед неприятелем, застали врасплох бригаду Павла Алексеевича Тучкова и разбудили ее залпом из ружей.

Через минуту весь отряд уже был на ногах. Тучков пересел на другую лошадь, так как его была ранена пулей, и переправился со своим отрядом на левый берег Днепра, меж тем как присланный главнокомандующим барон Корф отогнал французов обратно за Днепр и занял Петербургское предместье.

Весь день шестого августа вся армия стояла в боевом порядке, но главнокомандую-

ций Барклай-де-Толли нашел невыгодным дать генеральное сражение. Офицеры, особенно молодежь, волновались более, чем когда-либо; тут и там слышались насмешки.

В шесть часов вечера Павел Алексеевич Тучков получил приказание явиться в главную квартиру, где было ему объявлено, что армия должна отступать по дороге к Москве, а ему, Тучкову, предписано идти в авангарде первой колонны, которая двинется под начальством его старшего брата, корпусного командира Николая Алексеевича Тучкова. Павел Алексеевич должен был идти за братом на расстоянии четырех верст.

В восемь часов вечера Павел Алексеевич Тучков выступил со своим отрядом. Всю ночь шли они лесом. Приходилось зачастую перебираться через заболоченные ручьи, а мосты на них были так плохи, что не имелось никакой возможности переправлять по ним орудия, и приходилось не только поправлять мосты, но просто разбирать их и перестраивать. Только к восьми часам утра вышли они на большую Московскую дорогу. Пройдя почти безостановочно ровно двенадцать часов, все

сильно устали и с радостью думали о скором отдыхе в селении Бредихино, где велено было им остановиться. Утро выдалось чудное, и после бессонной ночи, проведенной в болотистой лесной чаще, особенно приятно было почувствовать на себе теплые лучи ярко светившего солнца. Все шли бодро, как вдруг проводник-белорус свернул влево с большого тракта.

— Стой! — закричал ему Тучков. — Куда ты это?

— Да в Бредихино, милостивый господин!

— Разве Бредихино влево за дорогой в Смоленск?

— А то как же, милостивый господин! Дорогу к Смоленску мы уже миновали: она вправо, а Бредихино будет тут!.. — и он указал по левую сторону.

— Странное дело! — сказал Павел Алексеевич Тучков своему брату Александру, командовавшему Ревельским полком, шедшим вместе с его передовым отрядом. — Если мы отойдем в Бредихино, французы займут большую дорогу, и наша армия окажется отрезанной от Москвы; тогда как заняв выход со Смоленской

дороги на Московскую, мы не допустим французов сделать это.

— Надо идти в Смоленскую дорогу! — сказал решительно Александр Алексеевич.

— Но на меня ляжет страшная ответственность! — возразил ему озабоченно Павел Алексеевич. — Я получил весьма точное приказание идти в Бредихино.

— Но это явная ошибка. И происходит она от незнания местности! — говорил горячо Александр Алексеевич. — Не могло начальство оставить столь важный пункт без внимания — не занятым...

После некоторого раздумья Павел Алексеевич обратился к окружавшим его офицерам:

— А ведь дело-то неладное, господа! — сказал хмуро он. — Если мы сейчас уйдем в Бредихино, то оставим выход от Смоленска на большой Московский тракт совсем свободным. Французы не дураки. Займут этот пункт и запрут дорогу на Москву.

— Верно, верно! — послышалось со всех сторон из офицерского кружка.

— По-моему, господа, — продолжал Тучков, — нам следует идти не в Бредихино, а

несколько вернуться назад, к Смоленску, чтобы не допустить французов пресечь дорогу нашим армиям.

Из группы офицеров ослышались возгласы одобрения.

— Господин Новиков! — позвал Тучков своего адъютанта. — Скачите по дороге к Бредихину и верните генерала Всеволожского, ушедшего туда с нашим авангардом.

Отряд Тучкова быстро повернул фронт и вскоре уже был на Смоленской дороге. Пройдя версты три, они дошли до горы Валутиной. Тут Тучков осмотрел местность и велел остановиться, найдя, что всего удобнее будет им стрелять в неприятеля с этой горы и не позволить французам перебраться через речку Строгань.

Местность здесь была болотистая. Густой кустарник покрывал берега топкой речки Строгани с мутными водами. Влево шла болотистая лощина и доходила почти до самого Днепра.

— Следовало бы занять вот и этот пригорок! — говорил полковник, указывая на возвышенность, поднимавшуюся за рекой.

— Что ж, попробуем! — согласился Тучков и послал эскадрон гусар с двумя орудиями занять указанный пригорок, а егерям велел засесть в кустах по обеим сторонам дороги и по берегам речки.



Глава X



Ока русские войска пробирались ночью окольным путем на Московскую дорогу, Наполеон решил оставаться в Смоленске, чтобы дать спокойный ночлег своим весьма измотанным войскам. Лазутчики его донесли, что русские войска двинулись в обход, и он был уверен, что Мюрат со своей конницей успеет перерезать им дорогу к Москве, если двинется в путь на другой день утром. Император велел Мюрату выступить на рассвете, а за ним двинуться маршалу Нею с пехотой. Поужинав плотно и выспавшись, весело поднялись французские кавалеристы; шутя и пересмеиваясь, седлали они коней, готовились к отъезду.

Один Ксавье Арман был что-то задумчив и ни с кем не разговаривал. У него из головы не выходило быстрое повышение Этьена.

«А каково! — думал он. — Вот счастливец!

Произведен самим Мюратом! И не в корнеты, а сразу в подпоручики!.. И за что? За то, что лошадь шарахнула его о дерево. Не я буду, если не проделаю такую же штуку... Только надо сделать это как-то поумнее, дабы не расшибиться так, как он расшибся — голова-то и левое плечо до сих пор у Этьена болят... Этак попади виском, останешься на век на месте! Нет, я сам направлю свою лошадь. Почет-то какой мне будет: вдруг являюсь в Нанси в эполетах!.. Говору, говору сколько пойдет! А Роза станет вдруг офицершей. А хорошо ведь! То-то обрадуется она — моя красотка!»

— Торопитесь! Торопитесь, друзья! — крикнул Этьен. — Пора выступать!

«А каково! Ведь он теперь начальство! — продолжал раздумывать Ксавье, косясь в сторону Этьена. — И распечат — ты должен смолчать. Нет, долго я подчиняться ему не буду, сумею сам выслужиться в офицеры. Не глупее я какого-то Ранже!»

Вскоре авангард двинулся по Смоленской дороге, а за ним следовал, по обыкновению, сам Мюрат со своим штабом. По дороге столкнулись с разными мелкими затруднениями:

плохие мосты, плохие гати... Офицеры спешили и указывали, как исправлять дороги кольями и бревнами. Для этих нужд беспощадно разбирались избенки и дворы крестьян.

Ксавье вызвался вернуться с другими солдатами в ближайшую деревушку за материалами для моста. Он, разумеется, больше кричал, бранил крестьян и пугал их саблями, чем работал над разрушением строения. Когда его товарищи двинулись назад, он отстал в небольшом лесу и затем, словно догоняя вскачь своих, направил лошадь прямо на дерево и свалился, будто бы сильно ударившись о ветвь. Лошадь в недоумении остановилась около него, широко раскрыв ноздри и громко фыркая. Все это Ксавье проделал, завидя пыль, поднятую скачущим штабом Мюрата. И точно: король Неаполитанский вскоре был подле него.

— Этот дурак чего тут валяется? — крикнул Мюрат, осаживая свою лошадь, едва не наступившую на ногу Ксавье.

Офицеры пожали плечами.

— Вот я тебя, лентяй!.. — добавил Мюрат,

хлестнув хлыстом Ксавье чуть не по лицу, и проскакал мимо.

— Вот не везет! — проворчал Ксавье, поднимаясь, лишь только пронеслись мимо него штабные офицеры. — Это все ты, дьявол! — обратился он к коню и, сев на него, хлестнул и дал шпоры изо всех сил несчастному животному.

Раздраженный конь понесся с места во всю мочь и чуть не наскочил на коня одного из штабных офицеров. Тот оглянулся и погрозил Ксавье хлыстом:

— Опять хочешь этого отведать, дурак?

Ксавье свернул на лесную тропу и старался перегнать штаб, чтобы соединиться со своим отрядом. Но тропа вела незаметно все вправо и вправо, и Ксавье вскоре очутился у Днепра.

— Экая чертовщина! — воскликнул он с досадой и, напоив коня и сам напившись, поехал назад.

Вырвавшись на дорогу, он, чтобы догнать своих, поскакал, как шальной.

В это время отряд, в котором он находился, подходил уже к тому месту, где засели рус-

ские передовые стрелки.

Французы ехали, не ожидая встретить неприятеля, и вдруг... были осыпаны пулями егерей.

Пришлось тут коннице отступить и выставить стрелков. В это время подъехал Мюрат, велел занять один из пригорков артиллерией и стрелять по русским орудиям и гусарскому эскадрону. А коннице приказал готовиться к атаке.

Но Павел Алексеевич Тучков понял замысел Мюрата и не допустил неприятеля овладеть орудиями. Он велел увезти пушки, а гусарам и егерям — примкнуть к остальным войскам, выстроенным на Валутиной горе, причем велел им сжечь мост на Строгани, лишь только они переберутся через него, а сам послал ординарца предупредить своего брата Николая Алексеевича, в какой опасности находится его отряд. Между тем французы подскакали к горе, уже оставленной нами, втащили на нее орудия и открыли огонь по русским позициям.

Однако Валутиня гора была несравненно выше той, на которой поместились францу-

зы, и русские ядра наносили сильный урон им, тогда как их ядра постоянно не долетали до цели.

— Взять во что бы то ни стало русскую батарею! — кричал Мюрат своим генералам. — Мы так медлим, что русские войска уже вышли на Московскую дорогу. Надо непременно захватить хотя бы их артиллерию и весь обоз.

Генералы рассеялись по своим отрядам и старались всеми силами исполнить приказ Мюрата, чтобы не навлечь на себя гнев его и Наполеона. Корпусной командир Нансути велел своим кавалеристам идти в атаку и взять Валутину гору.

В это время вернулся к своему отряду Ксавье Арман. Лошадь его вся в пене и тяжело дышит, он сам красен, как вареный рак, и чувствует сильную усталость.

— Стройся! — кричал их непосредственный командир. — Сомкнитесь! И в путь — рысью!..

— В карьер! — командует он, проехав несколько сажень вперед.

Кони помчались вихрем, но уставшая лошадь Ксавье зашаталась и пала. Ксавье бы

раздавили, если бы не перескочила через него следующая лошадь. Падение его произвело небольшое замешательство, не скрывшееся от глаз Мюрата.

— Что там такое? — спросил он с досадой у своего адъютанта.

Тот поскакал узнать, в чем дело, и, вернувшись, объявил, что свалился один кавалерист.

— Дурак! — процедил сквозь зубы Мюрат с досадой. — Чего же они остановились? — упрямил он, указывая на замерший отряд.

— Мост сожжен неприятелем, и не могут найти брод, — объяснил почтительно адъютант.

— Ослы! — крикнул Мюрат, ударил хлыстом своего любимого арабского коня, и тот стрелой помчал его к Строгани.

Следом поскакал весь его штаб, хотя многим вовсе не хотелось приближаться к тому месту, где угрожающе свистели русские ядра. Прежде, однако, чем Мюрат успел доскакать до пустившейся в атаку кавалерии, та уже мчалась назад. Подскакавший к королю Неаполитанскому Нансути объявил, что нет ни-

какой возможности перейти реку вброд под картечью неприятеля.

— Ведите их лощиной в обход! — крикнул ему Мюрат, а маршалу Нею приказал двинуть свои пехотные полки в атаку.

Но в это время к русским подоспело сильное подкрепление, затем явился и сам Барклай-де-Толли и велел Орлову-Денисову с казаками занять всю лощину до самого Днепра.

— Эй, братцы! — крикнул Орлов-Денисов. — Не дадим французу обойти наших!

И он так стремительно бросился с казаками: в лощину, что занял ее, хотя пришлось жестоко биться с кавалерией Мюрата.

В это же время Коновницын успел отразить сильную атаку Нея с его пехотинцами.

Мюрат был вне себя от такой неудачи. Он пошел на хитрость: прекратил разом наступление, словно оставил всякое желание отбить Валутину гору у русских; но лишь только солнце стало клониться к западу, он велел непрерывно стрелять из всех батарей, расставленных на возвышенностях, и направил колонны пехотинцев прямо на русские позиции.

Павел Алексеевич Тучков пребывал в сильном волнении; он видел, что многие косятся на него за его решимость действовать вопреки данному ему приказанию идти в Бредихино, и боялся, чтобы его недоброжелатели не испортили так удачно ведомое им дело. В этой постоянной тревоге он лично осматривал все пункты, занятые его отрядом. Только спокоен он был за Валутину гору, которую отстаивал, не щадя себя, брат его Александр Алексеевич. Кроме преданности своему отечеству, младшего Тучкова воодушевляла любовь к жене. Он знал: если неприятель прорвется на Московскую дорогу, он захватит русский обоз, а в нем — его сокровище, горячо его любящая жена Маргарита Михайловна, оставившая их малолетнего сына, чтобы делить вместе с ним все тяготы военного похода. И он, покрытый пылью и пороховой гарью, не знал усталости, являлся всюду, где только его воины изнемогали, и своим примером воодушевлял всех.

Павел Алексеевич, хорошо зная мужество и непоколебимость своего брата, был совершенно спокоен за Валутину гору... как вдруг

он услышал, что орудия замолкли на этой горе. Он бросился туда и узнал, что весь запас зарядов истощился и артиллеристы собрались уже увозить пушки.

— Открой зарядный ящик! — приказал он солдату.

В ящике оказались еще несколько зарядов.

— Стреляй, пока не явится перемена! — велел он офицеру.

Сам же поскакал к главнокомандующему просить разрешения повести в атаку пехоту, чтобы не дать французам возможности взять Валутину гору прежде, чем успеют ввезти на нее новые орудия. Получив от Барклая-де-Толли согласие, он обратился к одному из полковых командиров:

— Вам велено вести ваш полк в атаку!..

— Мой полк сильно устал. Шли безостановочно... Я не смею вести своих гренадеров, не дав прежде им отдохнуть.

Тучков вспылил. Он велел полку следовать за собой и повел его лично на неприятеля. Но не успел Павел Алексеевич двинуться вперед, как лошадь его была ранена пулей в шею. Не теряя ни минуты, он соскочил с нее и пошел

пешком впереди гренадеров...

Как ни отважен был Тучков, как ни был он уверен, что надо поспешить с атакой, иначе Валутина гора может быть взята неприятелем, но вести в бой полк помимо желания его командира надо было очень осмотрительно и осторожно. Тучков не был даже уверен, весь ли полк двинулся разом за ним, и, не желая кинуться на неприятеля с горстью людей, не повел передовую колонну бегом, желая дать время остальным колоннам примкнуть скорее к ней.

Вот уж остается ему несколько шагов до неприятеля, гренадеры закричали «ура» и кинулись в штыки. Но французы дали такой сильный отпор русским, что те попятились. Тучков, получив сильный удар штыком в правый бок, упал на землю замертво. Будь возле него его приближенные и солдаты его отряда, его бы не оставили на месте при отступлении. Но чужие не позаботились о нем, и он остался лежать смертельно раненый под выстрелами неприятелей.



Глава XI



Коро Этьен свыкся со своим положением офицера. Правда и то, что он по своему развитию и образованию стоял и прежде несравненно выше своих товарищей, и те давно привыкли относиться к нему с некоторым оттенком уважения. Он продолжал быть с ними по-прежнему вне строя, но на службе все подчинялись беспрекословно его распоряжениям и были уверены в его умении вести дело. Он шел всегда впереди всех на неприятеля, и во время рекогносцировок никто из молодых офицеров толковее его не понимал местность и не умел извлечь всевозможных выгод для своего отряда. Все это заставляло солдат охотно ему повиноваться, следовать за ним и оберегать его во время схваток.

В деле под Валутиной горой, или в Лубинском сражении, как еще называли это дело, он участвовал во всех кавалерийских атаках,

и когда русские гренадеры бросились на французов под предводительством Павла Алексеевича Тучкова и пехота Нея дала им сильный отпор, Этьен с конницей двигался следом за пехотой. Он был возбужден до крайности, стремясь во что бы то ни стало переправиться как можно скорее через речку Строгань; а тут, как нарочно, несколько пехотинцев загородили ему путь, окружив раненого русского.

Этьен, приостановив коня, крикнул пехотинцам:

— Не отставайте от товарищей! Я сам покончу с русским!

И, не желая оставлять позади себя неприятеля живым, он ударил саблей по голове беспомощно лежавшего Павла Алексеевича Тучкова. Кровь хлынула, залила разом раненому рот и горло, и тот не мог проговорить ни слова. Однако удар этот не был смертелен, так как голова Тучкова прилегала к земле, и клинок Этьена, ударившись концом в землю, не мог повредить ему черепа и разрубил только верхние головные покровы, вследствие чего рана оказалась весьма незначительной.

Этьен занес уже снова саблю над головой Тучкова, как вдруг вышла из-за облака луна и осветила генеральский мундир и звезду Павла Алексеевича.

Этьен опустил саблю и крикнул своим:

— Это русский генерал. Ведите его прямо к королю.

Солдаты бросились к Тучкову, подняли его и повели к Мюрату. А Этьен двинулся со своими к Валутиной горе.

По приказанию короля Неаполитанского доктор тотчас же перевязал раны Тучкова и уложил его в лазаретную коляску.

По окончании сражения Тучкова привели к Мюрату, и тот принялся расспрашивать, насколько силен был русский отряд, остановивший его движение к Московской дороге.

— Не более пятнадцати тысяч! — отвечал Тучков.

— Рассказывайте сказки! — засмеялся Мюрат. — Я точно знаю, что вас было гораздо больше... И вы дрались отчаянно — надо отдать вам эту справедливость.

Откланиваясь королю, Тучков сказал:

— Я имею покорнейшую просьбу к вашему

величеству.

— Какую?

— Не забыть при наградах того молодого офицера, который взял меня в плен.

— Кто это? — обратился Мюрат к свите.

— Этьен Ранже, — ответил один из адъютантов, успевший уже расспросить солдат, приведших Тучкова, как происходило дело.

— Я все для него сделаю, что только возможно, — обещал Мюрат, улыбаясь, довольный, что придется наградить своего любимца.

И тут же он приказал своему адъютанту отвезти Тучкова в Смоленск, где располагалась главная квартира Наполеона.

Пока происходило сражение у Валутиной горы, Наполеон находился в Смоленске. Ничего не зная о случившемся, он, встав утром, спокойно поехал к собору, окруженный свитой, и нашел храм наполненным увечными, больными, женщинами, детьми и стариками. Все слабое и беспомощное искало у Престола Божия спасения от пожара и грабежа. На вопли и отчаянные мольбы этих несчастных Наполеон не отвечал ни слова. Он так же

молча вышел из собора и направился по главной улице. У него на глазах разноплеменные солдаты его войск грабили и убивали несчастных жителей.

Смоленск был окончательно разрушен французами.

Когда Тучкова привезли к мосту, разобранному русскими при отступлении, экипаж едва можно было переправить по бревнам, наскоро и кое-как настланным французскими инженерами для переправы наполеоновских войск.

Тучков, сопровождаемый адъютантом Мюрата и конвойными, прибыл в Смоленск в глубокую полночь. Его ввели в комнату довольно большого каменного дома и положили отдохнуть на диване.

Через несколько минут вошел к нему французский генерал и, присев подле него, спросил:

— Не желаете ли чего-нибудь?

— У меня сильная жажда, — ответил Тучков.

Генерал вышел в соседнюю комнату и вернулся оттуда с графином воды и бутылкой

красного вина. Напоив раненого, он снова присел к нему на диван и стал уговаривать его не тревожиться тем, что он попал в плен, так как его рана свидетельствует о его храбрости. Затем француз пожелал ему спокойной ночи и вышел.

Только впоследствии Тучков узнал, что он находился в доме начальника штаба, маршала Бертье, герцога Невшательского, и сам герцог подавал ему питье.

Сон Тучкова не был спокоен. Помимо лихорадочного состояния вследствие раны и сильной потери крови, его томила мысль, что делается в наших войсках: отстояли ли занимаемые высоты? успели ли наши полки выйти на Московскую дорогу со всем обозом и артиллерией?..

А наши войска, между тем, успешно отразили сильную атаку французов на Валутину гору, и хотя те и переправились через речку Строгань, но не успели овладеть батареями, громившими их с вершины горы. В это время русские полки вышли на Московскую дорогу с артиллерией и обозом и собрались у Лубина, готовясь вступить в генеральное сраже-

ние. Но Барклай-де-Толли нашел, однако, местность неудобной и велел отступить через Вязьму к Цареву-Займищу, где намеревался дать-таки генеральное сражение и велел уже строить укрепления, как получил приказ от государя сдать начальство новому главнокомандующему Михаилу Илларионовичу Голенищеву-Кутузову.

Обо всем этом, разумеется, ничего не мог знать Павел Алексеевич Тучков. Как ни любезны были с ним окружавшие его офицеры главного французского штаба, но они не проговаривались о том, что происходило в армиях. Во всем остальном его окружали всевозможной предупредительностью: окровавленное платье его было тщательно вычищено, белье заменено батистовыми рубашками герцога Невшательского и доставлены во всем разные удобства.

На третий день его плена пришел к нему комендант главной квартиры Наполеона — Дензель — пришел спросить, куда он желает быть отослан, так как Смоленск вполне разорен и оставаться в нем невозможно.

Тучков отвечал, что для него не имеет зна-

чения, где бы ему ни приказано было жить, так как он сам от себя не зависит, и просит только одного: не отсылать его в Польшу, а поместить в одном из городов Пруссии, поближе к России... например в Кёнигсберге.

Вскоре после ухода Дензеля вошел к Тучкову чиновник герцога Невшательского.

— Ваше желание будет исполнено, — сказал он ему. — Вас отвезут в Кёнигсберг. И герцог прислал меня предложить вам заимообразно сумму, необходимую для вашей жизни вдали от ваших родных и знакомых.

— Поблагодарите от меня герцога, — ответил Тучков, — за его внимание к пленному и попросите его ссудить мне сто червонцев, которые тотчас возвращу по получении денег из дому.

По уходе чиновника Тучков сидел в грустном раздумье. Стало уже смеркаться, как дверь его комнаты приотворилась, мелькнул мундир французского офицера, и кто-то спросил о состоянии его здоровья.

Так как подобные вопросы повторялись весьма часто, Тучков отвечал обычной учтивой благодарностью. Но вдруг услышал рус-

скую речь:

— Вы меня не узнаете? Я — Орлов.

И из-за французского офицера вышел хорошо ему знакомый адъютант генерала Уварова. У Тучкова сильно забилося сердце при звуках родного языка, и он бросился на шею вошедшего с такой радостью, будто он был самый близкий его родной.

— Меня прислал главнокомандующий затем, чтобы узнать, живы ли вы и где находитесь, — говорил Орлов. — Братья ваши страшно о вас беспокоятся, да и мы все встревожены, не можем понять, как это вас оставили!..

— Дело было вот как!.. — начал Тучков. — Нужно было непременно задержать французов. Мой отряд, как вы знаете, был в деле, я взял полк...

— Вам дольше оставаться тут нельзя! — объявил польский офицер, приотворив дверь в комнату Тучкова.

— Какая досада!.. — прошептал Тучков.

— Еще увидимся, — шепнул ему Орлов в утешение. — Я обязательно найду к вам перед своим отъездом.

Ему, однако, не дозволили этого свидания.

Видно, опасались, как бы Тучков не сообщил многое такое, что было в интересах Наполеона скрыть от русских. Прошли еще два томительных для пленного дня, пока, наконец, не потребовали его к Наполеону, и он отправился к нему в сопровождении адъютанта Флага.

Император французов занимал дом бывшего смоленского военного губернатора. Перед домом толпилось множество солдат и офицеров, а при съезде с обеих сторон стояли кавалерийские часовые верхами. Лестница и передняя комната были наполнены генералами и разными военными чинами. Флаго провел Тучкова мимо их всех, и они вошли в комнату, где уже никого не было. У дверей следующей за ней комнаты стоял лакей в придворной ливрее и, тотчас же отворив дверь, пропустил одного Тучкова в комнату, где находился Наполеон. У окна стоял маршал Бертье, а посреди комнаты — сам император. Он ответил весьма милостиво на поклон вошедшего Тучкова и спросил его:

— Какого вы корпуса?

— Второго, — отвечал Тучков.

— А! Это корпус генерала Багговута?

— Точно так.

— Родня ли вам Тучков, который команду-ет первым корпусом?

— Мой родной брат.

— Я не стану расспрашивать вас о численности вашей армии, — продолжал Наполеон. — Я знаю, что она состоит из восьми корпусов, каждый корпус из двух дивизий, каждая дивизия из шести пехотных полков, каждый полк из двух батальонов. Если хотите, могу сказать вам число людей каждой роты.

— Вижу, ваше величество хорошо обо всем уведомлены, — сказал Тучков не без иронии.

— Не мудрено! — остановил его Наполеон. — Мы берем многих в плен. И нет почти ни одного из ваших полков, из которого не было бы у нас пленных. От них мы узнаем все о составе ваших войск. Записав их показания, составляем заметки...

Помолчав некоторое время, Наполеон снова заговорил:

— Это вы, господа, хотели войны, а не я. Знаю, что у вас говорят, будто я — зачинщик. Но это неправда! Я вам докажу, что я не хотел вести войны, но вы меня к ней принудили.

Тут он начал рассказывать про все свое поведение по отношению к России от самого Тильзитского мира, причем приводил даже небывалые факты. Тучков молча выслушивал этот длинный монолог. Даже герцог Невшательский, к которому он обращался, не говорил ни слова. Затем император спросил Тучкова:

— Как вы полагаете, скоро ли ваши войска дадут генеральное сражение или будут бесконечно ретироваться?

— Мне неизвестны намерения главнокомандующего, — ответил тот.

Наполеон принялся порицать действия Баркляя-де-Толли и сказал, что, продолжая отступление, он погубит Россию.

— Зачем он оставил Смоленск? Зачем разорил такой прекрасный город?.. Смоленск для меня лучше всей Польши: он был всегда русским городом и останется навсегда русским. Императора вашего я люблю, — продолжал Наполеон. — Он мне друг, несмотря на войну. Но зачем он окружает себя немцами? Ему надо выбирать людей достойных из русских.

Тут Тучков, поклонившись, сказал:

— Ваше величество, я подданный моего государя и судить о поступках его, а тем более осуждать их, никогда не осмелюсь. Я солдат и, кроме слепого повиновения власти, ничего другого не знаю.

Ответ этот понравился Наполеону, и он, слегка коснувшись плеча Тучкова, сказал:

— Вы совершенно правы! Я весьма далек от того, чтобы порицать ваш образ мыслей. Я высказал свое личное мнение потому только, что находился с вами с глазу на глаз. Император ваш знает ли вас лично?

— Смею надеяться, так как я служил в его гвардии.

— Можете ли вы писать к нему?

— Никогда не осмелюсь утруждать его величество моими письмами.

— Но если вы не смеете писать императору, вы можете написать вашему брату?

— Брату могу написать все, что угодно.

— Напишите ему, что он мне сделает величайшее удовольствие, если доведет до сведения императора Александра, что я ничего более не желаю, как прекратить миром наши военные действия. Мы уже довольно сожгли

пороху и довольно пролили крови. Когда-нибудь надо же и кончить! За что мы деремся? Я против России ничего не имею. О, если бы это были подлые англичане — было бы совсем иное!..

При этих словах он сжал кулак и грозно поднял его кверху. А затем стал доказывать, что все шансы за него: он возьмет Москву, истинную столицу России, так как Петербург не что иное, как только резиденция императоров...

Тучков слушал все это молча, стоя на одном месте, а Наполеон ходил взад и вперед по комнате и вдруг, остановясь перед Тучковым и глядя ему прямо в глаза, спросил:

— Вы лифляндец?

— Нет, я настоящий россиянин, — ответил тот.

— Из какой же вы провинции России?

— Из окрестностей Москвы.

— А! Вы из Москвы!.. Из Москвы!.. Это вы, господа москвичи, желаете вести со мной войну?

— Не думаю, ваше величество, чтобы москвичи желали вести с вами войну, особенно на

русской земле. Если они жертвуют большие суммы на военные издержки, то это ради защиты своего отечества, угождая тем и воле своего государя.

— Меня уверяли, что москвичи против мира. Но если император склонится в пользу мира, как вы думаете: посмеют ему воспрепятствовать?

— Кто же посмеет не подчиниться воле императора?

— А сенат?

— Сенат не имеет у нас такой власти.

Затем Наполеон долго расспрашивал Тучкова о военных действиях и, отпуская его, сказал:

— Не огорчайтесь вашим положением. Плен ваш вам не делает бесчестья. Таким образом берут в плен только храбрецов, идущих впереди войска.

Не успел Тучков отдохнуть в своей комнате от этой продолжительной аудиенции, как вошел к нему чиновник герцога Невшательского.

— Герцог прислал меня, — сказал он, — предложить вам взять у него еще денег, так

как вас посылают не в Кёнигсберг, а во Францию.

Перемена эта сильно поразила Тучкова. Он понял, что стойкие его ответы не понравились Наполеону, и тот не желает сделать ему никакой льготы. Павлу Алексеевичу оставалось только написать письмо брату и готовиться к отъезду. Что он и сделал.



Глава XII



На Николаевна Роева примирилась уже отчасти с мыслью, что ее единственный сын поступил в ополчение, и не могла налюбоваться, глядя на его стройную фигуру, весьма выигравшую в военной одежде, хотя одежда эта была чрезвычайно проста: кафтан серого сукна, такого же цвета панталоны и шапка; на шапке медный крест с вензелем государя, а под ним надпись: «За веру и Царя!».

Прасковья Никитична немало пролила слез за шитьем красных шелковых рубашек мужу, но и она приободрилась, слыша кругом, что московскому ополчению не грозит никакая опасность. Сам Николай Григорьевич был до того весел, что каждый вечер у них собиралась молодежь, пелись русские песни, а иногда начинали танцевать под музыку гитары, на которой многие из гостей наигрывали мастерски.

Собралось как-то раз вечером у Роевых гостей более обыкновенного. Тут был и Краев с матерью и Анютой, и Дарья Андреевна Лебедева, и Анфиса Федоровна Замшина. Анна Николаевна велела подать закуску и домашние сладости. Молодежь весело пела хором «Ах, вы сени мои, сени», как вдруг у ворот раздался стук колес тяжелого дорожного тарантаса.

— Кого это Бог нам посылает? — удивилась Анна Николаевна. — Узнай-ка, Пашенька!

Прасковья Никитична выбежала на лестницу, а за ней и остальная молодежь столпилась у входных дверей, и вскоре радостные восклицания долетели до оставшихся в гостиной.

— Пашенька! Олечка! Глафира Петровна!

— Никак это сестра Глаша приехала! — молвила радостно Анна Николаевна, с поспешностью поднимаясь из кресла.

Так и было. Гости вошли.

— Наконец-то! — воскликнула хозяйка дома, бросаясь обнимать приехавшую двоюродную сестру свою Глафиру Петровну Нелину.

— Это все Оля! — оправдывалась сестра, указывая на свою дочь Ольгу Владимировну

Бельскую. — Наполеон у стен Смоленска, а ее не уговоришь ехать!..

— Как? Французы уже под Смоленском? — спросили разом все присутствующие. — Как же это наши допустили?

— Неверовский со своей дивизией храбро дрался под Красным! — отвечал Павлуша, обращаясь к мужчинам. — Красный от Смоленска в сорока шести верстах, и, отступая, наши егеря сорок девятого полка отбивались, как львы. Но разве можно устоять одной дивизии против двух корпусов?

— Откуда ты узнал все это? — спросил удивленно молодой Роев, отводя Павлушу в сторону.

— Мне сказал смоленский комендант, к которому моя матушка послала меня за сведениями. Митя наш был в это время в деле, но, слава Богу, не ранен. Мы сами его видели: он был прислан с депешей в Смоленск.

— Молодец Неверовский! Молодцы наши егеря! — слышалось в толпе молодежи.

Но барыни, услышав вскользь о битве, разохались не на шутку об участи несчастных егерей и навели снова тревогу на бедную Оль-

гу Бельскую.

— Неверовскому послан в подкрепление корпус Раевского, — поспешил добавить Павлуша, видя тревогу на лице своей сестры.

— Слышал я, — шепнул он на ухо молодому Роеву, — что Смоленск уже оставлен нашими.

— Не может быть!

— Сказал мне это офицер, присланный из Смоленска с депешами.

— Что такое? — спрашивали наперебой мужчины, обступив Павлушу.

— Отойдите, господа, к окну! — сказал Павлуша, указывая глазами на дам.

Затем он рассказал тихо о занятии французами Смоленска.

— Как же это отдали такой город! Стены-то какие! — охал старик Роев. — Сколько раз от поляков в нем отбивались! А тут вдруг отдали!..

— Странно, странно! — ворчал доктор Краев.

— Армия весьма недовольна! — продолжал полушепотом Павлуша. — Ропщут все на распоряжения Баркляя-де-Толли.

— Еще бы не роптать! Этакий город не отстояли! — волновался старик Роев.

— Так, пожалуй, и Москву отдадут! — все ворчал Краев. — А знаете что, Григорий Григорьевич! — обратился доктор к Роеву. — Не отправить ли нам своих в Дмитров? Кто знает, что далее будет! Пока мы с вашим сыном станем работать на поле сражения, поживите вы спокойно в Дмитрове. Благо, у меня там свой домишко есть!

— Что ж! Пожалуй, вы и правы! — кивнул Роев. — Вот только как мне уговорить мою Анну Николаевну?

— Ну, как ты добралась? — спрашивала в это время старуха Роева свою приехавшую кукзину.

— Чего только ни натерпелись, милая! Страх!.. Вся дорога запружена повозками. Все бежит в полном смятении. Стон стоном стоит: тот ищет оставшегося ребенка, этот идти не может от усталости; старики едва плетутся, женщины тащат грудных ребят... Нигде ничего и за деньги-то не достанешь. Наголодались мы вдоволь, пока добрались до Вязьмы.

— Знаешь ли, Анна Николаевна! — прервал их разговор старик Роев. — Я решил отправиться в Дмитров. Дом у наших не маленький. Глафира Петровна поместится с тобой, Олечка с Пашенькой, а мы с Павлушей — в кабинете Николушки. Туда же, в Дмитров, и Марья Прохоровна с Анной Никаноровной в свой дом едут.

— А Миколушка как? — воскликнула Анна Николаевна тревожно. — Как оставим мы его тут одного одинешенького? Да и собратъся не шутка! Весь дом ведь уложить надо... А ты так-то вдруг — «едем!».

— И я еще об отъезде ничего не слыхала, — сказала кротко старушка Краева. — Но уж если Никанор Алексеевич порешил скорее нам ехать, так мы мигом с Анютой соберемся.

— Удивляюсь я вам, Марья Прохоровна! — вспыхнула старуха Роева. — Как так готовы вы все добро побросать и ехать? Я так ни за что ранее двух недель из Москвы не выеду...

— Все мы под Богом ходим, — заметил серьезно Роев. — А в настоящее время менее, чем когда-либо, можно говорить: сделаю так или эдак...

Точно для подтверждения его слов, вошел, или скорее вбежал, в комнату франтоватый ополченец и, вертясь в ту и другую стороны, затараторил:

— Новость, господа, новость! Французы взяли Смоленск, двигаются на Москву. Мы, ополченцы, присоединяемся к армии. Барклай-де-Толли смещен. Главнокомандующим назначен Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов.

Раздался плач женщин. Франт не подумал, что у каждой из присутствующих был кто-нибудь близкий в армии или в ополчении.

— Полно смущать дам! — остановил франтика доктор Краев. — Мало ли пустых слухов ходит по городу!

— Это вовсе не пустые слухи! — начал было снова франтик, но доктор так строго взглянул на него, что он разом прикусил язык.

Среди молодежи было много ополченцев, они сомкнулись в тесный кружок и с восторгом толковали о перемене главнокомандующего и о предстоящем им походе.

— Постоим за матушку святую Русь! — слышалось со всех сторон.

— Завтра я пойду узнать у графа Ираклия Ивановича, точно ли ополчение выступает, — сказал старик Роев.

— Нечего и справляться — это вернее верного! — подтвердил серьезно вновь вошедший ополченец. — Я прямо от графа Ираклия Ивановича Маркова... Через три дня мы выступаем.

Дамы и девицы ничего этого не слыхали. Они все громко охали и друг перед другом старались расспросить франтоватого ополченца, чувствовавшего себя весьма важной персоной в их кругу. Одна только молодая Роева внимательно прислушивалась к серьезному разговору мужчин и старалась для себя выяснить, насколько сильна угрожающая им всем опасность. Но понять это оказалось весьма трудно, так как разговаривавшие сильно противоречили друг другу: одни уверяли, что от Смоленска до Москвы далеко и, если подступит неприятель к матушке Белокаменной, так все русские костями лягут, а ее, мать свою, не выдадут: значит, москвичам опасаться нечего; другие, напротив, находили, что береженого Бог бережет, и что женщи-

нам, детям и старикам лучше вовремя оставить Москву, поскольку Наполеон двигается прямешенько на нее, и наша армия остановить его не в силах.

— Проклятый истребитель рода человеческого! — проворчал Роев, забыв и про свою гуманность, и про либеральность, которыми постоянно хвастался.

— Да, — согласился грустно доктор Краев. — Тяжкая ответственность лежит на человеке, вселяющем ненависть!.. Я недавно ездил в подмосковное имение к одному больному. Крестьяне страшно ожесточены против всех французов: чуть лишь слышат нерусскую речь, готовы с кольями и топорами идти.

— А этот безумный француз Санси вот уже дня два, как уехал в поместье Тучковых, Троицкое, чтобы все там в порядок привести, словно и без него этого бы не сделали.

— Неблагоразумно! Крайне неблагоприятно!.. — протянул Краев.

— С кем же он поехал? — спросил кто-то из присутствующих.

— Один-одинешенек! Такой ведь чудак!

— Как же его поймут там в деревне? Он ведь по-русски почти не говорит.

— Старый камердинер покойного Алексея Васильевича Тучкова живет в деревне на покое. Он долго жил в Париже, так понимает немного по-французски...

— Разве покойный Тучков жил в Париже? — удивился старик Роев.

— Он часто ездил за границу, как это необходимо для всех инженеров. Ведь он был инженерный генерал-поручик и главный распорядитель при постройке Тучкова моста в Санкт-Петербурге...

— Никанор Алексеевич! — пробасил вошедший лакей, обращаясь к доктору Краеву. — Вас просит управляющий дома генеральши Тучковой.

— Что там случилось? — спросил Краев озабоченно. — Заболел кто?

— Все, слава Богу, здоровы! Только вот француза привезли всего избитого...

— Так я и знал! — покачал головой Краев, махнул рукой в досаде и пошел торопливо к дверям.

— Батюшка! — позвала отца встревожен-

ная Анюта, быстро подбегая к нему. — Пожалуйста, зайдите сюда сказать, что с господином Санси.

— Зайду, зайду... а ты уж, вострушка, слышала и встревожилась? Может быть, еще серьезного ничего и нет: знаешь, как прислуга бестолково все передает! Однако толковать некогда...

И он снова зашагал и исчез за дверь. Это неожиданное известие дало новый поворот общему разговору. Стали рассказывать, как теперь опасно говорить на улицах по-французски.

— Недавно двоих офицеров чуть не убили близ гостиного двора! — припомнил франтоватый ополченец.

— Ну уж придумал, батюшка! — усомнилась Лебедева. — Слово по мундиру не видно, что это наши русские.

— Народ боится шпионов! — заметил Роев. — Поймали по деревням нескольких французов, переодетых в крестьянское платье. Они, как слышно, планы местности снимали. Один, говорят, даже бабой переоделся!.. Ну вот и думают, что уж если они бабьим сарафа-

ном не гнушаются, то отчего бы им и в мундир русского офицера не нарядиться.

— Страшно ожесточен народ!.. — вздохнула молодая Роева.

— Невольно ожесточишься, когда поглядишь на страдания раненых, — заметил молодой доктор. — Если бы вы видели, как изуродованы раненые гусары наши, недавно привезенные в Москву.

— А сколько семейств пущено по миру! — вздохнула Нелина. — В одном Смоленске, чай, сколько разорено дворов. А по дороге-то народ воем воет, особенно бабы.

— И наши богачи охают, — заметила Замшина. — Соллогубы, чай, совсем разорены: все имения ведь графа находятся в Белоруссии. До шести тысяч крестьян у него. У Толстого, женатого на Кутузовой, тоже ничего не осталось. А ведь у них восемь человек детей...

Пока Замшина перечисляла всех тех, имения которых находились около Смоленска, Могилева и Витебска, вернулся Краев. И все обступили его с расспросами.

— Что? Жив? Сильно избит? Как было дело? — слышалось со всех сторон.

— Жив и вовсе не избит, а только сильно испуган, — ответил Краев неторопливо, со свойственной ему обстоятельностью. — А как было дело, расскажу я вам тотчас по порядку, хотя сам Санси хотел зайти сюда. Но всем не понять его, разве дамам он сам расскажет, а вам я передам все, как от него слышал... Дело было так. Приехал он в деревню вечером и спокойно лег спать. Чуть лишь занялась заря, будит его старый камердинер и шепчет ему: «Худо, мусью, мужики бить вас собираются!». Санси не поверил. «За что им бить меня, — говорит, — если зла я никому не сделал?» — «А за то, что вы француз, и бить вас собираются; говорят, вишь, „свой своему поневоле брат, как раз и выдаст нас французам“»... Санси стал было доказывать, что он сам ненавидит Наполеона: «Я стою за французского короля, — говорил он, — у которого Наполеон похитил престол! Вы растолкуйте им это». — «Что тут толковать, мусью? — перебил его камердинер. — Разве они поймут? А вот лучше уходите подобру-поздорову»... Пока шел этот разговор, толпа мужиков подступала к дому. Кричали что было мочи и палками грозили в

окна. Видит Санси, что дело плохо, выбежал на задний двор и пустился в поле. Слышит, бегут за ним вдогонку. Куда спрятаться? Он вскочил в ригу, там соломы навалено до потолка, он и зарылся в нее. Прибежали туда крестьяне и ну рыться в соломе, да, по счастью, не смогли до него добраться. Однако не уходят. Санси слышит их голоса то тут, то там. Видно, ищут его и перекликаются. А он лежит, не шелохнется, вздохнуть боится. Весь день пролежал он в ужасе, рискуя ежеминутно быть вытащенным из своего убежища и до смерти избитым. Крестьяне поминутно входили, шарили в соломе, спорили, кричали, грозили; а уйдут — голоса их раздаются то вблизи, то вдали; видно, не бросают задуманного, все его ищут. К вечеру, однако, вокруг риги стало стихать, только издали все еще слышались грозные крики; наконец, все стихло. Санси боится шевельнуться. «А что, — думается ему, — если остались некоторые меня караулить и где-нибудь притаились?» И лежит он смирнехонько, хотя в соломе страшная духота, жажда томит, во рту ни капли воды весь день не было. Вдруг он слышит, кто-

то зовет его. Побоялся Санси откликнуться, а у самого сердце так и стучит — даже расслышать голос трудно, хотя он и старается вслушаться и узнать, кто зовет его. Опять позвали. «Егор Карлович! — говорит тихо знакомый голос камердинера. — Это я! Вылезайте скорее!» — «А что если он предаст меня? — подумал несчастный, напуганный до смерти француз. — Да что делать! Так-то еще скорее тут пропадешь! Как зверя травить станут!» Вот он и выполз из-под соломы. А камердинер его торопит: «Скорее, Егор Карлович! Как бы они не вернулись! Садитесь скорее в тележку, отвезу вас, от греха, в ближайшую усадьбу». Вышел Санси из риги, видит, вечер на его счастье темный, луна еще не всходила, и тележка в одну лошадь готова. Посадил его камердинер в телегу, зипуном прикрыл и погнал лошадь в имение Соймонова, а оттуда уже в Москву доставили.

— Не распорядись толково камердинер, убили бы! — заметил Роев.

— Наверное, убили бы, а не то исколотили бы до полусмерти и всего изувечили бы...

— Сохрани Боже, попасться в руки расхо-

дившейся черни!..

— Стоит только послушать, как раненых добивают и наши, и французские солдаты! — сказала Лебедева с неподдельным ужасом.

— Иной из-за одного грабежа придушит. И в армии народ всякий бывает.

— Грабят да и цены вещам не знают! — сказала тут Нелина. — Вон посмотрите, какой прелестный медальон я для Олечки у денщика нашего за три рубля купила, а он его у казака на кисет с табаком выменял.

И она, сняв медальон с шеи дочери, подала его старухе Роевой. Та поглядела, поохала и передала соседке. Все с любопытством рассматривали медальон, дивились его массивности и гербу, вычеканенному на крышке. Одна старушка Краева рассматривала его не так только, как дорогую золотую вещь, но и как знаток хорошей работы, пристально всматриваясь в рисунок и прекрасную чеканку герба.

В эту минуту в гостиную вошел Санси, и старушка не успела передать медальон Ольге, как он подошел поцеловать ей руку и вдруг остановился, словно вкопанный, не сводя

глаз с медальона. Затем порывисто схватил его, раскрыл, нажал на пружину, и из-под образа Парижской Божьей Матери выпала свернутая бумажка.

— Маргарита!.. — прошептал он, развернув записку. — Этьен, сын мой!.. — и вдруг, обведя все безумным взглядом, он вскрикнул неистово: — Где сын мой?..

Дамы переглянулись в недоумении. Мужчины удивились еще более, не зная даже причины, вызвавшей в нем эту тревогу; они не слышали разговора о медальоне.

— Ради Бога, скажите, где сын мой? — умолял Санси, бросаясь на колени перед старухой Краевой. — Пощадите несчастного отца! Скажите, жив он? Где вы его видели?

— Я ничего не знаю! — побледнела растерявшаяся старушка. — Этот медальон принадлежит не мне, а Глафире Петровне! — указала она рукой на госпожу Нелину.

Санси бросился к Нелиной с расспросами, но та, забыв французский язык, не могла ему объяснить, каким образом достался ей этот медальон, и все твердила:

— Acheter казак... soldat.

Ольга подросла на вырчку матери и рассказала Санси, как попал к ним в руки этот медальон.

— В армии Наполеона... убит... — шептал растерянно Санси, не выпуская из рук медальона и не сводя с него глаз.

— Не убит! — сказала Ольга. — Казак, снявший медальон этот, рассказывал нашему денщику, что ран на молодом человеке не было. Он был только оглушен!..

— Все равно погиб!.. — сказал Санси с отчаянием. — Еще хуже, если он попадется живым в руки безжалостным крестьянам. Я знаю, они безжалостны — эти русские, когда они видят в человеке своего врага!..

На старого француза страшно было смотреть: он был смертельно бледен, синие его губы подергивались в судороге, глаза бессмысленно уставились на медальон, который он стискивал онемевшей рукой.

— Отдайте мне этот медальон! — вдруг попросил он с невыразимой мукой в голосе. — Я вам за него перстень с бриллиантом дам — дорогой, крупный бриллиант, подарок великого князя Константина Павловича.

— Бог с вами! — замахала руками госпожа Нелина. — Стану ли я торговать чужими вещами! Бери его так себе, батюшка, коли он твой!

Ольга перевела слова матери.

— Да порадует вас так Творец небесный, как вы меня порадовали! — сказал Санси, целуя Нелиной руку; и вдруг, прижав к груди своей медальон, он, как женщина, громко зарыдал, повторяя: — Этьен, сын мой! Дитя мое! Они убили тебя... Нет, не они!.. — вскричал он вдруг неистово. — Это Наполеон! О изверг! Поплатишься ты, наконец, за все свои злодеяния!..

И он, как безумный, выбежал из комнаты, подняв руки кверху, словно призывая кару Божью на императора французов.

Долго все присутствовавшие не могли опомниться от этой неожиданной тяжелой сцены; даже дамское любопытство уступило место искренней сердечной жалости, хотя никто не мог вполне понять горя и отчаяния несчастного Санси.

Поахав и высказав все свои предположения насчет медальона, все гости разошлись.

Но перед уходом Краевых было решено, что они с Роевыми и Нелиной уедут в Дмитров. Выехать они собирались все вместе, и с завтрашнего же дня — начать укладывать вещи.



Глава XIII



Петербург был и тогда уже красив с его изящными дворцами, гранитной набережной Невы и Фонтанки и замечательной решеткой Летнего сада. Много украсила его покойная бабка императора Александра — Екатерина Великая, — построив большие каменные общественные здания, между прочими Академию художеств, Большой театр, Биржу и Публичную библиотеку, выходящую углом на Невский проспект, самую длинную и широкую улицу Петербурга. Заведовали Публичной библиотекой всё люди с хорошим научным образованием, большей частью академики и писатели. Жили многие из них в каменных корпусах, находящихся возле Публичной библиотеки. В одной из таких квартир, довольно обширной для тогдашнего времени, лежал на старом широком диване тучный пожилой человек в пестром халате и читал кни-

гу. Во всей комнате и вокруг него самого царил сильный беспорядок. На столах разбросаны бумаги, книги, гусиные перья, раскрытые перочинные ножи; тут же разложена большая карта России, а подле нее стоит грязная чернильница с остатками чернил, в которых потонули мухи. Из углов комнаты выглядывают прелестные мраморные изображения, на стенах висят художественно исполненные картины, под столом дорогой персидский ковер, весь изорванный и запачканный. К довершению описанного беспорядка во многих местах остались следы пребывания голубей, беспрестанно влетающих и вылетающих в отворенные окна и преважно расхаживающих по столам и всей мебели.

— А я к вам, Иван Андреевич! — говорит угрюмо вошедший гость, человек лет под тридцать, некрасивый, рябой, с суровым недовольным лицом.

— А, это вы, Николай Иванович! — приветствует вошедшего хозяин дома, не поворачивая головы и не отрывая глаз от книги. — Присядьте, батенька, я только вот эту страничку дочитаю.

Гость заглянул в книгу и сказал с досадой: бросьте, Иван Андреевич, охота вам всякую дрянь читать.

— Э, батенька! Надо же дать отдохнуть мозгам! — отвечает равнодушно хозяин. — А то они и работать, пожалуй, перестанут!

— Не вам бы на мозги жаловаться! — заметил гость. — Каждая ваша басня стоит целой драмы или комедии.

— Э, полно, батенька! Что нам друг друга хвалить! Каждый себе цену знает. Как ни хвалите, а моя последняя басня из рук вон плоха...

— Да что вас слушать! — сказал с досадой гость. — Вечно вы недовольны своим писанием. Вот попали бы вы в мою шкуру, так и совсем забросили бы писать.

— Ну, ну! Что вы там еще выдумали!

— А то, что размер стиха не подходит для поэмы Гомера. Стал я переводить «Илиаду» шестистопным ямбом, и такая злость берет иной раз, что готов бросить все мною написанное и начать снова переводить гекзаметром.

— Что это вы, батенька! Ведь у вас переве-

дены уже несколько песен.

— Все равно. Пусть все переведенное пропадет, а этот шестистопный ямб убьет все дело.

— Гм!.. По мне так тоже лучше все сызнова начать, чем завершать плохонькое, — заметил как бы про себя хозяин, в котором читатель уже, вероятно, узнал знаменитого баснописца, Ивана Андреевича Крылова, а в его собеседнике — даровитого переводчика «Илиады» Гомера, Николая Ивановича Гнедича.

— Только вот в чем дело, батенька, — продолжал Крылов, поднявшись с дивана и положив руку на плечо Гнедича. — Не ошибаетесь ли вы, дружище? Может быть, так только — блажь какая на вас нашла?.. Прочтите-ка мне написанное, обсудим дело сообща. Ведь не шутка кинуть то, что писалось годами!

Гнедич вынул из шляпы свернутую трубочкой тетрадь, расправил листы ее и принялся читать.

Крылов внимательно слушал гостя, и лицо его все более и более хмурилось. Он только что собрался сказать что-то Гнедичу, как в комнату вошел Константин Николаевич Ба-

тюшков, тогда еще молодой человек — лет двадцати восьми.

— Генеральное сражение выдержали! — кричал он, помахивая с торжеством каким-то письмом в воздухе.

— Где было сражение? Когда? — спросили в один голос Крылов и Гнедич.

— Сражались в девяти верстах от Можайска, близ села Бородина. Началась битва двадцать четвертого августа. Одно грустно: Багратион смертельно ранен, Кутайсов убит, много генералов перебито, но зато французы потеряли не меньше наших. Да вот письмо, только что мной полученное от приятеля, бывшего в деле. Он находится в дивизии Неверовского. Я вам прочту это письмо, если хотите...

— Читайте скорее, батенька! — бросил нетерпеливо Крылов. — Нашли о чем спрашивать! Разве найдется такой русский человек, который не хотел бы знать всех подробностей о победе своих?

Батюшков, отыскав в письме описание сражения, начал читать:

«24-го числа в два часа пополудни нача-

лось дело близ Шевардина. Не успели мы закусить, как батальон наш пошел в стрелки. Вправо от нас стали показываться колонны неприятеля. Тарнопольский полк нашей дивизии, выставленный защищать редут, пошел в атаку с музыкой и песнями и бросился в штыки на моих глазах. Резня продолжалась недолго: полкового командира их ранили и, когда его понесли вон из строя, полк начал колебаться. Но тот, кому была передана команда, снова повел их в штыки, и работали они молодцами. Ходили еще при нас в атаку Александрийские и Ахтырские гусары и храбро дрались в виду у нас. На ночь мы опять пошли в стрелки. Во всей армии 25-го числа был отдых, только мы, егеря 49-го полка, не переставали перестреливаться с неприятелем, и наших много было убито. В ночь с 25-го на 26-е в корпусе маршала Даву, стоявшем против нас, пели песни, били барабаны, музыка гремела, и только на рассвете мы увидали, что лес, бывший перед нами, вырублен французами и на его месте стоит батарея. С самого рассвета началась

пальба из пушек, и до самого полудня не слышно было ни одного ружейного выстрела: все палили только орудия; гром от них был такой, что за пять верст оглушало. Говорят, небо горело, да вряд ли кто видел это из-за дыма. Наша дивизия была уничтожена. Меня послали за порохом. Я не мог ехать не только по дороге, но и ближайшим к битве полем от множества раненых и изувеченных людей и лошадей, бежавших в ужаснейшем виде. Вспоминать не могу этого зрелища... Около семи часов вечера я встретил нашего майора Бурмина с сорока человеками солдат. Тут были все воины, уцелевшие из нашего полка, и, Боже мой, в каком они ужасном предстали мне виде: обожженные порохом, с запекшейся кровью на лицах и мундирах. Бурмин велел мне вести их в стрелки... „Ведите нас добивать, ваше благородие! Ляжем с остальными товарищами“, — говорили они, готовые снова сразиться с врагом. Когда мы вошли в лес, мне представилась ужасная картина. Тут была чистая бойня: пехота разных полков, кавалерия без лошадей, артилле-

ристы без орудий... всякий дрался, чем мог — тесаками, саблей, дубиной, кулаками... Боже, что за ужас! Мои егеря тотчас разбрелись по лесу, а я поехал, куда мне было указано. Было уже десять часов вечера, но пальба из пушек не прекращалась. По дороге я видел колонны наших и французов, опрокинутые, словно карты, изображающие в руках ребенка солдатиков и опрокидываемые им одним пальцем или просто дуновением. Ужасная картина! Но сердце замерло, и я не уронил ни одной слезы по несчастным. Наткнулся я на своего брата и узнал, что он ранен в ногу; поделился с ним куском баранины, доставшейся мне от казначея, когда я ездил за патронами. К 11 часам наша дивизия была собрана, в ней оказалось всего 700 человек. Начальники почти все оказались перебиты. Остатки полков явились под начальством поручиков и даже фельдфебелей. В нашем полку остался полковник и, считая со мной, трое офицеров. На следующий день 26-го в полдень я въехал с нашим капитаном Шубиным на пригорок. Оттуда мы с

ним видели, как два наши кирасирские полка пошли в атаку на батарею и взяли ее. Но что при этом они вытерпели — это был суший ад! За любопытство наше капитану Шубину оторвало правую ногу. Но впрочем... на все судьба! На моих глазах сняли с лошади раненого в ногу нашего героя князя Багратиона. Да, ученик Суворова был постоянно впереди, в самом огне; рана тяжела, и вряд ли он останется жив... Страшная была бойня, кровь человеческая лилась рекой, груды тел мешали двигаться пехоте; упавших, тяжело-раненых давили свои же, двигаясь массой; разбирать было невозможно! Кутайсов убит, и много офицеров перебито и ранено, но и французов пало не меньше, чем наших. Важнее всего то, что мы не поддались французам и не отступили».

— Не отступили, голубчики, не отступили! — всплакнул Крылов, прервав вдруг чтение.

Гнедич сурово глядел в одну точку и вдруг, стукнув изо всей мочи по столу кулаком, крикнул:

— А мы тут сидим и изводим чернила, пока наши тысячами гибнут за нас и за святую Русь!

— Да, — согласился грустно Батюшков, — если бы не моя рана, я бы не утерпел, приписался бы в полк или в ополчение.

— Ну, с вас и бывшего довольно!.. — пробормотал Крылов сдавленным от слез голосом. — Послужили в шведскую войну, получили пулю в ногу. Чего же еще более!

— Что тут толковать о бывшем! — прервал его Батюшков. — Если бы только не хромал, пошел бы. А то куда калеке бороться с врагом!

— Вот я бы... — начал Гнедич.

— Уж и нам с вами не собраться ли? — остановил его насмешливо Иван Андреевич. — Что же мы с вами Дон Кихота и Санчо Пансо изображать станем? Набралось бы в войско много подобных нам. Но мало было бы пользы: плохие мы воины и по силе, и по знанию дела. Крестьянин наш хоть силой берет, выносливостью, все преодолевает. А мы что? Вы словно спичка какая, ударь вас разок саблей — и вас не существует, а я как бочка, и никакого тоже от меня проку не жди, на пер-

вом же переходе ноги протяну.

— Воодушевление придает силы! — кипятился Гнедич. — Разве мало наших в войсках? Наш товарищ Александр Федорович Воейков бросил и перо, и службу в библиотеке, и свой перевод «Садов Делиля», и отстаивает грудью нашу родную землю. А наш милый сладкогласный певец Василий Андреевич Жуковский!.. Он тоже переменял перо на меч. Всех не перечесть наших писателей, ушедших в ряды воинов. Не говоря уже о нашем храбром Денисе Васильевиче Давыдове. Он воином родился. О нем Суворов сказал: «Я не умру еще, а он уже выиграет три сражения». Что не помешало ему, однако, быть хорошим поэтом. Так что же вы, Иван Андреевич, меня на смех поднимаете. Дело не в силе, а в воодушевлении.

— Нет, Николай Иванович! Те не то, что мы с вами. Нам не мечом воевать, а пером! Вы переводите в назидание юношеству и молодежи битвы, чудно описанные бессмертным Гомером, а я басню на Наполеона задумал — если выйдет не из рук вон плоха, то останется на память детушкам.

Говоря это, он, однако, задумался: видно было, и его тянуло не к перу и бумаге, а в стан наших воинов. Все примолкли под впечатлением одной тяжелой думы: они радовались успеху наших под Бородиным и грустили о стольких погибших собратях.

— А Багратион незаменим! — сказал вдруг Крылов так громко, словно кричал глухому. — Страшная для России потеря, если он умрет!

— Да, страшная была бы потеря! — сказал новый посетитель, быстро открыв дверь.

Это был двадцатилетний Михаил Васильевич Милонов. Его встретили радостным приветом.

— С победой! — продолжал он, здороваясь со всеми. — Только победой можно считать лишь то, что мы, русские, доказали, как умеем умирать за отечество и не дать врагу того, чего не хотим уступить. Страшно подумать, сколько легло наших и французов. Словно пророк назвал три речки, протекающие близ Бородина: Войня, Колоча, Стонец. И точно, воюя, колотили друг друга так, что стоном стояли поле и окрестности... А вести-то все тре-

вожнее и тревожнее. Велено вывезти из Москвы в Казань институты и все учебные заведения. Бумаги и драгоценные вещи отвезены туда же.

— Неужто французы могут взять Москву? — вскричал грозно Гнедич.

— Слышно — от Бородина Наполеон двинулся прямо на Москву.

— Господи! Сохрани и помилуй нашу матушку Белокаменную! — сказал Крылов со слезами в голосе.

— Не выдадут ее наши, не бойтесь! — возразил с уверенностью Батюшков. — Мало будет войска — ополчение грудью станет. А за ними и все наши мужички. Все готовы лечь костьюми, лишь бы не выдать французам Москву, нашу кормилицу.

— Все в руках Божьих! — молвил набожно Крылов. — Человек предполагает, а Бог располагает. Ему одному известно будущее.

— Победим, непременно победим! — говорил восторженно Милонов. — Недаром орел парил над нашими войсками, когда Кутузов принял над ними начальство. Помните чудное стихотворение, написанное на этот слу-

чай нашим семидесятилетним Гавриилом Романовичем Державиным:

Мужайся, бодрствуй, князь Кутузов!

*Коль над тобой был зрим орел,
Ты верно победишь французов...*

— Вот уж истый поэт! — кивнул Крылов. — Седьмой десяток кончается, а отзывчив, как юноша, и меток, как сатирик: какую славную игру слов он внес в свое четверостишие:

*Как ни велик **На поле он,**
И хитр, и быстр, и тверд во бра-
ни,
Но дрогнул, как простер лишь
длани
К нему штыком **Бог рати он.***

— А я этого четверостишия еще не слышал, — сказал Милонов.

— Как же, как же! Это он его мне сам прислал. Вот поглядите! — сказал Крылов и пошел рыться в ящике письменного стола.

Все с нетерпением ожидали.

— Вот оно! — сказал наконец баснописец, подавая друзьям листок бумаги. — Однако

мне пора на службу. Извините, господа!

Все простились. По их уходе Крылов долго пыхтел, натягивая сюртук, и ушел, не пошутив по обыкновению со своей старой прислугой. Он был сильно взволнован и озабочен судьбой Москвы.



Глава XIV



Ще солнце не осветило двадцать шестого августа обширную поляну перед селом Бородино. Боевые огни догорали. Тишина царила в обоих лагерях, только звякали лопатки и временами раздавались крики ополченцев, заканчивающих земляные работы на укреплениях. Они спешно работали весь день и всю ночь накануне Бородинского боя, но старались скрыть это от неприятеля и работали молча, без криков и громких возгласов. Как затишье всей природы бывает, большей частью, перед бурей, так и это затишье в двух враждебных лагерях предвещало кровавый дождь и громы орудий.

Наш главнокомандующий, Михаил Илларионович Кутузов, предчувствовал, что дело будет жаркое, упорное, кровопролитное. Ему не спалось; он поднялся задолго до рассвета и поехал один на батарею, расположенную на

возвышенности, называемой Горки, близ большой Московской дороги. Остановясь на вершине холма, он долго смотрел на наши войска, расположенные, большей частью, корпусами и занявшие находящиеся тут селения Бородино, Семеновское, Князьково, Утицу и другие. На правом крыле, начинавшемся у селения Бородина, близ впадения реки Войни в Колочу, была расположена Первая армия под начальством Баркляя-де-Толли. В самом центре, против селения Шевардино, стоял корпус Дохтурова под личным его начальством. Левое крыло наше расположено было начиная от селения Семеновского и состояло из Второй армии под начальством князя Багратиона. Перед селением Семеновским была наскоро сооружена на кургане батарея, названная Курганной; за ней вплоть до Семеновского располагался пехотный корпус Раевского, а затем кавалерийский корпус графа Сиверса первого.

В селении Князево стояла в резерве гвардия, а за селением Утицей, близ старой Смоленской дороги, был поставлен Кутузовым корпус Николая Алексеевича Тучкова. Он

скрыт был за оврагом и должен был действовать внезапно в помощь Второй армии и наблюдать, чтобы неприятель не обошел ее. В подкрепление ему стояли за ним семь тысяч ратников Московского ополчения. Остальные ратники Московского и Смоленского ополчений находились позади всех остальных корпусов в местах, где были устроены перевязочные пункты.

Грустно и озабоченно смотрел Кутузов вдаль на селение Шевардино, занятое сутки тому назад французами. Он вспоминал, сколько крови было пролито третьего дня за Шевардинский редут. Сам Наполеон предводительствовал своими войсками и старался во что бы то ни стало овладеть этим сильным укреплением, находившимся между рекой Колочей и старой Смоленской дорогой в Москву. Французская артиллерия осыпала наших ядрами, гранатами и картечью. Кутузову казалось, словно он видит, как французы стремительно бросаются на Шевардино и занимают редут; но вот подходят наши гренадеры, они идут на смертный бой, впереди их священники в облачении с крестами в руках.

Завязывается страшная рукопашная схватка. То наши опрокидывают французов, то те теснят наших и снова овладевают редутом. Кровавое сражение это кончилось только поздно вечером. Шевардинский редут остался в наших руках. Вот совсем стемнело, и вдруг послышалось нашим, будто французы приближаются снова к Шевардину... но, может быть, это только разъезд их? Вот вспыхнул стог сена — один, другой — и осветил густую колонну французов, двигавшуюся на наших. Генерал Горчаков велел Неверовскому остановить французов. Егеря, готовясь ударить на неприятеля в штыки, разрядили ружья и, тихо подкравшись к нему в темноте, стремительно бросились вперед с громким «ура!». Французы оробели, остановились. Наши смешались с ними, кололи их штыками и гнали назад. Тут подоспела к нашим кирасирская дивизия и совершила поражение неприятеля, отбив у него пять орудий.

К полуночи французы снова двинулись на Шевардино, но Кутузов не нашел нужным далее удерживать редут этот и велел Горчакову отступить и присоединиться к нашим вой-

скам, занявшим местность на расстоянии более версты от Шевардина...

И вот сегодня предстоит им бой несравненно кровопролитнее. Вчера Кутузов объезжал войска и говорил им: «Вам предстоит защищать землю родную, послужить верой и правдой до последней капли крови. Каждый полк будет употреблен в дело. Вас будут сменять, как часовых, через каждые два часа. Надеюсь на вас, Бог нам поможет. Отслужите молебен». Ему отвечали отовсюду громким «ура».

Перед вечером обнесли икону Смоленской Божьей Матери, которую войска наши вынесли из Смоленска, когда оставляли этот город. Горячо молились наши солдатики, громко исповедуясь и готовясь на смерть. «И много, много падет их! — думалось Кутузову. — Но сражение это необходимо. Придется лечь когтями за Россию!»

Почти в то же время, как Кутузов выехал на вершину Горок, Наполеон вышел из своей палатки. Он был в прекрасном расположении духа; его как нельзя больше радовало предстоящее сражение, и он всю ночь посылал узнавать, не отступили ли русские, не хотят

ли они снова уклониться от генерального сражения, но ему всякий раз докладывали, что огни горят и слышен в русском лагере шум. Несколько раз будил Наполеон своего дежурного генерал-адъютанта и говорил с ним о предстоящем деле, спрашивая, надеется ли он на победу. Наконец сказал: «Надо выпить чашу, налитую в Смоленске».

Выйдя из палатки, он сел на коня и поехал в Шевардино, где были расположены главные его силы между рекой Колочей и старой Смоленской дорогой в Москву. Вправо от него из русского лагеря громко пронесся в сонном воздухе посланный из тяжелого орудия заряд, и снова все погрузилось в глубокий предрассветный сон. Наполеон велел строиться в боевой порядок. Пробыли сбор и стали читать перед выстроенными ротами и эскадронами следующий приказ Наполеона, написанный накануне им самим:

*«Настало желанное вами сражение!
Победа зависит от вас; она нам нужна
и доставит изобилие, спокойные квар-
тиры и скорое возвращение в отече-
ство! Действуйте так, как вы дей-*

ствовали при Аустерлице, Фридрихланде, Витебске, Смоленске, и самое позднее потомство с гордостью станет говорить о подвигах ваших; да скажут о вас: „И он был в великой битве под стенами Москвы!“».

— Увидим, какова эта Москва! — процедил сквозь зубы Ксавье Арман. — Говорят, в этой столице варваров собрано множество сокровищ... Тем лучше для нас! Каждому достанется крупная часть на долю.

Этьен Ранже, толково читавший перед своим взводом приказ Наполеона, тоже был уверен в победе и радовался скорому отдыху в стенах Москвы, но ему страшно было подумать, сколько прольется крови в предстоящем сражении, сколько останется семейств, горько оплакивающих невозвратимые потери.

В это время заря осветила розовым светом восток, и восходящее солнце рассеяло пред-
рассветный туман.

— Вот солнце Аустерлица! — воскликнул Наполеон.

Окружавшие его радостно откликнулись

на это прорицание победы.

Вице-король, принц Евгений Богарне, сын Жозефины, первой супруги Наполеона, получил еще накануне от него приказание вытеснить русских из Бородина. Он до рассвета, пользуясь ночной темнотой, подвел войска свои к Бородину и разом со всех сторон окружил первый русский батальон, выставленный передовой цепью; лишь только рассвело, град пуль осыпал русских егерей.

Барклай-де-Толли, наблюдавший с пригорка, тотчас заметил, что одной дивизии никак не устоять против целого корпуса вице-короля, и послал в Бородино своего адъютанта с приказанием отойти за Колочу и сломать мост, через который они перейдут. Не успел адъютант доскакать с приказанием, как наши ударили уже в штыки, но были оттеснены французами. Неприятель продолжал наступать; егеря перешли через мост, но не успели его вполне уничтожить, как французские стрелки перебежали мост и бросились на батарею, его обстреливавшую; наши, однако, отбили ее у них. Тут был прислан в подкрепление егерям полковник Карпенков. Он постро-

ил свои батальоны скрытно от неприятеля за пригорком и в то время, как егеря отступали, велел своим взобраться на гребень пригорка и угостить неприятеля ружейным огнем. Еще дым от этого залпа клубился перед французами, не ожидавшими подобного нападения, как наши ударили на них в штыки. Ошеломленный неприятель побежал к полуразрушенному мосту, но не мог перейти его сплошной колонной, так как более десятка мостовых досок были уже сняты; наши бросились на непопавших на мост и истребили их всех.

Карпенков послал было уже своих стрелков вдогонку за перешедшими на ту сторону французами, но ему приказано было вернуться и разрушить мост, что он и исполнил под пулями неприятеля.

Вся описанная кровавая стычка была устроена Наполеоном с целью отвлечь внимание Кутузова от главного нападения на Курганную батарею Раевского, которую громил Сорбье. Пока корпус вице-короля дрался с русскими у Колочи, маршалы Даву, Ней и Жюно двинулись лесом и его опушкой прямо к Курганной батарее, за которой укрывался

корпус Раевского. За пехотой двигалась конница под начальством Мюрата. Тут, разумеется, находились Этьен и Ксавье со своими товарищами. Трудно было коннице двигаться лесной чащей по тропинкам, едва намеченным, но они преодолевали разные препятствия и всевозможные неудобства, ожидая, что «предстоящая им битва будет решительной» и затем им придется только отдыхать и пользоваться всем, что доставит им победа. Одни мечтали о том, с какой славой вернутся они в свое отечество и будут отдыхать в кругу своих близких, рассказывая им обо всех опасностях, которым они подвергались в далекой, незнакомой стране, населенной варварами; другие жаждали захватить как можно больше добычи, чтобы разом разбогатеть; третьи желали отдыха, сытной еды, вина вдоволь... словом, каждый, двигаясь к месту генерального сражения, мечтал о том, что более всего занимало его в жизни...

Вот передовые колонны французской пехоты вышли из леса и строятся под выстрелами двенадцати орудий русской Курганной батареи.

— Однако эти варвары русские хорошо метят! — говорит Ксавье Арман. — Поглядите, сколько наших выбывает из строя.

— Видно, жаркое там дело! — соглашается его товарищ.

— Вот скоро убедимся в этом сами! — замечает не без хвастовства Ксавье. — Без нас дело не обойдется!

И точно! Не прошло и часа, как скачет к Мюрату адъютант с приказанием от Наполеона двинуть кавалерию, ибо действие пехоты оказалось неуспешным; произошло замешательство вследствие несчастного случая с маршалом Даву: лошадь под ним убило ядром, самого Даву сильно контузило, и его сочли мертвым; Дезье, сменивший Даву, тоже ранен, он сдал команду генерал-адъютанту Раппу, но и тот вскоре вынужден был удалиться с поля боя, так как тоже был ранен. Русские дерутся как бешеные; их истребляют целыми дивизиями, а они не поддаются...

Мюрат двинул свою кавалерию в этот ад ядер, картечи, смрада от порохового дыма и крови.

В то время, как главные силы Наполеона

направлены были на центр русских, поляки под предводительством Понятовского пошли по старой Смоленской дороге в обход нашей Второй армии. Их бы тотчас мог остановить корпус Тучкова, если бы он оставался скрытым за оврагом, но Беннигсен, не предупредив Кутузова, велел Тучкову выдвинуть свои позиции, и Понятовский успел овладеть селением Утицей прежде, чем Тучков имел возможность двинуть свои войска назад и поставил их близ высокого кургана, на который ввезли четыре орудия и стали отбиваться от войск Понятовского.

Пока это происходило близ селения Утицы, полк, в котором находился Этьен, стоял в бездействии под градом картечи. Тела убитых и раненых тысячами покрывали ближайшее к нему поле перед Курганной батареей. Русские дрались отчаянно. Раненый генерал Буксгевден, истекая кровью, повел своих на занятую неприятелем батарею и пал мертвым. Граф Воронцов, князь Горчаков и принц Мекленбургский были ранены. Князь Кантакузин отбил несколько неприятельских орудий и был убит.

— Ребята! — кричал солдатам полковник Монахтин, указывая на батарею. — Отстаивайте ее, как бы вы отстаивали грудь Русь святую!

Он бросился на батарею и пал замертво, остановленный зарядом картечи.

Князь Багратион послал сказать Николаю Алексеевичу Тучкову, чтобы тот прислал ему в подкрепление дивизию Коновницына. В этой дивизии находился Ревельский полк, которым командовал Александр Алексеевич Тучков. Не теряя времени, дивизия Коновницына пустилась скорым маршем к Семеновскому и вступила в бой, шагая по трупам. Чтобы воодушевить своих солдат, дрогнувших при виде страшного кровопролитного сражения, Александр Тучков бросился со знаменем в руках к Курганной батарее и был ранен...

Этьен Ранже, на глазах которого разворачивалось сражение, заметил сильное замешательство в рядах русских войск, двинутых на подкрепление к Семеновскому. Ему послышалась знакомая фамилия генерала Тучкова, и кого-то понесли из строя. Но в эту минуту град бомб и картечи посыпался в ту сторону,

и все скрылось из глаз Этьена в облаке порохового дыма. Когда это облако рассеялось, место, где находился раненый, представляло бесформенную массу: поднятые ядрами глыбы земли, останки человеческих тел, полузасыпанные землей, сломанное оружие... все было исковеркано, перемешано, сбито в кучу.

«Какой это генерал Тучков? — промелькнуло в голове Этьена. — Одного я взял в плен и получил за это орден Почетного легиона... Это, верно, брат его!»

Но раздумывать долго ему не дали.

— Стройся! Вперед! — закричал командир, и они понеслись на батарею.

Но русские приняли их в штыки, и как они ни действовали быстро палашами, не могли прорубиться через сомкнутые ряды доблестных солдатиков.

Пока шла эта упорная борьба у Курганной батареи и близ Семеновского, Тучков первый также упорно отбивался от Понятовского, который успел-таки занять пригорок. Узнав, что Багговут идет к нему на подкрепление, Николай Алексеевич решился атаковать неприятеля, дабы не дать ему утвердиться на занятой

им возвышенности. Распределив свои дивизии, как напасть на неприятеля с разных сторон, он сам повел один из полков в атаку, вытеснил Понятовского с возвышенности, прогнал к Утице и велел ввезти орудия на отнятую возвышенность и стрелять по отступавшим. Храбрость эта дорого ему стоила: он был смертельно ранен.

В это время Наполеон послал своего адъютанта к вице-королю принцу Евгению Богарне с приказанием напасть на русский центр с противоположной стороны. Принц Евгений Богарне оставил одну из своих дивизий защищать Бородино, другую послал на правый берег Войны, а сам с остальными дивизиями перешел Колочу и двинулся к Курганной батарее, защищаемой Раевским. Их встретили дружным огнем наши стрелки, но французы не отступили перед пулями и, оттеснив русских стрелков, двинулись прямо на батарею. По ним ударили картечью из восемнадцати орудий. Но они и тут не остановились.

Выстрелы с русской стороны становились все чаще и чаще, заряды быстро истощались,

наконец густой дым скрыл колонны французов, и нельзя уж было видеть, что происходит в рядах их.

Вдруг на батарее у брустверов показались головы французских солдат; произошел кровавый рукопашный бой, и батарея была занята французами, наши стали отступать в смятении перед неприятелем, теснившим их. По счастью, Паскевич велел командовавшему батареей увезти зарядные ящики и лошадей из-под орудий, и завладевшие ими французы не могли стрелять из них и должны были ввезти торопливо свои орудия, чтобы направить их на расстроенные ряды защищавших батарею. Еще несколько минут, и неприятель утвердился бы в самом центре русской боевой линии.

Тут подъезжают молодой граф Кутайсов и Ермолов, посланные по поручению главнокомандующего. Они видят, что от занятия Курганной батареи зависит по существу судьба всего сражения, и решаются на отчаянный подвиг. Каждый из них становится во главе батальона, громким криком останавливает бегущих в смятении солдат и бросается отби-

вать штыками батарею. В это время в левый фланг принца Евгения ударил Паскевич, а Васильчиков — в правый, и в мгновение ока колонны неприятеля оказались расстроены; русские погнали их к кустарникам, по пути всех истребляя.

Между тем Кутайсов и Ермолов, взобравшись на Курганную батарею, уничтожили занявших ее. Кутайсов поплатился жизнью за свой подвиг; не нашли даже и тела его, а только по окровавленному следу его лошади узнали, что он убит.

Рукопашная схватка была ужасная; никого не щадили, не брали в плен даже просивших пощады. Одного французского генерала искололи штыками и хотели доконать, как он назвал себя королем Неаполитанским. Его выхватили из этой бойни, и, посылая офицера к Кутузову с донесением, что Курганная батарея снова в наших руках, велели сказать, что при этом взят в плен Мюрат.

— Ура! — кричала свита Кутузова. — Зять Наполеона в наших руках.

Но опытный главнокомандующий не придал значения услышанному:

— Подождемте, господа, подтверждения! — сказал он спокойным, усталым голосом, видимо, не веря сообщенному впопыхах.

Кутузов оказался прав: когда привели к нему пленного, выяснилось, что это был вовсе не Мюрат, а генерал Бонами; он назвал себя королем Неаполитанским, чтобы только избежать смерти.

Потеря Кутайсова сильно огорчила главнокомандующего.

— Он незаменим по своей распорядительности! — говорил Кутузов с грустью. — При том же артиллерия Первой армии осталась без начальника, между тем как дело ведется преимущественно орудиями. Составленный план для действия наших орудий погиб вместе с Кутайсовым, он унес с собой все распоряжения, не успев никому сообщить их... Трудно, трудно будет нам отбиваться и нападать без него.

Между тем Ермолов продолжал действовать на отбитой нашими Курганной батарее. Пришлось ему два раза переменить орудия, так как заряды были все уничтожены. Столько было убитых и тяжелораненых артиллери-

стов, что их пришлось пополнять пехотинцами. Раевский прикрывал Курганную батарею до тех пор, пока не был уничтожен почти весь его корпус. Только тогда заменил его Лихачев. Ермолов был ранен. Барон Крейц ходил несколько раз с кавалерией в атаку, так как неприятель во что бы то ни стало старался снова овладеть Курганной батареей, был ранен три раза и, наконец, врубившись в колонны неприятеля, был сброшен с лошади и погиб. Началась безумная рукопашная схватка. Кавалеристы, пехотинцы, артиллеристы — все перемешались; бились штыками, прикладами, саблями, тесаками; попирали ногами павших, громоздились на тела убитых и раненых. Французские кавалеристы до того увлеклись, что вскакивали в наши гвардейские полки, не принимавшие участия в этой схватке. Черепок чиненного ядра ударил в правую ногу князя Багратиона и пробил переднюю часть берцовой кости. Он хотел утаить от войска свою рану и, преодолевая боль, продолжал командовать. Но потеря крови лишила его сил, и он едва не упал с лошади. Уезжая из строя и находясь еще под выстрелами

неприятеля, он все еще продолжал отдавать разные распоряжения и посылать к сменившему его Коновницыну узнавать, как идет дело.

Овладев укреплениями впереди Семеновского, Наполеон послал кавалерию Мюрата в атаку на батарею. Несмотря на ядра и гранаты, вырывавшие из строя десятки людей, конница стройно двинулась вперед. Любуясь тем, как она шла, словно на параде, сперва шагом, затем рысью и наконец понеслась во весь опор, Наполеон радостно хлопал в ладоши.

Гвардейские наши полки в это время построились в каре и, подпустив французскую конницу на расстояние ружейного выстрела, встретили ее ружейным залпом. Французы не устояли и, повернув коней, умчались обратно. Две следующие их атаки были точно так же неудачны...

В промежутках атак ядра и гранаты так и осыпали русских гвардейцев, но этот огонь не произвел в их рядах беспорядка. Узнав, что французы не перестают ходить в атаку на наших, стоящих поблизости от Семеновского, Кутузов нашел необходимым лично видеть

ход сражения и решить, как действовать дальше. Под градом ядер и гранат, осыпавших нашу батарею на Горках, он поднялся на пригорок и стал осматривать поле битвы. Окружавшие умоляли его не подвергаться явной опасности, а он, не слушая их, хладнокровно продолжал свои наблюдения. Адъютанты наконец решились силой удалить его, взяли под уздцы его лошадь и свели ее с пригорка. Главнокомандующий не препятствовал им более, он успел уже осмотреть главные пункты и составить план последующих действий. Он отдал приказание: Платову с казаками и кавалерийскому корпусу Уварова перейти вброд через реку Колочу выше селения Бородина, напасть на войска вице-короля Евгения Богарне и тем отвлечь внимание Наполеона от Курганной батареи и Семеновского.

Казаки и гусары спустились в овраг под начальством Орлова-Денисова, перешли вброд Колочу, поднялись на крутой противоположный берег и стали строиться под огнем неприятельских орудий, затем пошли в атаку на французскую пехоту, и та вынуждена была отступить. Узнав о нападении наших на

французские войска, принц Евгений Богарне прискакал из центра битвы к Бородину, велел своим строиться в каре, но чуть было сам не поплатился за это, так быстро было нападение русских кавалеристов.

Казачи между тем перебрались через реку Войню и произвели такой переполох в тылу армии вице-короля Евгения Богарне, что бывший там обоз обратился в бегство, а в нем были не одни только пожитки сражавшихся, но и жены их. Это обстоятельство не только еще более смутило корпус принца Богарне, но и приостановило дальнейшие действия Наполеона на наш центр. Он только что было приказал своей молодой гвардии идти на Семеновское, чтобы окончательно выбить наших из укреплений, находившихся вблизи этого селения, как узнал о переполохе у Бородина. Он остановил гвардию и сам поскакал к Колоче убедиться, не обошли ли русские его войска. Его отсутствием воспользовался Кутузов и усилил наши корпуса, сражавшиеся близ Семеновского.

Бились до самого вечера — с одинаковым с обеих сторон увлечением.

Когда солнце уже клонилось к западу, Этьен, предводительствуя взводом, неся снова в атаку на Семеновское укрепление. Он изнемогал от усталости, так как почти ничего не ел весь день. Наполеон запретил строго-настрого удаляться им от своих отрядов, чтобы добыть себе пищу, а казенный провиант был ими давно уничтожен. От голода и усталости у Этьена звенело в ушах, голову ломило от дыма и смрада, нервы были напряжены до крайней степени. Тем не менее он врезался в наши ряды, рубя кого попало, но вдруг пуля пробила ему ногу, убив наповал его лошадь. Он свалился на землю, и никто не заметил его падения в общей свалке.

Видел это происшествие один только Ксавье Арман. Он мог бы спасти своего командира, но зависть и злоба пересилили в нем долг чести, и он оставил без помощи своего начальника и земляка.

— Пусть пропадает выскочка!.. — прошипел он злобно и пронесся мимо беспомощно лежавшего Этьена.

Французы ворвались и заняли Семеновское селение. Но гвардейцы Финляндского

полка вытеснили их оттуда штыками, и Этьен, раненый, остался на месте, занятом нашими войсками.

Он лежал среди груды тел, неподалеку от того места, где принял смерть Александр Алексеевич Тучков, и ждал ежеминутно, что его приколят или возьмут в плен. Он боялся пошевеливаться, чтобы не обратить на себя внимание, и это неловкое положение подле издыхающей лошади еще более усиливало его мучения. Он чувствовал, как изменяют ему силы с потерей каждой капли крови; в горле у него пересохло, голова становилась все тяжелее и тяжелее... наконец он лишился чувств.

Очнулся он от холодного мелкого дождя. Была уже ночь, все затихло кругом, только раздавались то тут, то там глубокие вздохи и стоны раненых. Кое-где мелькали огоньки, и видно было, как ополченцы проходили с носилками, унося на них раненых. Вдруг огонек мелькнул неподалеку от него и стал медленно приближаться, освещая две человеческие фигуры; но то не были ополченцы с носилками, а монах с фонарем в руке и возле него вы-

сокая женщина в темной одежде. Вот они уже подошли близехонько к нему, и молодая стройная красавица склонилась над трупом близлежащего русского офицера. Монах навел фонарь, но, видно, это был не тот, кого они искали. Ее бледное печальное лицо стало еще печальнее, и легкий вздох вырвался из ее груди.

— Нет, не он! — прошептала она чуть слышно.

Хотя Этьен не понял слов, сказанных ею по-русски, не понял смысл их, но этот мягкий голос показался ему таким симпатичным и добрым, что он решился заговорить.

— Помогите!.. — сказал он. — Ради всего дорогого для вас, помогите несчастному...

Молодая женщина, видно, поняла его, хотя он говорил по-французски. Она хотела подойти к нему, но старый монах остановил ее.

— Куда вы, Маргарита Михайловна? — спросил он ее сурово. — Ведь это француз!

Этьен, разумеется, ничего не понял из сказанного монахом; его внимание сосредоточилось только на имени Маргариты.

— Мою мать, как и вас, сударыня, — сказал

он, — звали Маргаритой. Хоть ради ее дайте мне воды. Я умираю от жажды.

Маргарита Михайловна двинулась было к Этьену, но монах снова удержал ее.

— Что вы! — сказал он ей тревожно. — Или вы хотите навлечь на нас справедливый гнев наших солдат, помогая французу в то время, когда наши тут же умирают, не подобранные еще ополченцами! Разве вы не видите, что ратники падают от усталости, перетаскивая раненых, а все-таки не успевают подать помощь всем. Приберегите ваше вино для них.

Маргарита Михайловна грустно взглянула на несчастного француза, тщетно ожидавшего от нее помощи, и хотела идти далее, как вдруг фонарь монаха осветил его бледное лицо, и она была поражена сходством его с Санси. Она быстрым движением вырвала свою руку из руки монаха, подошла решительно к Этьену, нагнулась над ним и прошептала:

— Ваша мать Маргарита? Вы сын графа Санси-де-Буврейль?

Этьен взглянул на нее лихорадочно блестящими глазами и замолк. Он был уверен, что все это представлялось ему в бреду. Но

вот бледное лицо красавицы склонилось еще ниже над ним. Она приложила к его губам фляжку с вином, и он принялся с жадностью глотать подкрепляющее питье.

Тихий голос между тем шептал ему:

— Я знаю вашего отца и уведомяю его о нашей встрече... Я не могу спасти вас, но оставлю вам эту фляжку с вином.

В это время к ним стали приближаться носилки.

— Что вы тут делаете? — крикнул грубым голосом один из ополченцев, несших их.

— Да это французенка! — отозвался фельдшер. — Пожалуйте, мадам.

Маргарита Михайловна гордо выпрямилась и сказала с величавым спокойствием:

— Я вдова погибшего генерала Александра Алексеевича Тучкова и явилась сюда с разрешения самого главнокомандующего искать тело мужа...

Фельдшер и ополченцы попятнулись и, пробираясь как-то бочком, вскоре исчезли из виду. Маргарита Михайловна положила подле Этьена фляжку и хотела что-то сказать ему, но он прервал ее, указывая место неподалеку

от себя:

— Тут убит генерал Тучков. Но вы его не отыщете, сударыня: он погребен под грудями земли и новых тел.

Маргарита Михайловна не дослушала его, она стремительно бросилась к указанному ей месту. Старик монах последовал за нею, и Этьен снова остался впотьмах. Он, однако, более не чувствовал себя беспомощным. Он знал уже, что отец его жив, и надеялся увидеться с ним. Мысль эта наполнила его сердце радостью, он забыл на время свои страдания и следил за движущимся фонарем монаха, будто за своей путеводной звездой. Маргарита Михайловна в это время помогала монаху приподнимать убитых, всюду наваленных грудями.

Небо еще более заволокло тучами, пошел чисто осенний дождик, подул холодный ветер. В лагере французов не видно было ни одного костра, и ночная тишина нарушалась в их стороне только нашими казаками, то и дело тревожившими неприятеля своим внезапным появлением то тут, то там.

Ветер и дождь не давали разгореться ко-

страм, разведенным и в русском лагере. И они больше дымили, чем горели, освещая только небольшие пространства тусклым неровным пламенем, при мерцании которого Тучкова и ее спутник монах представлялись некими мрачными привидениями. Наконец все затихло и на нашей стороне, только слышалось ржание голодных коней, рыскающих без всадников, да стоны и оханье раненых.

Вдруг началось движение в русском лагере. По всем направлениям поскакали офицеры главного штаба на своих усталых конях, развозя приказ Кутузова готовиться к отступлению. И всюду в ответ слышались возгласы неудовольствия и досады. Наши жаждали продолжать сражение и победить французов или умереть. Но главнокомандующий решил лучше отступить, нежели терять снова десятки тысяч людей и оставить страну беззащитной, во власти беспощадно грабивших ее алчных французов.

Один из адъютантов, проезжая мимо Тучковой, предупредил ее, что наши отступают к Можайску, и убеждал поторопиться с возвращением в обоз, так как скоро двинется в путь

артиллерия. Долее медлить было невозможно и хотя Маргарита Михайловна и не отыскала своего убитого мужа, но она должна была удалиться. Она понимала, что промедление с ее стороны грозило ей страшной бедой: она могла попасть в плен к неприятелю. Тучкова быстро направилась к повозке, в которой приехала, поблагодарила монаха Колонского монастыря, помогавшего ей в поисках, простилась с ним, села в повозку и поехала к обозу.

По пути ей представился весь ужас недавно происходивших тут схваток. Она то рыдала при виде ползающих раненых, то схватывалась за края тележки, чтобы не упасть при переезде через груды трупов, то сторонилась скачущих коней, обезумевших от страха и нестерпимой боли от ран. Она уговорила кучера взять в повозку двоих раненых, и тут только пришел ей на память сын графа Санси и то обстоятельство, что она забыла спросить, под каким именем находится он в армии Наполеона. Ей стало страшно досадно на себя, что она с ним не простилась, не сказала ничего утешительного об его отце, но вернуться

на поле битвы не было никакой возможности: она была уже близко от обоза, а вдали слышался шум движущейся артиллерии.

«Господи! Что если они задавят сына Санси!» — подумала она, и в сердце ее словно кольнуло ножом.



Глава XV



аленький город Дмитров стоит на реке Яхроме, в шестидесяти верстах на северо-запад от Москвы. Центр этого города, где расположены собор и присутственные места, обнесен высоким земляным валом, из-за которого дмитровцы некогда отбивались от нашествия врагов.

В соборе хранится как святыня деревянный крест с изображением распятого Спасителя. Предание гласит, что крест этот приплыл в Дмитров по реке Яхроме против течения.

Тотчас за валом тянется самая большая и широкая улица, называемая Московской, — место гуляния всего города. На ней в описываемое время мещанки водили веселый хоронд, празднуя победу наших войск под Бородиным. Они пели по обыкновению самыми тонкими голосами, закрыв лицо с одной сто-

роны миткалевым носовым платком, с другой — веером, в котором были проделаны дырочки, чтобы видеть тех, кого желалось видеть певицам. Взвизгивания этих сильно небеленных и нарумяненных красавиц мешали разговаривавшим в одном из старых домов, которые были тогда все в городе деревянные.

Разговаривавшие — обе наши знакомые. Это — Краевы. Бабушка и внучка.

Старушка сидит на диване с прямой деревянной спинкой и щиплет корпию, большие пучки которой лежат перед ней на круглом столе, покрытом филейной скатертью.

— Ну как я скажу ей? Эта весть убьет ее! — говорит старушка. — Хоть бы Григорий Григорьевич был тут, а то, как на грех, сидит он в Москве. Видно, не чуует, какая беда стряслась над ними.

— Батюшка пишет, — замечает Анюта, глотая слезы, — что Николай Григорьевич ранен не опасно и при спокойствии и хорошем уходе может скоро поправиться.

— Но подумай, дорогая, как перенесут эту весть мать и жена его?

— Вы о Тучковых говорите? — спросил вошедший Санси, понявший из их слов, что речь идет о предупреждении жены и матери.

— Нет, мы горюем о несчастье Роевых, — сказала Анюта. — Николай Григорьевич ранен и...

— А у мадам Тучковой, — прервал ее Санси, — старший сын смертельно ранен, а мой лучший друг, генерал Александр, убит наповал.

— О Господи! — охнула старушка Краева, всплеснув руками. — Видно, правду говорит пословица «Беда не приходит одна!». Несчастливая мать! А мы ей все еще недавно завидовали: пять сыновей, и все генералы, а старший вдобавок корпусом командовал. Да, видно, пули и ядра не щадят никого. Несчастливая мать!

— И на мое несчастье, мне приходится объявить ей это. Я только что получил письмо от генерала Алексея, который сообщает мне все подробности смерти своего младшего брата и просит меня убедительно ехать к матери и осторожно сообщить ей об этом. Сам он не может отлучиться от раненого брата и остается при нем в Можайске.

— Каким образом попал Алексей Алексеевич в Можайск? — удивилась старушка.

— О, это целая драма! Он ехал по делам звенигородского дворянства и встретил своего раненого брата, корпусного командира Николая, которого переносили на плаще с Бородинского поля в Можайск.

— Знает Николай Алексеевич о смерти своего брата? — спросила Аня с участием.

— К своему несчастью, знает. И первое его слово при встрече с братом Алексеем была просьба не напоминать ему никогда о несчастной кончине генерала Александра.

— Несчастливая Маргарита Михайловна! — прошептала Аня.

— А помните, — спросила Краева, — сон, который она видела: будто ей приносит адъютант шпагу и говорит: ваш муж убит под Бородиным.

— Ах да! Как это странно! — воскликнула Аня. — Тогда еще никто не знал, что существует такое село, и, я помню, Маргарита Михайловна записала это название.

— Что вы! Не может быть! — поразился Санси.

— Это факт! — продолжала горячо девушка. — Мне рассказывал об этом отец мой, лечивший ее вследствие нервного состояния, вызванного испугом от этого сна. Это было до кампании, и, когда Александр Алексеевич отправился в поход, Маргарита Михайловна поехала за ним. И вот ей, несчастной, пришлось хоронить любимого своего мужа.

— И схоронить не пришлось! — прервал ее задумчиво Санси. — Генерал Александр, увидев, что ряды его Ревельского полка расстроились под тучей картечи и ядер, схватил знамя и кинулся с ним вперед, но вскоре был ранен картечью прямо в грудь, и в ту же минуту множество ядер и гранат налетели на то место, где он упал. Ядра эти взрыли, избуравили землю, и поднятые вверх глыбы ее, падая обратно, засыпали тело одного из лучших людей.

Санси смолк и, закрыв лицо руками, зарыдал.

— Страшно и подумать! — охнула старушка, подняв свои выцветшие глаза и сложив руки, как во время молитвы. — Господи, храни и помилуй несчастных! Все наши могут

подвергнуться такой участи.

— Ваш сын доктор, — сказал Санси, — ему не угрожает такая опасность. А вот мой, если не убит, так каждую минуту подвергается ей.

— И в перевязочных пунктах небезопасно! — заметила старушка. — Ядра и там летают и уносят раненых и докторов. Но да будет воля Господня! Ему лучше знать, кого призвать к себе.

Сказав это, она низко опустила свою седую голову и затихла; по губам ее видно было, что она молилась.

— Пасть, защищая свою родину, — славная смерть! — прошептал Санси. — Но каково умирать тем несчастным, которых привел в чужую страну этот честолюбец! Они умирают вдали от своих, с тупым отчаянием в душе.

Анюта не слышала слов Санси. Стоя за стулом, она с тревогой следила за движениями бабушки, и слеза за слезой так и катились по ее побледневшим и исхудалым щекам. Но вдруг сделав над собой усилие, она быстро смахнула их платком и сказала Санси:

— Надо действовать, а не плакать. Я иду предупредить Роевых о постигшем их несча-

стье!

— Да, да! Надо действовать! Это верно! — согласился Санси, словно очнувшись от сна. — И мне надо собираться в дорогу с такой же печальной вестью.

Анюта накинула на голову кисейную козыночку — тогда еще шляпок не носили, — взяла в руки зонтик и, поцеловав бабушке руку, пошла молча с Санси.

Старушка долго смотрела на дверь, через которую они вышли, затем, тяжело вздохнув, принялась снова за свою корпию. «Кому-то она достанется? — думала она. — Но кому бы ни досталась, пусть хоть немного облегчит страдания несчастного и ускорит его выздоровление. „Много корпии надо, ох много!“ — припомнились ей слова ее честного, любящего сына, добровольно отправившегося под ядра неприятеля, чтобы облегчить, чем возможно, участь несчастных раненых. Благодарю Тебя, Создатель мой! — молилась она. — Тебя, даровавшего мне такого сына. И да будет над ним воля Твоя!»

На следующее утро Анну Николаевну Роеву вывели под руки на крыльцо, чтобы поса-

дить в дорожный тарантас. Она едва передвигала ноги, опираясь на руку Санси. Возле нее шла Прасковья Никитична, низко опустив голову. Лицо ее сильно осунулось за эти сутки, но она не плакала, а по временам только нервно вздрагивала.

Старушка Роева, машинально двигавшаяся вперед, вдруг словно очнулась от тяжелого сна, обвела все вокруг себя мутными глазами и тревожно спросила невестку:

— А что, Пашенька, не опустились ли подушки? Ровно ему лежать будет?

— Я только что осмотрела подостланное, — отвечала Прасковья Никитична таким глухим, словно надтреснутым, голосом. — Анята так хорошо помогла зашить в ковер подушки, что они служат продолжением сидения в тарантасе. А наверх мы положили перину. Он будет лежать, точно на кровати. Вот вы сами увидите!..

Анна Николаевна не сказала больше ни слова и стала так осторожно усаживаться в тарантас, словно на подостланном уже лежал ее раненый сын.

— Осторожней! Не изомни постель, а то

Николушке худо лежать будет! — говорила она невестке, хотя та, садясь, и не дотронулась до настланного.

Лишь только Санси усадил Роевых, тотчас и сам вскочил в свою кибитку, запряженную тройкой, и поехал вслед за ними. Ему было ехать с ними по пути верст с двадцать.

День выдался пасмурный, дождливый. Черные тучи заволокли небо, и оно казалось свинцовым. О веселых хороводах и помину не было. Все, кто встречался, торопливо шагали к большой Московской дороге навстречу раненым. Чем дальше они двигались, тем гуще становилась толпа.

В тарантасе было так тихо — как в могиле. Обе ехавшие молчали. В голове усталой старушки бродили некие неясные мысли: ей представлялось большое поле и везде — тела убитых, изувеченных людей и потоки крови... человеческой, дымящейся крови... И между этими трупами — ее сильный, здоровый Николаша, который никогда не знал никакого недуга... Ах! Хоть бы скорее увидеть его! Жив ли он? Лишь бы только довести его до дома, а там уж она выходит его, не даст

ему умереть!.. И вдруг вспомнилась ей генеральша Тучкова: один сын ее взят в плен, другой тяжело ранен, третий убит... а Елена Яковлевна не менее ее любит своих детей. Господи Боже мой, неужели и моего возьмешь Ты Николеньку? Помилуй ради его малюток, не оставляй их сиротами. Николаша, сын мой! Жив ли ты?..

Последние слова она произнесла вслух и так громко, что кучер повернулся и спросил:

— Что-с, матушка барыня?

— Ничего, ничего, Тарас. Погляди, не видать ли повозок с ранеными?

— Будто из лесу что-то выезжает! Вон там!.. — указал он кнутовищем вдаль.

Старушка высунулась из тарантаса и впи-лась глазами в эту мглистую даль.

— Нет, матушка барыня, не они! — покачал головой кучер. — Это везут какую-то кладь. Вон взглядитесь. Всё телеги.

Но старушка ничего не видела. Сердце ее забилось так болезненно, такими резкими и неритмичными толчками, что она принуждена была откинуться в глубь кибитки. Но вот, после усиленного биения сердца, оно словно

замерло, и она впала в легкое забытие. И кажется ей, будто она в деревне. Чудное лето! Она с Григорием Григорьевичем сидит на широком крыльце, выходящем в сад, тут же играет ее маленький Николушка, он ведь один и был у нее всегда, других детей у нее не было...

— Я буду офицером, папа! — говорит вдруг Николушка.

— Где тебе, трусишке, быть военным! — смеется отец. — Недавно бычка годовалого испугался... А помнишь, как мыш, копошившюся в сене, ты принял за змею? А дворняжку Жучку — за волка?..

— Я вырасту большой, ничего не буду бояться! — говорит решительно Николушка. — Я стану офицером и храбро пойду в бой!..

— Так я и пущу тебя на войну! — говорила она тогда ему с такой уверенностью, будто от нее одной зависело будущее.

И вот она наказана за свою тогдашнюю самоуверенность: и в военную службу сына не пустила, как он ни просился, а все-таки ему пришлось на войне быть раненому. Видно, Господу так угодно.

Прасковья Никитична все это время сидела то вжавшись в уголок тарангаса, то высунувшись, тревожно всматриваясь вдаль. На нее страшно было сейчас смотреть: в лице ни кровинки, черные глаза блестели каким-то лихорадочным огнем, запекшиеся губы были сжаты, и две глубокие морщины залегли на высоком ясном лбу.

Ни одной цельной мысли не проходило у нее в сознании, а все являлись какие-то отрывочные, тревожные воспоминания, мелкие, сиюминутные заботы. Ей все казалось, что она забыла что-то нужное, весьма нужное... и она старалась вспомнить и не могла... что-то ей надо приготовить для мужа, но что?.. Как-то его довезут? Должно быть, сильно изменился... рана очень болит, а тут еще эта тряска на разбитой донельзя дороге. Каждый толчок отдается в ране... У нее в детстве нарывал палец. Когда они ездили на богомолье, было очень больно от каждого сотрясения. А у него рана посерьезней! Страшная боль должна быть!.. Скорее, скорее бы довели. Дома ему будет спокойно. Она не отойдет от него, будет сидеть рядом и днем, и ночью... лишь бы

только довести его живого!.. Неужто же он умрет! Нет, быть такого не может! Она его так горячо любит!.. Но и Маргарита Михайловна Тучкова любила так же своего Александра Алексеевича, а он убит... Нет, не надо думать об этом. Вот уже скоро-скоро она увидит его.

И она в двадцатый раз высовывается из тарантаса и пристально всматривается вдаль. Вот что-то показалось из-за поворота дороги...

Боже! Это поезд раненых!..

— Тарас, голубчик! — кричит она кучеру. — Ступай скорее! Видишь, барина везут!

Тарас сам уже увидел кибитки. Сердце в нем так и екнуло. Он каким-то сурово глухим голосом крикнул на лошадей, и те помчались. Но Санси все-таки обогнал их.

Обе женщины замерли, глядя в эту туманную, дождливую даль, в которой еще неясно вырисовывались кибитки с кожаным верхом, медленно и мерно двигавшиеся к ним.

Вот уже Санси поравнялся с первой кибиткой. Он заглянул в нее и снова спрятался: значит, Николушка не тут... Вот Санси снова высунулся, машет кучеру остановиться, выскакивает, бросается к кибитке, нагнулся над

кем-то: здороваются ли с живым или прощаются с мертвым?..

Вот наконец их неповоротливый тарантас поравнялся с поездом. Прасковья Никитична выскакивает и опрометью бросается к кибитке.

Старушка от волнения не может двинуться, некому помочь ей выйти из экипажа. Тарас точно окаменел на козлах, свесился и смотрит на кибитки раненых и не слышит, что его зовут. Проходят так несколько секунд, а ей кажется, прошли целые часы, и никто-никто не идет сказать ей, что там, в этой кибитке, к которой прильнула молодая ее невестка.

Но вот бежит Санси и машет ей весело фуражкой.

— Жив, жив! — кричит он. — Несильно ранен...

Он помогает ей выйти из кибитки.

Анна Николаевна разрыдалась от счастья и все твердит, крестясь:

— Благодарю Тебя, Господи Боже мой! Услышал Ты слезные моления матери. Сохрани мне моего сына, мое единственное дети-

ще!

Вот и она, наконец, возле сына, обнимает его дрожащими руками, целует и крестит. Раненый так устал от боли и дорожной тряски, что едва отвечает на ее ласки и не хочет дозволить перенести себя в свой тарантас.

— Тут мне лежать удобнее! — шепчет он глухим, хриплым, слабым голосом.

— Да мы подушки наложили в тарантас! — уговаривает его мать. — Подушки в уровень с сиденьем, а поверх — перина.

— Не задерживайте поезда с ранеными! — строго кричит доктор, выскакивая из одной из кибиток. — Видите, дождь усиливается.

— Мы желаем взять одного из раненых к себе в экипаж, — говорит старушка. — А он не хочет дозволить перенести себя.

— Кто это?

— Николай Григорьевич Роев.

— А!.. Его рана не опасна. Его легко перенести. Но хорошо ли у вас устроено все, чтобы положить его?

И, не дождавшись ответа, доктор зашагал к тарантасу и стал осматривать постланное.

— Э! Да вам, милейший, будет тут как в ко-

лыбели! — говорит он весело раненому. — Давайте-ка мы вас перенесем в тарантас. Не будет больно, не беспокойтесь!

Николай Григорьевич соглашается, его помещают возле матери и жены на мягкую пуховую постель.

Ему хорошо, и он впадает в тихое полусонное состояние: на душе легко, отрадно чувствовать себя среди близких. Но вместе с тем у него такая страшная усталость во всех членах, что еще приятнее протянуться на мягкой подстилке.

И он дремлет под любящими взорами жены и матери, убаюканный мерным движением тарантаса.



Глава XVI



С е в Москве пришло в движение после Бородинской битвы. По улицам ее потянулись повозки с ранеными. Московский градоначальник, граф Растопчин, писал в своих афишках:

«Сюда раненых привезли; они лежат в Головинском дворце. Я их смотрел, накормил и спать уложил. Ведь они за вас дрались, не оставляйте их: посетите и поговорите. Вы и колодников кормите, а это государевы верные слуги и наши друзья. Как им не помочь!».

Москва единодушно откликнулась на этот призыв. Все старались побывать в Головинском дворце. Многие плакали при виде тяжелых страданий раненых. Купцы целыми лотками отправляли во дворец калачи и разные припасы.

Молодого Роева не было в числе этих раненых.

ных. Он после сражения под Бородиным был переведен из ополчения в строй, участвовал в стычках при отступлении наших из Можайска и был ранен в ногу в деле двадцать девятого августа под селом Крымским. Рана его не была опасна, но его приводила в содрогание мысль, что и его могут оставить в числе раненых при отступлении наших войск, и он упросил доктора Краева отпустить прямо в Дмитров всех раненых, семьи которых находились в этом городе. Краев тем охотнее согласился на это, что один из его помощников, молодой лекарь, был слегка ранен в руку и не мог ему помогать более при операциях и перевязках, но чувствовал себя настолько бодрым, что ему вполне можно было доверить транспорт раненых, так как под его наблюдением прислуга могла перевязывать им раны в дороге.

Григорий Григорьевич Роев не знал ничего о случившемся; он несколько раз осведомлялся, нет ли его сына среди раненых ополченцев, но получал отовсюду один ответ, что после битвы под Бородиным Николай Григорьевич остался жив и невредим и зачислен офи-

цером в один из полков, пополненных ополченцами. Старику Роеву и в голову не приходило, что после битвы под Бородиным нашим пришлось выдержать еще немало стычек с французами, а под Крымским имело место даже весьма жаркое дело.

Успокоившись насчет сына, Григорий Григорьевич весь отдался общему настроению Москвы, в которой ходили слухи, один другого грознее, относительно приближения к Москве Наполеона. Граф Растопчин старался успокоить встревоженных жителей и писал:

«Злодей приближается к святыням московским, но войско наше отстоит Белокаменную, не то мы все соберемся в дружину, выйдем на Поклонную гору, станем стеною: грудью загородим дорогу супостату к дому Пресвятой Богородицы!».

На Поклонной и Воробьевых горах возводились тогда укрепления, хотели дать тут большое сражение, и все русские войска двигались от Бородина к Москве. Известный историк Николай Михайлович Карамзин, говоривший прежде, что следует нам уступить и

не тягаться с Наполеоном, готовился сам идти на Поклонную гору отстаивать грудью древнюю православную столицу. Каждый готов был скорее умереть, нежели видеть торжество Наполеона и быть свидетелем, как он станет хозяйничать в России, как хозяйничал в других государствах Европы.

В самый день Бородинской битвы приехал из Вифании в Москву семидесятилетний больной митрополит Платон. Еще за год до того он передал управление епархией своему викарию преосвященному Августину, а сам удалился в Вифанию, но, узнав о бедственном положении Москвы, явился в нее, чтобы ободрить упавших духом москвичей, и намеревался явиться на Поклонную гору и благословить воинов на защиту города.

Все, кто чувствовал в себе силу бороться с неприятелем, готовились выйти в назначенный день на Поклонную гору. Все запасались каким только могли оружием, а некоторые и лошадьми, чтобы можно было им примкнуть к коннице. В числе этих смельчаков был и Григорий Григорьевич Роев. Он хотел идти со всеми приказчиками и прислугой Соляного

двора — биться за первопрестольную до последней капли крови.

В это время русские войска стояли уже в нескольких верстах от Поклонной горы. Растопчин писал тридцатого августа:

«Вы, братцы, не смотрите на то, что присутственные места закрыли: дела прибирать надо. А мы своим судом со злодеем разберемся. Когда до чего дойдет, мне надобно будет молодцов и городских, и деревенских; я клич кликну дня за два, а теперь не надо, я и молчу! Хорошо с топором, недурно с рогатиной, а всего лучше вилы-тройчатки: француз не тяжелее ржаного снопа!».

Но все предположения эти разлетелись в прах, когда Кутузов осмотрел Поклонную и Воробьевы горы, на которых собирались дать сражение. Эти возвышенности отлоги с той стороны, с которой должен был наступать неприятель, и очень круты к стороне Москвы, а за ними тотчас протекает Москва-река. Проймай мы сражение, и войска наши сброшены были бы с кручи прямо в реку.

Кутузов созвал военный совет в деревне

Филях, в двух верстах от Москвы, и решил, что защищать Москву на этих горах нет никакой возможности. На этом совете присутствовал и московский градоначальник граф Растопчин и нашел, что Кутузов прав.

Первого сентября в то время, как решено было в Филях отступить за Москву, в самой Москве народ наполнял Успенский собор. День был воскресный, и службу совершал преосвященный Августин. После обедни народ толпой повалил к арсеналу запасаться оружием, чтобы идти, как тогда говорили, на *три горы*[4]. К вечеру все затихло: большинство ушло за Драгомиловскую заставу присоединиться к нашим войскам, стоявшим лагерем на высотах около Москвы; остальные разошлись по домам и заперлись в ожидании чего-то грозного, страшного.

Григорий Григорьевич, как и все, не сомневался, что сражение будет дано, и ждал повестки от графа Растопчина.

После отъезда Анны Николаевны он велел все оставшиеся громоздкие вещи снести в средние сараи, установить по задним стенкам, замуровать их и заложить кулями с со-

лью. Чего только не было там припрятано: сундуки с бельем, ящики с посудой, несколько цыбиков чая, целые десятки пудов сахара головами, зеркала, ковры, подушки, перины и мебель. Большая часть прислуги, в том числе и все женщины, уехали в Дмитров, а при Роеве остались только подкучер, здоровенный Аксен, да широкоплечий силач лакей Прокофий; они решились идти вместе с приказчиками и барином на три горы.

Стемнело. Григорий Григорьевич собирался уже лечь спать, как вбежал встревоженный Аксен и объявил, что пришел служка от ключаря.

Роев велел позвать его к себе.

— Что нового? — спросил он, когда вошел служка.

— Пропали мы, грешные! — заохал служка. — Москву, вишь, сдаем...

— Что ты! Не дослышал, что ли?

— Как не дослышать! Отец-ключарь явственно приказывал: «Беги, Игнат, оповести Григория Григорьевича, чтобы уезжал скорее из Москвы... Мы во Владимир этой ночью бежим». Уже из Успенского собора, — добавил

служка, — чудотворную икону Владимирской Божьей Матери вынесли, а Иверскую — из часовни у Воскресенских ворот. Уж и в карету поставили...

— Не может такого быть! — воскликнул вне себя Роев. — Что же войско наше и все те москвичи, что на горы ушли?

— Един Бог ведает, что там! Только, видно, Москве не сдобровать, коли уж чудотворные иконы увозят.

— Где же митрополит?

— Преосвященнейшего владыку едва уговорили вчера вечером уехать. Стоит святитель на своем да и только: «Не оставлю московских святынь, умру вместе с москвичами! Что мне французы сделают? Как оставить мне раненых без защиты и помощи?». Так его, владыку, поверите ли, чуть не силой в карету посадивши, повезли в Вифанию.

— Да что же, право! — кипятился Роев. — Ушам просто своим не верю! Неужели уезжать?..

— Уж вы, батюшка Григорий Григорьевич, как там хотите, а мне надо в монастырь поспешать.

Роев приказал благодарить отца-ключаря и подал гривенник службе.

— И что вы, батюшка! — сказал тот. — На что мне сие? И допрежь сребролюбцем не бывал, а нынче и не те времена, чтобы деньги копить!

Лишь только служба вышел, Роев велел Аксену закладывать пару лошадей в беговые дрожки, а Прокофию — укладывать все самое необходимое в дорожный мешок.

— Если хочешь, Прокофий, — говорил он ему при этом, — так уходи из Москвы, я сам еду в Дмитров, а не то оставайся тут с служителями и приказчиками.

— Уж коли ваша милость будет, — отвечал Прокофий, — дозвольте мне тут остаться. Может, еще пригожусь на что, коли наши супостата бить станут.

— А жену молодую оставить не жаль?

— Как не жаль! Да вишь, сударь, времена какие! Коли сложу голову, уж вы мою Анисью не оставьте.

Через час Григорий Григорьевич, осмотрев замки магазинов и забрав с собой ключи от них, направился по Москве к Сухаревой баш-

не, едва пробираясь по улицам, запруженным людьми и повозками.

Ночь осенняя была пасмурна. Пробирааться впотьмах — составляло немалый труд. А толпы становились все гуще и гуще... Кто едет в карете, кто верхом, кто ребяташек с собою в телеге везет. Тут корову ведут, здесь козел упирается и рвется из рук; клетки с курами привязаны к повозкам. Кто один пробирается, кто целой семьей. Крики, плач, перекличка, громкий, отчаянный призыв затерявшихся и отставших стоном стоят в воздухе...

Вся эта суматоха отвлекла Григория Григорьевича от неотвязных дум.

«Что будет с Россией? Неужели Москву разорит враг? Где-то Николушка? Что будет с войском?..»

Он и не подозревал, что в это время его Николушка едет тоже в Дмитров, но в повозке раненых.

Вдруг Аксен свернул в переулок и остановил лошадей.

— Что ты это? — спросил Роев.

— Нешто вы, сударь, не заметили! — отвечал тот. — Полиция из города выбирается, а

с нею и пожарные уезжают. Так тут поневоле свернешь. Того и гляди — задавят. Пусть пройдут, тогда и мы дальше двинемся.

И точно, взглядевшись, Григорий Григорьевич увидел длинный поезд полицейских с фурами и пожарной командой.

— Они, вишь, и все-то ночью, — продолжал Аксен. — Казенное имущество вывозят. Уж которую ночь разные казенные повозки тянутся: все норовят, чтобы народ не приметил; все тишком да молчком, а теперь вот уж и сами из Москвы поплыли. Ишь ты, народ-то как вдруг заорал! — добавил он с укоризной в голосе. — Обрадовались неурядице. Креста на них нет! Каторжные: пьют и гуляют в то время, как враг под стенами города...

У Григория Григорьевича сердце екнуло при этих неистовых криках. Он понял, что пьяницы разбили кабаки и гуляют, буйствуют.

Страшная ночь! Трудно себе представить все ужасы ее! Пьяная ватага врывалась в дома, безнаказанно грабила и буйствовала... Стало светать, а Роев все еще не выбрался за заставу; то и дело казенные обозы заставляли

всех приостанавливаться, а кто не хотел слушаться, того хлестали по чему попало.

В это время через Драгомиловскую заставу уже въезжал в Москву обоз русских войск, а за ним двигалась кавалерия, потом — ополчение. Солдаты не верили, что уступают Москву без боя.

— Идем в обход! — говорили они. — Нагрянем внезапно на супостата.

Но вот солнце осветило весь беспорядок на улицах Москвы, и солдаты наконец поняли, что первопрестольной уготована участь Смоленска.

— Убегаете? — кричали им пьяные. — Ишь! Воинами прозываются, а не могут нас отстоять! Да куда им!.. Когда сам владыко святой покинул нас. Пропадай наша головушка!

Солдаты сумрачные, глубоко оскорбленные тем, что отступают без решительного боя, который был обещан под Москвой, молча двигались по опустевшим улицам, мимо разбитых кабаков и ограбленных ворами домов. Вот они уже в центре города. Купцы зазывают их в лавки и просят брать даром все, что кому приглянется.

— Пускай лучше наше добро достанется своим, чем французам! — слышалось со всех сторон.

— Недаром говорят старики, что понедельник — тяжелый день, — сказал один из купцов. — За всю жизнь нашу не забыть нам сегодняшнего понедельника!..

— Несдобровать и нехристям на понедельничьем новоселье в Москве! — заметил другой. — Я первый подожгу свою лавку. Пусть все пропадает, лишь бы не досталось французам.

— Пусть обожжется на новоселье! — добавили сумрачно несколько голосов.

— Подавись он, проклятый! — охнул старик, махнув рукой.

И старческие слезы потекли по седой бороде при виде всего добра, так долго и с таким трудом им накопленного. Каждую партию товара он покупал так обдуманно, толково — товар все прочный, нелиняющий... И все это достанется супостату? Как бы не так!..

— Берите, братцы, что кому нужно! Остальное своей старческой рукой подожгу.

В восемь часов утра подъехал к Драго-

миловской заставе Кутузов. В это время уже все улицы до того были запружены войсками и повозками обоза, что ему невозможно было пробраться без помехи, и он обратился к окружающим с просьбой:

— Кто из вас хорошо знает Москву, пусть проведет меня такими улицами, где сейчас мало народа.

Его вызвался сопроводить ординарец князь Голицын, и они оба направились верхом по бульварам к Яузскому мосту. На мосту распоряжался граф Растопчин и с нагайкой в руке старался разогнать народ, загромаждавший путь артиллерии.

В числе войск, проходивших через Москву, находился и Дмитрий Иванович Бельский. Он был один из счастливцев, отделавшихся в кровопролитной битве лишь легкими царапинами, но душа его была смертельно ранена приказом отступить за Москву. Как и многим, ему казалось лучше всем разом погибнуть в доблестной схватке с неприятелем, чем уступить французам Москву — сердце России. Жгучей тоже болью отдавалась у него в сердце мысль о жене и ее близких.

«Где она теперь? Успела ли уехать?..»

Последний раз она писала ему, что они все еще в Москве, так как старуха Роева затягивает сборы, чтобы по возможности дольше не расставаться с сыном. Вот уже две недели, как он получил это письмо, и ничего более не знает о них.

«Что если они не успели еще выехать из Москвы?»

Мысль эта так неотвязно тревожила его, что он, наконец, не вытерпел и попросил своего полкового командира позволить ему заехать на Соляной двор.

Получив разрешение, он стал пробираться к Варваринским воротам, встречая всюду беспорядок и бесчинства. Кабаки были разбиты, и напившиеся мужики продолжали буйствовать и безобразничать. Один пьянчужка, чтобы унести побольше водки, привязал по штофу к каждому пальцу. Не успел он пройти нескольких шагов, как другой стал отнимать у него добычу; пьянчуга не отдавал и, чтобы отогнать пристававшего, ударил его штофом по лицу. Стекло разбилось, водка пролилась и смешалась с кровью пострадавшего. После се-

го началась беспощадная драка.

Добравшись кое-как до Соляного двора, Бельский нашел наружные ворота закрытыми, караула при них более не было и, как он ни стучал, никто не показывался. Но вотбрякнуло оконце в сенях, и высунулась курчавая голова Прокофия.

— Что вам угодно, барин? — спросил он.

— Не знаешь ли, любезный, куда уехали госпожа Роева и ее двоюродная сестра, госпожа Нелина, с дочерью?

— А вы кто, сударь, будете?

— Да ты что! За француза, что ли, меня принял? — крикнул с досадой Бельский. — Русского мундира не признал?

— Так-то так, сударь! Да, вишь, супостат-то хитер. Так, не зная, кому отвечаешь... сумнительно!

— Я Дмитрий Иванович Бельский! — сказал более мягким тоном муж Ольги, находя, что слуга выказывает только преданность своим господам, не посвящая каждого в то, куда они уехали.

— Ах, батюшка Дмитрий Иванович! Так это вы! А уж Ольга-то Владимировна как о вас

сокрушается. Моя жена — Анисьей ее зовут — ей в услужение приставлена. Так рассказывала мне, как только станет-то она, Ольга Владимировна, молиться, так все слезами обливается... А что насчет всего прочего — не сомневайтесь, сударь, все они здравствуют и живут беспечально в городе Дмитрове, в доме молодого барина Николая Григорьевича... Вы, чай, его видали в войске: ведь он в ополчение ушел... наш-то Николай Григорьевич! Да что это я, сударь, вам балясы точу, а не зову вас в дом отдохнуть. Я мигом отомкну ворота, пожалуйста!

— Не надо, не надо, любезный! Не беспокойся!

— Как можно-с не отдохнуть! А у нас и закуска осталась... Старый-то барин в ночь уехать изволили. А то все тут проживали. Всего съестного много осталось. Водка сладкая, преотменная!..

— Спасибо, любезный! Некогда!.. Увидишь господ, скажи, что я заезжал о них проведать. Кланяйся им от меня. А я сам, как видишь, жив и здоров.

— А что это у вас, сударь, осмелюсь спро-

силь, рукав распорот да рука перевязана? Ранены, видно?

— Так — вздор, царапина! Жене об этом не проболтайся. Подумает, что и впрямь ранен. Скажи, что я совсем здоровый. Прощай!

И Бельский, повернув коня, пустился догонять свой полк.

Но это не так-то легко было сделать, как он предполагал. И пришлось ему долго разъезжать, голодному, отыскивая сначала свою роту, а затем денщика с вещами и провизией.

Когда ему удалось утолить голод холодной закуской, было уже за полдень.

Кутузов сидел на скамье возле старообрядческого кладбища и наблюдал за войсками, располагавшимися по обеим сторонам дороги.

Первый раз войска проходили молча мимо своего любимого полководца, не приветствуя его обычным «ура!».

Он вполне понимал их справедливое негодование, болел сам душой о Москве, но стоял твердо на своем решении не защищать ее.



Глава XVII



Огретый несколькими глотками вина, Этьен ожил и тревожно следил за огоньком в фонаре монаха; он ждал с нетерпением, когда Тучкова снова подойдет к нему. Становилось все холоднее и холоднее, и лихорадка его усиливалась от ночной сырости. Стоны и вздохи раненых и умирающих мучительно отзывались у него в сердце. Он собрался с силами, прополз несколько шагов, снял плащ с одного из убитых и завернулся в него с головой, чтобы не видеть и не слышать всех мучений его окружающих. Он пролежал так с полчаса, все еще надеясь, что Тучкова вернется и расскажет ему о его отце. Но минута проходила за минутой, время тянулось бесконечно, как это обыкновенно кажется тем, кто страдает или ждет чего-то с мучительным нетерпением. Он, наконец, сдернул плащ с головы и, к своему отчаянию, не увидел более ни фонаря, ни

стройной фигуры Тучковой: всюду была непроглядная тьма. Шел мелкий холодный дождь, и сквозь него едва мерцали вдали огоньки в русском лагере. По топоту коней и отрывочным звукам команды он понял, что конница готовится к выступлению.

Тщетно осматривался Этьен вокруг. Его путеводная звездочка исчезла. Ему стало невыносимо грустно, он опустил голову на грудь и замер в тупом отчаянии. Вдруг слева от него послышался гул тронувшейся с места артиллерии. Обычные, знакомые звуки, но при расстроенных его нервах грохот этот показался ему чем-то диким, зловещим; он приподнялся, опершись на локоть, и стал прислушиваться, не давая себе отчета в том, отступают ли русские или двигаются вперед его соотечественники. Гул орудий становился все явственнее, и вдруг Этьен, к своему ужасу, понял, что артиллерия двигается в его сторону.

Собрав последние силы, он пополз к оставленной батарее, чтобы спастись у ее укрепления от страшной, неминуемой смерти, двигавшейся на него с этим ужасным грохотом и со скрипом цепей. Ему не удалось, однако, до-

ползти до укрепления, силы изменили ему, и он упал замертво на тело одного из убитых. Он очнулся от близкого топота коней, открыл глаза и к своему удивлению, увидел, что солнечный свет сменил уже ночную тьму, и к нему подъезжает передовой отряд французского авангарда. Товарищи его проезжали так близко, что он мог разглядеть лица их, и, приподнявшись насколько мог выше, стал просить о помощи, но слабый голос его терялся в топоте лошадей и бряцанье оружия, и никто не обратил на него внимания.

Вот проезжает Ксавье и с обычной своей хвастливостью указывает на укрепление, видно, похваляется своими подвигами. Его товарищи смеются, но повернули головы в указанную им сторону... Терять времени нельзя, Этьен поднимается и отчаянно призывает своих.

Его услышали. Несколько солдат из его взвода выдвигаются из строя, чтобы приблизиться к нему, но в эту минуту полковник командует: «Рысью!», и все проносятся мимо, словно в каком-то сновидении. Этьен, потеряв всякую надежду на спасение, падает в из-

неможении на землю.

Много, много проходит мимо него войск. Все они двигаются по дороге к Москве, а он должен умереть тут!.. Неужто не подберут раненых? Куда это все они торопятся?

Во рту у него пересохло, жажда начинает снова мучить его, он вспоминает о фляжке. Несколько глотков вина подкрепляют и успокаивают его.

Вот снова показываются всадники. Это его начальник генерал Себастиани едет со своим штабом. Он тихо двигается, указывая окружающим то в одну, то в другую сторону. Видно, толкует с ними о бывшем деле. Этьен лежит неподвижно, он не хочет даром терять силы и старается еще проглотить несколько капель вина, оставшихся в его фляжке.

Но вот Себастиани останавливается в нескольких шагах от него и, протянув руку, указывает на укрепление.

«Разве еще раз попытать счастья?»

Этьен снова приподнимается и зовет, но с его запекшихся губ слетает лишь стон.

— Много полегло тут наших! — говорит Себастиани. — Дрались они, как львы! Жаль мо-

лодцов!

— Неужели не подберут раненых? — спрашивает молодой адъютант.

— Оставлен для этого маршал Жюно, — отвечает ему кто-то. — Уже по его распоряжению начали подбирать их. Лазареты для них устроены в монастыре и в ближайших деревнях. Но раненых тут такая масса, что, вероятно, многие умрут прежде, чем их успеют поднять.

— Помогите! — простонал Этьен, которому вино придало немного силы.

— Слышите, кто-то просит о помощи? — спросил молодой адъютант.

— Тут не один, кому нужна скорая помощь! Война этим и ужасна!

В это время к Себастиани подскакал генерал Росетти и быстро доложил:

— Его величество король Неаполитанский велел двигаться вам как можно скорее. Император приказал во что бы то ни стало вытеснить русских из Можайска и устроить там главную квартиру.

Себастиани сурово глянул на Росетти и отвечал как-то нехотя:

— Я уже отдал приказание своим идти быстрее.

Росетти повернул лошадь и, чтобы проехать поудобнее, взял правее и так близко был от Этьена, что его лошадь чуть не наступила на него. Этьен застонал. Росетти склонился поглядеть, не задела ли лошадь раненого, и узнал Этьена.

— А!.. Это вы, наш бессмертный! — сказал он ему. — Не ушли-таки от пули! Видно, опять придется кому-нибудь взять вас на лошадь, если вы только в состоянии держаться...

— Нет, я не в силах!.. — простонал Этьен.

— Плохое дело! Но я скажу, однако, нашему доктору. Он велит вас скорее подобрать и отнести в монастырь.

Слабый луч надежды блеснул в усталой голове Этьена. Он устроился поудобнее и принялся терпеливо ждать.

Много прошло мимо него войска, все это были большей частью знакомые полки, с которыми он не раз бывал в деле. Все они двигались на рысях, несмотря на то, что лошади их были сильно изнурены.

Вот и сам король Неаполитанский. На

солнце его пышная одежда блестит еще ярче, и перья красиво развеваются на легком ветерке. Ему что-то говорит Росетти. Мюрат одобрительно кивает и направляется прямо к Этьену.

— Ранен, мой храбрый! — кричит он ему еще издали. — Счастье твое, что генерал Росетти увидел тебя. А то тут столько полегло наших, что за их трупами не разглядишь и раненых!.. Я велел своему доктору обратить на тебя внимание. Ты стоишь того, чтобы тебя вылечили. Поедешь в моем обозе!

И вот благодаря такому высокому заступничеству Этьен не был оставлен под Бородиным, где раненые французы умирали больше от голода и недостатка самого необходимого, чем от ран. Его положили в удобную повозку и повезли в обозе Мюрата.

Французский авангард подошел к Можайску в пятом часу пополудни и тотчас открыл сильный огонь из орудий, но не смог в этот день вытеснить русских из города.

На следующий день, двадцать восьмого августа Мюрат снова повел своих в атаку, но к этому времени обе русские армии уже ото-

шли в полном порядке к Землину и только арьергард и Платов со своими казаками продолжали удерживать Можайск, как это было предписано им Кутузовым, желавшим, чтобы город не сдавали как можно дольше. Мюрат, однако, ворвался в Можайск прежде, чем успели вывезти всех русских раненых, которых было там более шести тысяч. Все они были спокойно размещены в госпиталях и частных домах. Мюрат распорядился положить тут же своих раненых и отправился далее.

Этьена поместили самым удобным способом и окружили всевозможными попечениями. Он с наслаждением вытянул свою раненую ногу на мягкой постели, принял лекарство от бившей его лихорадки и сладко заснул.

Вдруг он был разбужен страшными воплями. Оказалось, что стали подвозить столько его соотечественников, раненых под Бородиным, что не хватало для них места, вследствие чего французы стали выбрасывать на улицу русских раненых и класть на их место своих.

Поднялись страшные стоны и душеразди-

рающие крики несчастных, только что отдохнувших после мучительных операций. Но сердца людей огрубели от постоянного вида крови, ран и всевозможных страданий, и французские фельдшера и лазаретная прислуга, безжалостно вытаскивая вон русских раненых, укладывали своих. Этьену противны стали все удобства, которыми он был окружен; он готов был лежать и лечь с этими несчастными, лишенными крова и мягкой подстилки, но рана его за переезд и после сделанной ему операции так разболелась, что он не мог двинуть ногой, не только сойти с кровати, и только просил доктора и фельдшеров пощадить несчастных страдальцев. Те сурово выслушали его просьбу и обратили на нее не более внимания, чем на бред больного.

В это время Мюрат вел кровопролитное сражение с русскими под селением Крымским и, овладев им, стал продвигаться к Москве.

Кутузов, недовольный тем, что Платов не удержал Можайска, пока не вывезли оттуда наших раненых, велел ему передать начальство над арьергардом генералу Милорадови-

чу и приказал тому удерживать неприятеля как можно упорнее, дабы дать возможность нашему войску отступать в должном порядке.

Лучшего начальника для арьергарда нельзя было выбрать. Милорадович был настолько же известен во французской армии, как у нас Мюрат. Красивый, одетый в походе словно на параде, при всех орденах, с высоким пером на шляпе, он, подобно Мюрату, являлся всюду, где мог встретить лицом к лицу опасность. О нем говорили: «Кто находится при Милорадовиче, тому нужно иметь две жизни: одну свою, другую — запасную». Сам он, как и Мюрат, никогда не был ранен. Всегда веселый, неутомимый, первый в огне, последний на отдыхе, он внушал войскам отвагу своим бодрым видом и умением говорить с солдатами. Чем тягостнее становились обстоятельства, тем более обнаруживал он свою природную живость, тем веселее шутил с окружающими.

Милорадович удерживал колонны передовых войск Мюрата чем только возможно. Он, подобно Платову, уничтожал верстовые столбы, разбираал мосты, сжигал даже целые селе-

ния, чтобы не дать французам двигаться безостановочно и кормить по пути людей и лошадей.

Но Мюрат, несмотря на все чинимые препятствия, быстро продвигался вперед, и, когда наши армии стали отступать через Москву, он был уже всего в двенадцати верстах от нее.

Наполеон, переночевав в селе Вяземе, в сорока верстах от Москвы, выехал второго сентября, на заре, вместе с Бертье в карете, но, доехав до глубокого оврага, мост через который был сожжен русскими, принужден был ехать далее верхом. Не доезжая верст двенадцати до Москвы, он встретил Мюрата. Наполеон говорил с ним более часа и велел ему идти к Москве безостановочно, а сам, наскоро пообедав, двинулся тоже со свитой за своим авангардом.

Король Неаполитанский пребывал в самом хорошем расположении духа. В блестящей одежде, окруженный многочисленной свитой, он только что велел своим передовым колоннам ударить на русский арьергард, как полковник первого конно-егерского полка до-

ложил ему, что от Милорадовича прислан парламентарем штабс-ротмистр лейб-гусарского полка Акинфов.

— Ведите его сюда! — поторопил Мюрат и приказал своей свите удалиться.

Он приподнял шляпу в ответ на поклон Акинфова, затем, положив руку на шею его лошади, спросил:

— Что скажете, капитан?

Акинфов подал ему записку, присланную из главного штаба, и заявил на словах, что генерал Милорадович требует приостановить движение французских колонн и дать русским время пройти через Москву; в противном случае будет драться до последнего человека и не оставит в городе камня на камне.

Прочитав письмо, Мюрат сказал:

— Напрасно поручать больных и раненых великодушию французских войск: мы в пленных не видим врагов. Но приостановить движение войск не могу без разрешения самого императора.

Однако, поговорив еще с Акинфовым и убедясь, что Милорадович твердо решил не впускать французов в Москву, пока не прой-

дут через нее все русские войска, он задумался.

«Что, ежели с Москвой то же будет, что со Смоленском, и, вместо спокойного отдыха в столице, войскам придется искать убежища и продовольствия вне стен ее! Войска истощены до крайности, люди и лошади падают от усталости...»

— Я готов, — согласился он, — двигаться к городу так медленно, как этого желает генерал Милорадович, но с условием, чтобы Москва сегодня же была занята нашими войсками.

— На это его превосходительство, вероятно, будет согласен, — отвечал Акинфов.

Мюрат тотчас же послал в передовую часть приказание остановиться и прекратить перестрелку с русскими.

— Знаете ли вы Москву? — спросил он у Акинфова.

— Я московский уроженец! — ответил тот.

— Прошу вас, — продолжал Мюрат, — уговорить москвичей оставаться в городе: мы не только не сделаем им никакого вреда, но и не возьмем с них ни малейшей контрибуции и

будем всячески заботиться об их безопасности. Но не оставлена ли уже Москва жителями? Где граф РаSTOPчин?

— Я был постоянно в авангарде, — отвечал Акинфов. — И не представляю, что делается сейчас в Москве и где обретается граф РаSTOPчин.

— Где находятся в настоящее время император Александр и брат его, великий князь Константин? — поинтересовался Мюрат.

— Нам неизвестно их местопребывание! — отвечал Акинфов, боясь сказать, что государь в Петербурге, чтобы французы не послали туда целый корпус, тогда как у Винценгероде, защищавшего дорогу в Петербург, было всего-то войска три тысячи с небольшим.

— Я уважаю вашего императора! — заметил Мюрат. — И дружен с великим князем Константином. Сожалею, что должен воевать с вами... Скажите, многих ли потерял ваш полк?

— Находясь постоянно в деле... потеря в людях неизбежна, — отвечал уклончиво Акинфов.

— Тяжелая война! — кивнул Мюрат.

— Мы деремся за отечество, — пожал плечами Акинфов, — и не замечаем трудностей кампании.

— Почему не ищете мира?

— Вашему величеству лучше об этом известно, чем нам. Но сколько мне кажется, еще ни одна из сторон не может похвалиться совершенной победой.

— Пора мириться! — решил Мюрат с улыбкой. — Скажите генералу Милорадовичу, что я согласен на его предложение единственно из уважения к нему. И уверьте москвичей, что они вполне спокойно могут оставаться в своей столице.

Акинфов вежливо поклонился королю Неаполитанскому и отправился в обратный путь со своим трубачом. Через французские форпосты его провожал тот же полковник.

Так как Акинфову было приказано как можно дольше оставаться в неприятельском лагере, чтобы дать отдых нашим войскам, то он поехал неспешным шагом, а по пути попросил у сопровождавшего его полковника разрешения полюбоваться ближайшими гусарскими полками. Тот согласился, и осмотр

этот занял порядочно времени, чего и желал наш парламентар.

Подъехав к своей цепи, Акинфов объявил казацкому полковнику, что французы согласны временно не теснить наш арьергард, и поскакал к Милорадовичу. Нашел он его уже в Москве, близ Яузы.

Услышав, что Мюрат ставит условием нашим войскам выйти из Москвы до вечера, Милорадович вспылил.

— Видно, французам очень желательно поскорее занять Москву! — воскликнул он в досаде. — Поезжайте опять к Мюрату и предложите ему, в дополнение к прежнему условию, заключить перемирие до семи часов следующего утра, чтобы дать время выйти из города обозам. Иначе нам придется защищаться в Москве.

— Нельзя делать подобный вызов французам! — заметил один из адъютантов Милорадовича.

— Это, сударь, — мое дело! — оглянулся тот. — А ваше — умирать, когда понадобится.

Акинфов снова направился к французским форпостам и нашел Мюрата уже у Драго-

миловской заставы. Войска его стояли уже на Поклонной горе, любуясь Москвой, которая сейчас казалась им обетованным Ханааном.

Мюрат принял Акинфова весьма ласково, тотчас согласился не вступать в Москву до следующего утра, с условием только, чтобы обозы, не принадлежащие войску, не были вывезены из города.



Глава XVIII



а к вот, наконец, этот славный город!.. — воскликнул взволнованно Наполеон, въехав в два часа пополудни на Поклонную гору.

Перед ним расстилалась Москва, словно жертва, готовящаяся на заклание. Ее украшали золотые маковки бесчисленных церковных куполов, и стены Кремля белели, будто погребальные пелены... но погребли эти стены в итоге не своих, а французов...

Наполеон торжествовал. Но войска его, растянутые по трем дорогам, ведущим к Москве, имели далеко не вид победителей!.. Усталые солдаты изнемогали от голода: они давно не видели на остановках ни водки, ни хлеба, а ели только суп из конины. Сапоги у них изнашивались, одежда изорвалась. Кавалеристы не все были на конях, не хватало лошадей, чтобы везти пушки и боевые снаряды. Больные и раненые тащились за обозами... И

все это голодное, полуживое воинство жаждало как можно скорее добраться до Москвы, отдохнуть в ее домах, нагулять жирок на даровой пище.

Наполеон не менее всех остальных стремился как можно скорее войти в Москву. Он долго смотрел на нее в подзорную трубу, затем соскочил с лошади, велел разостлать на земле план города и стал расспрашивать о разных частях его тех, кто хорошо знал Москву.

Мюрат послал ему сказать, что он заключил с русскими перемирие до следующего утра. Наполеон не обратил на это внимания и, оглядев расположение своих войск, велел пушечным выстрелом подать условный сигнал входить войскам в город.

Грозными тучами двинулись французские войска с трех сторон к Москве. Мюрат с авангардом и молодой гвардией шел на Драгомиловскую заставу, Понятовский — на Калужскую, вице-король Евгений Богарне — на Тверскую.

«Vive Napoleon!» — понеслось в воздухе.

Кавалерия скакала во весь опор, артилле-

рия мчалась за ней, пехота пустилась бегом. Свет помрачился от поднятой войсками пыли. Топот лошадей, скрип колес, бряцанье оружия, говор солдат — словно громовые раскаты, гулко неслись в предместьях Москвы.

Наполеон подъехал к Драгомиловской заставе, сошел с коня по левую сторону ее и принялся расхаживать взад и вперед, поджидая депутацию с ключами от городских ворот. Но никто не являлся с изъявлением покорности, и он, сторя от нетерпения, ходил все быстрее и быстрее. Но вот прискакали к нему посланные от Мюрата с известием, что Москва пуста.

— Русская столица оставлена жителями? — воскликнул Наполеон. — Это невозможно! Дарю, ступайте туда и приведите ко мне бояр!

В это время Москва была запружена войсками: русские не успели еще выйти, как неприятель был уже на улицах города. Кавалерийские корпуса Груши и Нансути беспрепятственно вошли в Москву и направились влево, к северной части ее. Мюрат с кавалерийскими корпусами, Себастиани и Латур

Мобура тоже двигались спокойно к Яузскому мосту. Они шли, как на параде, с распущенными знаменами, и грустно торжественный марш раздавался на улицах города. Один только Мортье, войдя в Кремль, был встречен ружейной стрельбой: там засели смельчаки, решившие не отдавать без боя святынь московских и царских хором. В числе их были приказчики Соляного двора и с ними Прокофий. Они встретили неприятеля залпом. Раздраженные французы бросились на них и выгнали их прикладами из Кремля. Многие из русских до того, однако, озлобились, что кидались на неприятеля и бились с ним, пока не легли мертвыми. Прокофий отделался только одной неопасной раной: один из французских солдат нанес ему удар, и он упал на камни и расшиб себе плечо.

К этому времени Милорадович успел вывести из города большую часть арьергарда и строил его неподалеку от Коломенской заставы. Вдруг он видит: два полка неприятельской кавалерии вышли из другой заставы и идут наперерез нашим по Рязанской дороге.

Зная, что передовые полки Мюрата нахо-

дятся под начальством генерала Себастиани, Милорадович поскакал к ним и спросил:

— Где генерал Себастиани?

Озадаченные таким бесстрашием, польские уланы указали ему, где находится их начальник. Не успели адъютанты Милорадовича доскакать за ним до рядов неприятеля, как он уже объяснял Себастиани, что король Неаполитанский заключил с ним перемирие до семи часов следующего утра. Себастиани отвечал ему, что он не имеет от короля никаких на этот счет сведений и приказаний.

Пока велись эти переговоры, неприятельские войска сошлись с нашими, но не вступали в бой. Из всех ближайших застав продолжали выходить беспрепятственно наши военные обозы, и жители, запоздавшие с выходом из Москвы, примкнули к ним и двигались вместе с ними на Рязанскую дорогу. Казаки распоряжались нашим обозом на виду у стоявшей французской кавалерии.

— Согласитесь, — обратился Себастиани к Милорадовичу, указывая ему рукой на двигавшиеся обозы, — согласитесь, что мы пресниходительные люди: все это могло бы быть

нашим, а мы позволяем беспрепятственно вывозить.

— Ошибаетесь! — сказал Милорадович. — Вы не захватили бы этого иначе, как перешагнув через мой труп. А сто тысяч человек войска, которые стоят за мной, отомстили бы за мою смерть.

Закончив сбор своих войск в виду неприятеля, Милорадович отошел с ними за четыре версты от Москвы и остановился на ночлег.

Пока войска Мюрата и Мортье располагались в Москве, остальным войскам велено было стать лагерем у Драгомиловской заставы, возле которой все еще находился Наполеон. Он был раздражен до крайности, увидав нескольких иностранцев, которых привел ему Дарю вместо русских сановников.

— Неужели Москва оставлена жителями? — спросил Наполеон явившихся.

— Еще за несколько дней была вывезена большая часть казенного имущества! — отвечали они. — И жители оставили город, забрав с собой все, что только могли они захватить при поспешных сборах и недостатке подвод.

Обманувшись в своих ожиданиях, Наполе-

он решил переночевать в Драгомиловском предместье. Но он никак не ожидал, что вместо почетной встречи, к которой он привык при занятии городов в Европе, Москва его угостит необычайной иллюминацией — она запылала. Прежде всего загорелись москательные лавки и гостиные ряды в Китай-городе, затем занялся и земляной город. Но, несмотря на этот сильный пожар, Наполеон велел на следующий день, в шесть часов утра, перенести главную свою квартиру в Кремль, и сам занял в то же время помещение в той части дворца, окна которой выходили на реку Москву. Он приписывал пожар небрежному обращению с огнем своих солдат и велел принять все меры для прекращения его. Но тут ему донесли, что из Москвы вывезена пожарная команда, а оставшиеся в городе жители сами поджигают свои дома.

Весть эта сильно озаботила Наполеона.

— Я потерял средство наградить мою армию! — сказал он с горечью. — Москва погибла.

И точно! Нельзя уж было узнать Белокаменную. Она вся пылала. Огонь, гасимый в

одном месте, появлялся во многих других, причем поднялся сильный ветер, и пламя, подобно огненному потоку, стремилось из одной улицы в другую, разрушая все по пути, поднимаясь огненными языками по зданиям и наполняя все клубами дыма, от которого задохнулись те несчастные, которые не погибли в огне.

Жители, оставшиеся еще в Москве, старались укрыться в подвалах, огородах и садах. Но и там их жизнь была на волоске. Горящие головни переносились вихрем и зажигали заборы и деревья. Смрад стоял нестерпимый.

Тут только Наполеон понял, что русские и не думают ему покориться, и что никакие сражения и победы не помогут ему завоевать Россию.

Четвертого сентября, на третий день после занятия Москвы французами, загорелись конюшни близ дворца и запылала арсенальная башня. Несколько головней упали на тот двор, где поставлены были зарядные ящики французской гвардии, а Наполеон все еще упорствовал и не хотел оставить столицы, куда входили каждый день новые его полчища,

грабившие все то, что еще можно было разграбить. При этом они жестоко обращались даже с женщинами и детьми и не щадили храмов Божьих. Они не только снимали серебряные оклады с образов и срывали с них драгоценности, но и употребляли церковную утварь, как обыкновенную посуду, и превращали церкви в конюшни, провиантские магазины и сараи, причем они употребляли большие образа для разделения стойл. Солдаты не обращали внимания на приказания офицеров и продолжали грабить и бесчинствовать в их присутствии и, в буквальном смысле, плевали на охранные листы, выданные жителям по приказанию самого Наполеона.

В эту-то горящую во всех концах Москву явился четвертого сентября несчастный Санди. Узнав от Маргариты Михайловны Тучковой, что сын его ранен под Бородиным, он, как помешанный, поскакал в Колоцкий монастырь расспросить монаха, помогавшего Тучковой отыскивать тело ее мужа. Там он нашел сотни несчастных своих соотечественников, умиравших от голода, отсутствия лекарств и медицинской помощи. Со страхом

подходил он к каждому мертвому офицеру, ожидая узнать в нем своего сына. Доктора и фельдшера принимали его за безумного, так как он не мог сказать им фамилии того офицера, которого искал, и не знал даже полка, в котором тот служил, а только всем твердил, что он молод, красив, служит в коннице и ранен у Семеновского. Он обошел все селения вокруг Бородина, где только были размещены раненые, и сердце его обливалось кровью при виде этих страдальцев; они сами выползали из лазаретов, чтобы подышать чистым воздухом и выпросить себе пищи у проезжих.

Чтобы скорее отделаться от его докучливых расспросов, ему сказали, что молодого кавалерийского офицера, подходящего под его описание, повезли в коляске раненых за обозом Мюрата в Можайск. Санси тотчас же отправился туда, но не застал уже там раненых офицеров; они все были отправлены в Москву. Заплатив за тележку в одну лошадь свои последние деньги, Санси отправился в Москву и нашел ее уже всю объятую пламенем. Он бегал по улицам, отыскивая устроенные французами госпитали, и подвергал свою

жизнь ежеминутной опасности: то рушилась у него на глазах каменная стена, то вспыхивало факелом деревянное надворное строение или загоралась баня. В изорванной одежде, с опаленными волосами, небритый, падающий от усталости, он был просто страшен, когда обводил вокруг себя блуждающими глазами с красными от копоти и дыма веками. Французы принимали его за помешанного и из жалости к своему несчастному соплеменнику кормили из своего котла. Но у них пища была плохая. Разбивая лавки и магазины, они набрали много сахара, кофе, чая, пряностей, но нуждались в самом необходимом — в хлебе и мясе. Даже соли у многих не было, поскольку они не знали, где находится Соляной двор, а все соляные лавки сгорели. Переполох у французов был так силен из-за этих постоянных пожаров и царил в Москве такой беспорядок, что Санси не мог ни от кого узнать, где положены раненые офицеры. Несколько раз он пытался проникнуть в Кремль, чтобы видеть Мюрата, но его не пропускали. Целые отряды гвардейцев были поставлены охранять вход в Кремль. Входили в него тогда только через

двое ворот, остальные ворота были завалены, так как боялись, чтобы не проникли в жилище Наполеона те, которые хотели убить его.

Санси бродил, по обыкновению, по Красной площади, когда вспыхнул в Кремле пожар и стали оттуда вывозить и выносить пожитки Наполеона, Мюрата и их свиты, уехавших в пригородный Петровский дворец. Санси со злорадством глядел на бедствие своего врага, Наполеона, и находил, что он достоин еще худшего, как его внимание привлекла лазаретная коляска, выезжавшая с другими экипажами. Он бросился к ней, но там лежал какой-то пожилой человек, раненый в голову.

— Кого вам надо? — прикрикнул грозно один из конных солдат, сопровождавших коляску.

— Я ищу сына моего друга! — ответил Санси.

— А кто он?

— Он офицер, служит в кавалерии, зовут его Этьеном. Он был ранен в большой битве близ селения Семеновского.

— Уж не нашего ли поручика Ранже он разыскивает? — спросил Ксавье Арман у свое-

го товарища Матье Ру, тоже находившегося в конвое. — А как фамилия того, кого вы разыскиваете? — обратился он к Санси.

— Ранже, — повторил Санси наудачу только что слышанную фамилию.

— Его нет здесь. Да он не родственник ли вам? Что-то он на вас похож!

— Где он? Скажите мне скорее — где?

— Его повезли далее, за Москву. А куда — не припомню! Такие все варварские названия у этого глупого русского народа. Знаю, в какой-то город повезли... уж, верно, туда, где ему будет поудобнее. Недаром он любимец короля Неаполитанского.

«Мой сын — любимец этого выскочки Мюрата? — промелькнуло в голове у Санси; и гордому аристократу показалось это страшным унижением. — В милостях у начальства!..»

— За что его любит король? — спросил он наконец, — сдерживая свою досаду.

— А нам почем знать! — отвечал грубо Ксавье. — Видно, умел понравиться.

— Ну что пустое толковать! — остановил Армана Матье Ру. — Король его любит за

храбрость и распорядительность.

У Санси отлегло немного от сердца, и луч надежды не только найти сына, но и встретить в нем достойного наследника своего знаменитого рода воскрес в нем и придал ему сил и бодрости. Он узнал от Ру название их полка, в котором служил и Этьен Ранже, и пошел отыскивать полкового адъютанта, чтобы узнать от него, куда его увезли. Но в этой сумятице он никак не мог отыскать адъютанта. Наконец один из офицеров сказал ему, что он теряет попусту время: если ему и удастся найти адъютанта, тот ему ничего не сообщит, так как он занят перевозкой своей канцелярии и не станет доставать списки, пока не устроится совсем в Петровском дворце, куда перевозят главную квартиру.

Понимая, что при таком поспешном переезде всем точно не до него, Санси решился отдохнуть, чтобы набраться сил идти в Петровское. Тут только он почувствовал, насколько он голоден, и подошел к одному из костров, разложенных французскими солдатами на Красной площади. В костре этом вместо дров горели комоды, диваны, стулья и зеркала. Пе-

ред последними еще, может быть, недавно прихорашивалась какая-нибудь московская модница, не думая о том, что скоро ее изящная мебель пойдет у французов на растопку под котлы, и будут варить они в этих котлах солонину, приготовленную ее ключницей для ее многочисленной прислуги.



Глава XIX



Видав, что барин вернулся только с Аксеном, Анисья сильно затосковала. Ольга Бельская, которой она прислуживала, принимала большое участие в ее горе; она сама испытывала, как тяжело не иметь вестей от любимого человека и ежеминутно думать, что он, может быть, ранен или умирает вдали от всех близких и некому его ни побережь, ни успокоить. Они обе много наслышались от раненых и фельдшера о том, какие бедствия и лишения переносит войско в переходах и в деле, и не раз плакали втихомолку, представляя своих мужей голодными и чуть живыми.

Хотя Григорий Григорьевич Роев, вернувшись к своим, не только не рассказал о всех ужасах оставленной жителями Москвы, но запретил и Аксену болтать о том, что видел, но тот не раз намекал и проговаривался о виденном, а тут еще стали доходить до них слухи,

что Москва горит.

Только что молодая Роева вышла в детскую, чтобы заснуть немного, пока ее свекровь посидит у раненого Николая Григорьевича, как в комнату тихо вошла Анисья и бросилась ей в ноги.

— Голубушка, барыня! — просила она. — Отпустите меня, неразумную, в Москву. Моченьки моей нету, так вот слезы и льются... все равно умирать нам всем от руки басурмана, так уж лучше с ним — с Прокофием.

— Что это ты выдумала, Анисья! — воскликнула Прасковья Никитична. — Как тебе, молоденькой, идти одной да еще в такое ужасное время!..

— Я не одна пойду, барыня! — продолжала Анисья. — Со мной идет деверь и еще несколько из наших... Пустите, барыня, ради Христа, пустите! Меня свекруха не пускает, да уж я от нее убегу. Только вы меня пустите!

— Как могу я тебя отпустить! — отвечала Роева задумчиво. — Делай сама, как знаешь!

— Ну, так вы уже, голубушка барыня, никому не сказывайте, что я затеяла. Завтра до рассвета меня уже не будет здесь. Простите

меня, бедную!

— Господь да хранит тебя! — ответила грустно Роева и, сняв с шейной цепочки один из образков в серебряной оправе, благословила им Анисью.

Та со слезами целовала ей руки и просила прощения, что оставляет ее.

— Кабы не сушила меня мысль о муже, — говорила она, всхлипывая, — век бы с вами не рассталась: вы мне — что мать родная.

— Как же ты пойдешь? — спросила Роева, подумав.

— Да так, матушка Прасковья Никитична, как на богомолье ходят. Только в котомку положу белье и сарафанишко, что ни на есть хуже, чтобы не позарились на них басурмане. Сама обуюсь в лапти, возьму палку да и — марш...

— А деньги-то у тебя на дорогу есть?

— Полтина медью есть. Я ее в мешочек маленький вместе с золотыми серьгами да кольцами положила и в котомочку припрятала.

— Вот тебе десять серебряных гривенников! — сказала Роева. — Только ты их в мешочек не клади, а положи в ладанку и привяжи

на шнурок образа.

Анисья снова бросилась целовать руки и даже колени Прасковье Никитичне.

— Ну иди с Богом! — отпустила ее Роева. — Пора тебе в путь-дорогу собираться.

При этом она ее поцеловала и снова перекрестила, а та поклонилась ей в ноги.

На следующий день, когда молодая Роева наблюдала, как няня моет и одевает детей, вошла в детскую Мавра, свекровь Анисьи.

— Уж и сказать не могу! — заохала она. — Не могу сказать, что наша-то непутевая сделала!

— О ком ты говоришь? — спросила Роева, догадываясь, однако, что речь идет о беглянке.

— Да Анисья-то!.. Ведь убежала с теми, что в Москву ушли.

— Вот как!.. — протянула Прасковья Никитична.

— И бесстрашная же какая!.. Не боится антихриста окаянного. Да и Прокофий-то мой хорош! Нужно ему было в Москве оставаться. Куда ему с антихристом справиться! Погубит он только душу свою христианскую, непре-

менно погубит!

— Наполеон — такой же человек, как и все мы! — успокаивала ее Роева. — Он тоже христианин.

— Какой же он христианин, голубушка барыня, коли в храмах Божьих он конюшни устраивает!

— Как конюшни? — ахнула Прасковья Никитична.

— А вот послушайте, что рассказывает плотник, который из Троицко-Сергиевского монастыря недавно вернулся... Пришел, говорит, в монастырь кузнец из Москвы, насилие от нехристей вырвался. Стали они, вишь, его звать коней им подковывать. Он было сначала не прочь. Что ж, думает, худого нет в том. Да как увидел, что кони-то ихние в храме Божьем стоят, так он со страху и остолбенел. Глядит он и глазам своим не верит: со святых икон оклады дорогие сорваны, а сами-то иконы, что побольше, вместо перегородок в стойлах поставлены.

— Не может такого быть! — в ужасе воскликнула Роева.

— Клянется именем Христовым, что гово-

рит правду. Все сам от кузнеца слышал. А тот, как из Москвы выбег, так без шапки, как был, к Троице прибежал да монахам все это и рассказывал... Да вот еще какую весть тот кузнец принес: нехристи-то, вишь, сюда к нам идут...

— Что ты! Что ты, Мавра! Зачем им сюда забираться!..

В эту минуту раздались по всему дому беготня и отчаянные вопли. Прасковья Никитична бросилась к двери узнать, что случилось, и на пороге столкнулась со своей свекровью.

— Скорей! Скорей все укладывай! — кричала та вне себя от волнения. — Я пока с Никушкой побуду, а ты присмотри, как прислуга все укладывает и грузит на возы.

— Куда же мы? — спросила испуганно молодая Роева.

— Бежим в Катюшино... Другого спасения нет. Скорей, скорей все укладывай, что поужнее. Да серебро и золотые вещи с собой забирай. А остальное все Григорий Григорьевич в землю зароет.

— Господи! Да что же это такое? — завопила Мавра.

— Ступай помогать молодой барыне! — прикрикнула на нее старушка. — А ты, Пашенька, — обратилась она снова к невестке, — о вещах Миколушки не заботься. Я все сама для него уложу.

— Вы его не испугайте, матушка!

— Ишь что выдумала! Он спит себе да похрапывает. Рад, видно, что лихорадка перестала трясти. Ну а ты иди скорее, иди же!

Начались опять шумные сборы. Вся прислуга бегала впопыхах, больше охая, нежели делая дело. Старушка Роева неторопливо укладывала белье, платье и все необходимое для перевязки раны своего сына, предоставляя невестке все заботы о сборе провизии и остальных вещей. Вскоре нагружены были два воза, запрягли их, и, прежде чем раненый молодой Роев проснулся, все было готово к отъезду его и всех остальных. Ему осторожно сообщили о необходимости уехать в деревню, помогли одеться и выйти в столовую. Затем все присели перед дорогой, чтобы путь был благополучен, помолились на образа и стали прощаться с оставшимися. Рыдания заглушали слова, все прощались, словно никогда

уже не надеялись более свидеться.

— Береги себя, Григорий Григорьевич! — просила Анна Николаевна, обняв мужа. — Приезжай скорее к нам! Помни, если что случится, у нас другого защитника нет, кроме тебя. Николушка болен, а племянник Павлуша еще подросточек.

— Хорошо, хорошо, матушка, не замедлю к вам перебраться. Лишь только все тут устрою — и тотчас к вам!

Он сам усадил в тарантас раненого сына, жену и невестку и помог им поудобнее устроиться. В это время в другой тарантас садились старушка Нелина с дочерью и сыном, а в повозки — ключница и остальная прислуга. Кучера сняли шляпы, перекрестились, подобрали вожжи и, хвастая друг перед другом умением ездить, пустили лошадей рысью. Повозки стали понемногу отставать, а возы просто двинулись шагом. У поворота на другую улицу к ним присоединился тарантас Краевых. Бабушка и внучка тоже направлялись в имение Роевых по приглашению доброй старушки и ее мужа.

Едва только экипажи скрылись, Григорий

Григорьевич приказал прислуге поднять дерн в саду, выкопать довольно глубокую яму, сложить туда вещи и снова накрыть поднятым дерном. Точно таким же способом были зарыты остальные вещи возле самого берега пруда. Все это заняло немало времени; солнце стало садиться, пока вся эта работа была кончена.

— Закладывай дрожки! — приказал Григорий Григорьевич Аксену.

Но не успел кучер вывести лошадей, как в комнаты, чуть не кубарем, вкатился Мишка, должность которого была помогать лакеям в их деле. В то время таких мальчишек называли. «казачок».

— Французы в Подлипечье! — крикнул он, переводя дух после быстрого бега.

— Врешь! — крикнул на него Роев. — Казаков, видно, принял за французов.

— Ой, нет, барин! Французы — как есть французы.

— Поглядите-ка! — велел Роев работникам. — Верно ли парень говорит?

Не успели те выбежать за ворота, как тут же вернулись страшно перепуганные, крича:

— Французы! Французы!..

Нечего было и думать закладывать лошадей. Григорий Григорьевич вскочил верхом на коренную, велел себе подать два тяжело-весных мешка с деньгами, приготовленными им заранее, перекинул их через спину лошади и поскакал вон из города.

Аксен и остальная прислуга похватили наскоро свои пожитки в мешки, вскинули их себе на спины и пустились пешком вслед за баринном, уводя в поводу пристяжную лошадь, на которую навьючили, что можно было наскоро собрать из оставленного женщинами при их спешных сборах в деревню.

Во всем доме остался только один старый слуга Захар. Он не мог и подумать оставить дом так, не запертым, и стал осматривать все уголки, прежде чем уйти из него. Отворив шкаф в столовой, он нашел в нем оставшуюся закуску и два граненых графинчика со сладкой водкой. Часть закуски он тут же наскоро съел, остальное завернул в бумагу и сунул за пазуху. Графинчики он тщательно обернул войлоком, крепко увязал веревкой и вскинул себе на спину. Затем он спустил с цепи верно-

го пса Барбоску, запер дом и ворота и пустился за всеми в деревню.

Лишь только поднялся он на горку, как услышал за собой лошадиный топот, и двое всадников, говоривших между собой на непонятном языке, поскакали прямо к нему.

Старик потом так об этом рассказывал:

— Упал я на колени и промолвил чистым русским языком, не похожим на их «вуй, вуй»: «Власть ваша, а я знать ничего не знаю...» — «Гальт, гальт!» — кричат басурмане, словно галки какие, а сами на меня так вот и напирают, и напирают. Я уж думал, что мне конец пришел. А они, разбойники, хочут да промеж собой на своем басурманском языке так и лопочут. А один палашом на меня показывает и говорит: «Катю?». «Ох, батюшки светы! — подумал я. — Ишь нехристи! Проведали, что наши в Катюшино уехали». Да и я не промах: не в Катюшино, мол, господа уехали, а в Нижний. Они все гогочут, видно, мне не верят. А один из них как подскочит ко мне да рубнет палашом по войлоку. Рассек веревки, и оба графинчика разлетелись вдребезги, и сладкая водка пролилась. Тут у них поднял-

ся уж такой хохот, что я думал, они с лошадой попадают, а сами пальцами то на меня, то на водку показывают да за бока от хохоту хватаются. Чтобы им пусто было!.. «Адью!» — кричат и кланяются мне, словно взаправду со мной прощаются. «А чтоб вас нелегкая унесла!» — думаю. Ну, наконец, уехали. Я поднялся, выпил остатки водочки — только на донышках графинчиков и осталось — и пустился далее в путь...

Пока все это происходило возле Дмитрова, Анисья со своими товарищами приближалась проселками к Москве. Сначала шли они спокойно. Им только и попадались крестьяне — такие же напуганные, как и они сами. Но только лишь вышли они на большую дорогу, как видят, скачут прямо на них солдаты. По мундирам видно — не наши.

— Пойдемте стороной! — говорит Анисья своим спутникам. — Может, они нас и не приметят.

И точно, французы проехали мимо, а за ними и подводы потянулись. Едут себе по дороге, на наших путников никакого внимания не обращают. Проехали и обозы... Вдруг ви-

дит Анисья, один из обозных отпряг лошадь, на нее садится и едет к ним обратно.

— Егоровна, ведь это за тобой! — говорит деверь Анисье. — Котомочку твою увидел!

Анисья бухнулась им в ноги и ну вопить:

— Батюшки! Кормильцы! Не покидайте меня горемычную, не дайте меня молоденькую в обиду вражьим детям, нехристям окаянным!

— Скидай скорей котомочку! — говорит ей деверь. — Да брось ее наземь. Может, и оставят нас в покое.

Сбросила Анисья котомочку с плеч, а сама бежать с деверем пустилась. Бежит да кричит остальным:

— Коли оставит он мою котомочку, мне назад принесите.

Тут француз подскакал к остановившимся спутникам Анисьи, соскочил с лошади, схватил котомку, пошарил, вынул из нее несколько сверточков, швырнул снова ее наземь и поскакал прочь. А Анисьины попутчики подняли котомку и понесли ей.

— Что, родненькие, не взял ли он чего? — спрашивает их Анисья.

— Вынул он, — отвечают ей, — кусок пирога, да лепешки, да еще крошечный мешочек. Как развязал он тот мешочек, мотнул головой, сказал «бон», сунул его в карман да и ускакал.

— Ах я дура этакая! — посетовала Анисья. — Ведь мешочек-то тот дорогого стоит: в нем серьги мои да кольца золотые, да денег полтина целая. Ах я недогадливая! Мне бы сунуть мешочек тот за пазуху или на гайтан ко кресту привесить... Леший меня дернул в котомку его положить!..

Погоревали-погоревали все с Анисьей и снова пустились в путь. Чем дальше идут, тем менее народа православного им попадает: все французы двигаются с обозами. Чуть лишь наши попутчики их завидят, тотчас в лес свернут или в кусты спрячутся и выжидают там, пока те не проедут. На ночлег в усадьбы заходили. Везде пусто, безлюдно; дома барские стоят заколоченные. Прислуги — ни души.

Дошли они до монастыря Никола на Пестуши, глядь, а там уж французы стоят. Они пустились бегом в сторону к соседней усадьбе.

Там их встретила работница и повела в батрацкую. Но лишь только они переступили за ворота во двор, видят — и там французы. Они было назад, да работница их остановила: не бойтесь, сказала она им, они обидеть вас не посмеют; старшой их, полковник или генерал, не знаю, стоит в барском доме и не позволяет им никого обижать.

Работницу эту Ириной звали. Она их ввела в батрацкую, накормила и на ночлег оставила. Угорела ли Анисья в тепло натопленной избе или так уж от усталости и постоянной боязни французов, только она поднялась с постели совсем больнешенька.

— Как хочешь! — говорит ей деверь. — А мы ждать тебя не станем. Лежи тут, коли добрые люди тебе угла и хлеба не жалеют. А мы тем временем в Москву ходим и за тобой Прокофия пришлем, а не то сами назад сюда вернемся.

Проходит день. За ним — другой, третий. Анисья совсем уж оправилась, а из Москвы все никого нет. Заныло сердце у бедной, думает: «Жив ли Прокофий?..» — «Дай-ка я одна схожу в Москву», — говорит она Ирине, помо-

гая ей вечером полоскать белье на плоту.

— И то ступай! — говорит та. — Уж если тут старшой им грабить не позволяет, так в Москве подавно должно быть тихо; там их император проживает и порядок свой, говорят, установил.

Как вернулись они с речки, Анисья свою котомочку уложила и на другой день еще до рассвета встала, поблагодарила Ирину за гостеприимство, распрощалась с ней и пошла одна-одинешенька к Москве. Пробирается себе потихоньку, во все сторону оглядываясь. Утренники стояли уж холодные, легкие морозцы прихватывали землю. Солнышко встало, отразилось в росе алмазами, красные спелые ягоды рябины так и горят, желтый лист на деревьях золотым кажется... Благодать да и только! Теперь бы крестьянам радоваться и благодарить Бога за обильный урожай, а тут нивы стоят несжатые, лошадьми перетоптанные, поля, засеянные картофелем, без толку изрыты, овощи на огородах больше перепорчены, чем сняты. Вздохнула грустно Анисья, еще больше зло на французов взяло. «Ни себе, ни другим!» — подумала... И вдруг слышит за

собой шага. Оглянулась со страхом, видит, двое стареньких по той же тропинке, что и она, идут, на посохи опираются и тихо между собой разговаривают. Видно, муж да жена. Она к ним:

— Дозвольте, родимые, с вами идти!

— А ты откуда будешь? — спрашивают ее.

— Из Дмитрова, родненькие, из Дмитрова.

В Москву иду мужа проведать.

— А мы туда же сына искать идем.

Пошли они вместе.

Вошли в Москву. Боже, что за ужас! По улицам лежат мертвые тела, такие уже черные, что просто страшно на них смотреть. Тут же и павшие лошади валяются, смрад страшный всюду. Куда ни глянешь — пожарища да пустыри. Жутко стало Анисье, а тут скоро пришлось ей распроститься со старичками: они в другую сторону пошли.

До Соляного двора добралась Анисья благополучно. Входит туда — все пусто. Дом весь обгорел, замки у средних магазинов сбиты. Окликнула — никто не отзывается, нет ни живой души... Зашла она в тот магазин, где спрятаны их вещи. Видит, кули с солью повы-

тасканы оттуда во двор. Заглянула она, ей перья и пух прямо в лицо летят. Вошла в сарай и в пух провалилась. Смотрит, стенка, наскоро выведенная, разбита, все вещи вытащены, видно, и пух-то весь из перин и подушек грабители выпустили, чтобы в наволочках было удобнее мелкие вещи таскать.

Постояла тут Анисья, погоревала, еще несколько раз окликнула, но ее голос как-то гулко и жалобно разнесся по пустому двору и эхом отдался в обгоревшем доме. Страшно стало Анисье оставаться одной на этом пустыре: тихо все вокруг, словно в гробу. Пошла она в Ивановский женский монастырь расспросить знакомую монастырскую послушницу, не знает ли она чего о ее муже и о других, оставшихся в Москве... Монастырь заперт. Постучалась, не отворили. «Как быть?» Решилась она идти в противоположную часть Москвы, где жила теща деверя. Не у нее ли он остановился?..

Но вот беда! Улиц она хорошо не знает. В то время прислугу в гости не пускали; выходила она из дома только в церковь Божью да два раза в год со старшими к родным с празд-

ником Христовым поздравить. А тут, кто и знал хорошо улицы Москвы, и тот заблудился бы: все выгорело, везде все голо, везде все черно, только трубы уныло торчат и печи обгорелые чернеют; еще своды подвальные виднеются, а дерево все выгорело.

Плутала она долго голодная, усталая. Наконец зашла, сама не понимает уж и куда. Стенело, а она не знает, в какую ей сторону идти, да и ноги уже идти отказываются. Села она у обгоревшей каменной стены и горько заплакала. «Вот тебе и ночлег, — думает. — Воздушным плетнем обнесу и небом прикроюсь!»

Стало уж совсем темно. Страшно гудит и завывает ветер, пролетая в окна и двери опустошенных, полуразрушенных домов, или стонет совою, шевеля железные листы и остатки кровель. Везде пусто и глухо, словно на кладбище. Вдруг слышит бедная Анисья — идут двое. Испугалась до смерти, прижалась к стене. «Авось, — думает, — не увидят!» Но проходившие заметили ее, остановились и спрашивают:

— Кто тут?

— Я, батюшка! — отвечает совершенно рас-

терявшаяся Анисья.

— Да кто ты такая?

— Роевых господ, батюшка... Вот целешенький день плутаю, не евши, ни макового зернышка, ни росинки во рту не было.

— Иди за мною! — говорит один из них.

Поднялась Анисья ни жива ни мертва; послушаться незнакомца не смеет, а сама не знает, какой он человек; может, и злодей какой; одно только и знает, что не басурман, чисто по-русски говорит.

Долго шли они вдвоем — все закоулками какими-то. Ночь темная, в двух шагах перед собой ничего не разглядишь. Холодно, страшно Анисье, а пикнуть не смеет, боится.

Вот подошли они к пустырю. Все тут догولا выгорело; между камнями еще дымок поднимается. Тут незнакомец остановился, топнул ногой и закричал:

— Поднимай!

Анисья еще больше струсила. «Господи! Куда это он меня привел? Уж не в притон ли разбойничий?» Стоит бедная и дрожит, как в лихорадке. Смотрит, поднялась дверь, словно западня какая. Взял ее за руку незнакомец, и

стали они спускаться с ним по лестнице, а дверь за ними тотчас захлопнулась.

Глянула со страхом Анисья вниз, а там точно горница какая: все в ней так чисто прибрано, и огонь горит. У печи старушка хлопочет, ей две молодые женщины помогают. На кровати детки спят, а у стен много всякого добра положено.

— Не бойся, моя милая! — говорит ей старушка. — Видишь, со мной мои дочери да внучатки. А тот, кто тебя привел, — сын мой, купец.

Старушка засуетилась, напоила всех чаем, угощала славной рыбой да икрой, разные вкусные закуски выставила на стол. Анисья выпила две чашки чаю, немного поела и сидеть не может, глаза у нее так и слипаются, носом в колени клюет.

— Пора тебе отдохнуть, моя красавица! — говорит ей старушка. — Помолись Богу да и ложись вон на ту перину.

Легла Анисья и тотчас же заснула, как убитая. Проснулась она тогда только, когда стала ее будить старушка. Открыла она глаза и не знает: день ли, ночь ли. Огонь все горит, как

и с вечера. Ни окошечка, ни скважинки, чтобы свет Божий увидеть.

Старушка подняла западню, сына выпустила и говорит дочерям:

— Готовьте самовар, заря занимается. Чайку напьемся, а немного погодя и позавтракаем, а то сыну пора будет по своим делам идти.

Стала Анисья жилище это подземное оглядывать. Подвал славный — с большой печью, и готовить можно; кругом еще пожарища дымятся, так дым не выдаст, можно безопасно стряпать тут кушанье.

Не успел самовар и вскипеть, как послышался стук у них над головой и раздался крик: «Поднимай!».

Подняла старушка снова западню, вошел сын ее и калачей принес.

— Вот я вам хлебца свеженького к чаю добыл, — говорит. — А что же это у вас еще и самовар не кипит?

— Не ждали, что так скоро ты воротишься, — отвечает старушка.

— А ну-ка, сестры, поворачивайтесь скорее! — продолжал ласково вошедший. — Напьемся сейчас чаю! Да посытнее гостью на-

кормите. Мне надо ее самому проводить, дороги она не знает, да и знать-то ее теперь трудно: там завалено, тут ходу нет, церкви обезглавлены, стены без кровель... один Иван Великий печально возносится над обширной грудой развалин. Ну да что толковать! — добавил он, махнув рукой. — Надо скорей собираться в путь. Скоро уже рассветать станет.

Напились все чаю, накормили Анисью, целый узел ей всякой провизии положили и простились, словно с родной какой.

Вышла она из подземелья, идет возле купца, а тот ее спрашивает:

— Девушка ты?

— Нет, я замужняя.

— Где же муж твой?

— Не знаю, батюшка. На Соляном дворе остался. Прокофием Петровичем его зовут.

— Э-э! Да не приказчик ли он с Соляного двора?

— Нет, батюшка, не приказчик, а служит у соляного пристава Григория Григорьевича Роева.

— Так я знаю где он, голубушка! Он со всеми нами в Кремле перед приходом неприятеля

ля засел, а теперь с нашими побитыми в кладовой у меня лежит.

— Убили его, окаянные, убили! — заголосила Анисья.

— Молчи, голубка! А то нам с тобой несдобровать! — остановил ее купец. — Муж твой живехонек, его только камнями пришибло, когда повалил его француз.

— Батюшка, родненький! Расскажи мне без утайки, как дело было!

— Так слушай же!.. Решили мы защищать Кремль наш белокаменный. Собрались все, кто подюжее. Оружия нам всякого из арсенала даром надавали: и ружья, и ножи, и сабли, и пистолеты... брал всякий, что хотел. Нам и в голову не приходило никому, что всего-то нас несколько сотен, а французов целый корпус. Вот мы навалили бревен, камней. Были между нами и отставные солдаты, так те нам засады устроили. Вот и залегли мы в них. Только что французы стали в Кремль входить да так важно, с музыкой и распущенными знаменами... мы как пальнем в них, так передовые с лошадей вниз головой полетели. Начало-то было хорошо, а затем пришлось нам самим

плохо — как принялись они нас катать... мы было еще раз в них пальнули, да видим, их все прибывает, и пушки уж против нас выдвигают... Мы тут пустились врассыпную — кто куда! Твой-то муженек был около меня. Он один троих французов на месте уложил, да они его с ног сшибли. Упал он на камни и до крови расшибся. Кабы мы его не вынесли на руках, он тут бы и остался — шевельнуться не мог.

— Ах, батюшки мои! — всплеснула руками Анисья. — Убили его, окаянные, убили!

— А ты не кричи! — снова остановил ее купец. — Где же убили, когда он у нас в подвале живет и уже ходить начинает? Вот сама увидишь, он вот тут! — указал купец на обгорелое место гостиного двора.

Вскоре они уже были на пожарище. Купец, завернув за угол обгоревшей лавки, прошел каменным коридорчиком внутрь двора и постучал у кладовой, заваленной всяким хламом. Отворилась маленькая дверца внизу, словно лазейка какая. Анисья едва проползла в нее и очутилась лицом к лицу со своим мужем. Тот не верил своим глазам и, обнимая

жену, все твердил:

— Ты ли это, Анисьюшка?

— Я, батюшка Прокофий Петрович, твоя верная жена.

— Да как же ты сюда-то попала?

— А вот мой защитник! — указала она на купца. — Без него бы я совсем пропала!..



Глава XX



Лышали, слышали, Иван Андреевич? — проговорил встревоженно быстро вошедший к Крылову Батюшков. — Наполеон в Москве.

Крылов вскочил с дивана, на котором, по обыкновению, лежал, читая французский роман, и, широко раскрыв глаза, не верил, как видно, слуху.

— Что вы сказали? — спросил он наконец тихо, каким-то сдавленным голосом.

— Москва отдана французам без боя. Наполеон в Кремле.

— Да не может быть такого! Откуда эти вести?

— Я только что вернулся с Каменного острова. Вы знаете, государь со всем двором живет там в летнем дворце и получил еще третьего сентября письмо от графа Ростопчина. Дошло оно к нему через Ярославль. Из этого письма ясно видно, что Москва сдана неприятелю.

телю.

— Может быть, граф поторопился известить прежде, чем дело было решено.

— Вчера явился к государю полковник Мишо, присланный от Кутузова, с донесением, что войска наши отошли без боя на дорогу в Каширу.

Крылов закрыл лицо руками, и только по судорожно двигавшимся плечам и груди видно было, что он плакал.

Более хладнокровный Батюшков продолжал:

— Кутузов объясняет свое решение оставить Москву без боя тем, что не мог дать решительного сражения под Москвой по неудобству местности и расстройству войск после кровопролитной битвы под Бородиным.

— А я еще думал, что он чисто русский по сердцу! — с сокрушением воскликнул Крылов.

— Он уверяет, — продолжал с досадой Батюшков, — что вступление неприятеля в Москву не есть еще покорение России.

— Отдать на поругание все для нас свя-

тое! — не мог успокоиться Крылов. — Осрамить стены Кремля присутствием неприятеля! Нет, это просто непонятно! А мы еще упрекали Барклая-де-Толли и радовались назначению чисто русского — Кутузова... А он вон на что решился!.. Что же войско-то? Что государь?

— Войско негодует и одного только боится, чтобы не заключили мира при таких для нас горьких обстоятельствах. Солдаты угрюмо смотрят на пожар Москвы.

— Как? Москва горит?

— Да. Сильно горит Белокаменная. Но Кутузов утешает государя тем, что из нее вывезены все сокровища, арсенал и все почти имущество — как казенное, так и обывателей, и не осталось там ни одного дворянина...

— Еще бы наши пошли встречать Наполеона с хлебом-солью! — проворчал сквозь зубы Крылов. — Как принял государь страшную весть о сдаче Москвы?

— В нем проявилась полнейшая покорность воле Божьей. Прочитав донесение Кутузова, он сказал: «Из всего нами испытанного заключаю, что само Провидение требует от

нас великих жертв, особенно от меня, и покоряюсь Его воле»... Возвращаясь в армию, обратился он к Мишо: «Говорите всюду моим верноподданным, что если у меня не останется ни одного солдата, я созову мое верное дворянство и добрых поселян, буду сам предводительствовать ими и не пощажу никаких средств. Россия мне представляет больше способов бороться с неприятелем, чем тот предполагает. Я лучше соглашусь питаться одним хлебом в недрах Сибири, чем подписать постыдный мир для моего отечества и добрых моих подданных, пожертвования которых я умею ценить. Провидение испытывает нас. Будем надеяться, что оно нас не оставит!».

— Но что же будет с этими постоянными отступлениями нашей армии? Неприятель, пожалуй, дойдет и до Петербурга!

— И то поговаривают!.. Ну да граф Витгенштейн не допустит. Сумел же он мастерски прикрыть пути от Двины к Новгороду и Пскову и не допустить туда наполеоновскую армию. Не даром псковское купечество прислало ему икону Святого Гавриила Псковского. Маршал Сен-Сир, хотя отряд того и сильнее

отряда Витгенштейна, не посмел подступить к позиции, занятой им. Баварцы сунулись было оттеснить его и захватить местность пообширнее, чтобы им удобнее было запастись провиантом, да дорого стоила им их отвага.

— А тут подспеют еще к Витгенштейну наши ополченцы из Петербурга, Новгорода и Пскова! — заметил Крылов.

— Знаете что, Иван Андреевич! — перебил его Батюшков. — В то время, как неделю назад выступал из Петербурга первый отряд нашего ополчения, Наполеон был уже в Кремле и занял дворец наших царей.

— Разве французы вступили в Москву третьего сентября?

— Они вступили еще второго — следом за выходящими из Москвы нашими войсками. Но Наполеон въехал в Кремль только третьего сентября после полудня.

— Кто мог подумать, — покачал головой Крылов, — что французы уже хозяйничали в Москве в то время, когда митрополит благословлял иконой Святого Александра Невского наших ополченцев, а генерал Бегичев, подняв этот образ, говорил им: «Клянитесь, ребята,

пока живы будете, не оставлять его!».

— Да, теперь, более чем когда-либо, дорог ответ наших ратников, — сказал задумчиво Батюшков. — Помните, Иван Андреевич, с какими чувством и уверенностью они отвечали: «Не оставим, рады умереть за веру и батюшку царя!». Кажется, и всем нам придется скоро сказать то же самое.

Крылов молчал. Ему вспомнилось, сколько его сотоварищей по литературе пошли бесстрашно защищать отечество. Александр Федорович Воейков, остряк и насмешник, поступил на военную службу. Денис Васильевич Давыдов участвовал в Бородинской битве. Василий Андреевич Жуковский состоит при главнокомандующем Кутузове. Проводили они недавно с тверским ополчением потомка Рюрика, князя Александра Александровича Шаховского... давно ли они так восхищались вновь вышедшей его поэмой «Расхищенные шубы» и перед самым началом кампании усердно аплодировали, когда давалась его пьеса «Казак стихотворец», а теперь он сам, казацкий полковник, отстаивал под Бородиным дорогу в Москву, а затем стоял с Винцен-

героде, преграждая Наполеону путь в Петербург. Другой писатель, заставлявший их смеяться и плакать своими драматическими произведениями, Николай Иванович Хмельницкий, потомок знаменитого Богдана Хмельницкого, сын доктора философии в Кёнигсбергском университете, ушел с Петербургским ополчением. Поговаривают, что, после разорения его имения в Смоленской губернии, живший там Федор Николаевич Глинка двигается за нашей армией и снова хочет поступить в адъютанты к Милорадовичу... «Да все это молодежь! — думает Крылов. — Старше их всех только Шаховской. А есть ли и тому тридцать пять лет?.. А вот мне уже под пятьдесят...» И он вздохнул, грустно опустив голову на грудь.

— Да, плохо, очень плохо приходится России! — говорил между тем Батюшков. — Вся Литва, Белоруссия и Прибалтийские провинции в руках французов. А тут они еще до самого сердца России добрались.

— Спасибо еще Тормасов не пускает их за реку Стырь, приток Припяти, а то бы они вторглись и в Волынь, и в Малороссию. Мне

рассказывали, что на Стыре вовсе нет брода, и левый берег реки, на котором стоит неприятель, болотист, а правый, на котором стоят наши, возвышен и покрыт лесом. Вот нашим и видны все действия неприятеля, а ему не разглядеть, что у наших делается. Недели две тому назад партия казаков переправилась через реку Стырь и захватила в плен неприятельского офицера, производившего съёмку, со всей его командой.

— Мне говорили люди, лично слышавшие от государя, что адмирал Чичагов назначен главным начальником всех войск в Волыни, и девятого сентября вся Дунайская армия наша перешла к реке Стырь и соединилась тут с Третьей нашей армией. Там в настоящее время на границе Австрии стоит более шестидесяти тысяч нашего войска. А у неприятеля всего сорок четыре тысячи.

— Теперь хоть за Волынь и Малороссию можно быть спокойными! — сказал радостно Крылов.

В то время, как в Петербурге и во всей России горевали о сдаче Москвы и народ русский

вместе со своим государем решился отстаивать во что бы то ни стало честь и славу своего отечества, в Слониме продолжали комплектовать кавалерийский полк в помощь Наполеону, хотя мародеры великой армии беспощадно грабили страну. Число мародеров простиралось до пятидесяти тысяч человек, а вестфальские войска занимались грабежами в полном своем составе. Начальник их, генерал Вандам, сам отправлял своих солдат на грабеж. Один отряд вестфальцев в пятьсот человек пришел в местечко Щучин, менее чем в пятидесяти верстах от Слонима, и, получив от жителей потребованное ими количество хлеба, мяса, водки и фуража, стал, с позволения своих начальников, грабить и стрелять в жителей, умолявших о пощаде. Это насилие продолжалось всю ночь: троих убили, двенадцать ранили и многих жестоко изувечили и избili до полусмерти.

Усадьба Пулавских была защищена от всех нашествий дремучими лесами. Но жутко становилось жившим в ней, когда доходил до них слух, что там-то шайка мародеров сожгла селение, там ограбила барскую усадьбу и бес-

чинствовала в ней.

— Господи! Храни нас и помилуй! — говорили набожно сестры, посматривая на своих детей, беспечно веселившихся с приезжавшей из Слонима молодежью.

У них постоянно устраивались кавалькады, пикники, танцы. Это был словно оазис какой-то среди пустыни, наполненной всеми ужасами грабежа и бесчинств.

В одно из посещений городских гостей с ними приехал и сам Пулавский со своими приятелями. Веселились все более, чем когда-либо. Красавицы Анеля и Зося, разряженные в нарядные платья, блестя серьгами, кольцами и цепочками, так и носились в мазурке; молодые уланы молодцевато звенели шпорами, ловко ловили на лету протянутую им дамой руку и неслись с нею далее, притопывая в такт каблуками. Но вот музыка стихла, и все пошло чинно в столовую и разместились каждый кавалер подле своей дамы. Зазвенели стаканы, ножи и вилки, пошел неумолкаемый разговор, прерываемый смехом и шутками. Старики остряли насчет молодежи, те отшучивались. После обеда моло-

дежь рассыпалась по саду собирать фрукты и ягоды. Старики сели на балконе пить старый мед и курить трубки... Но вот уже день кончается, старинные часы бьют пять часов, пора собираться в путь: надо до вечерней зари быть в городе, не то запрут городские ворота, и стража не впустит внутрь.

Повздыхали, распрощались и пустились в обратный путь. Долго стояли все оставшиеся на крыльце и махали платками в знак прощального приветствия отъезжающим. Наконец, экипажи и лошади скрылись с их глаз, словно потонув в лесной чаще, и все вошли в дом, кроме одного Янека, оставшегося на крыльце. Он грустно глядел в ту сторону, где скрылся экипаж его отца. Пулавский в последнее время очень редко мог навещать свою семью, а Янек, сильно любивший отца, тосковал всякий раз, когда тот уезжал в город.

Вот затих топот коней. Тишь всюду. Стало быстро темнеть. Вдали трудно уж было различать предметы. Вдруг Янеку послышался топот со стороны, противоположной той, в которую уехал отец. Мальчик стал прислушиваться: топот все приближался. «Кто это мо-

жет быть? — встревожился Янек. — Тут и проезжей дороги-то нет». Он стал пристально всматриваться и увидел — движется много овец, а за ними тележки, нагруженные мешками.

— Мародеры! — крикнул он что было мочи и бросился со всех ног в комнаты.

На его крик выбежали слуги и, увидев овец и тележки, подняли страшный переполох. Стали запирать все на запоры, и все попрятались, где кто мог. Пани Пулавская спрятала всех детей в чулан, пани Хольская убежала со своими детьми на чердак и притаилась с ними за каким-то хламом. Стало вдруг всюду пусто, хоть шаром покати. Только дым в трубах выдавал, что тут живут помещики.

Между тем к воротам приближались более двух десятков овец, впереди шел тучнейший баран с колокольчиком на шее. За стадом ехал воз, нагруженный мешками, за ним таратайка, тоже чем-то наполненная, а на ней восседал монах Бернардинского ордена, в коричневой рясе, с капюшоном на голове. Сбоку у него висели четки, сделанные из коричневой шерсти с крупными узлами вместо зерен.

На нагруженном возу покачивался мальчик, правя тощей лошадей. Увидев, что ворота заперты, он остановился и посмотрел вопросительно на монаха. Тот велел ему соскочить с воза и постучать, а сам затем громко произнес:

— Да будет прославлено имя Господа нашего Иисуса Христа!

Никто ему на это не ответил. Только собаки еще пуце залились лаем.

— Что же нам делать, пане? — обратился мальчик к монаху.

— Терпение, малый, терпение!

— Тут, видно, никто не живет!

— Как бы не так! А дым-то из трех труб валит! Видно, ужин готовят, только нас принять не хотят. А может быть, от французов заперлись... Стучи сильнее, а я скажу еще раз монастырское приветствие.

За воротами послышался какой-то шорох, затем — шепот. Наконец, робкий голос тихо ответил:

— Во веки веков, аминь!

И ворота, сильно заскрипев, отворились.

— Квестор бернардин! — послышалось во

всех углах двора.

И сконфуженная дворня стала вылезать из разных амбарушек и побежала к барскому дому. Вскоре показалась на крыльце экономка. Она пригласила монаха в барский дом, мальчика послала ужинать с прислугой, работникам велела отпрячь лошадей и пустить их с овцами на траву.

Монах был хотя и старый, но крепкий, здоровый, с густыми седыми волосами; лицо и нос — красные. Он смиренно, но с достоинством вошел в дом, где на пороге столовой встретила его сама хозяйка помещица. Сестра ее, Хольская, унимала в это время хохотавших до упаду барышень: они не могли без смеха вспомнить, как все приняли бернардина-сборщика за мародера.

Госпожа Пулавская усадила монаха и стала расспрашивать, откуда он и как это он умудрился скрыть собранное подаяние от мародеров.

— Бог уберег! — отвечал монах. — А сколько мы с мальчиком страху натерпелись, так и рассказать трудно.

— Что же с вами случилось такое?

— Всякое бывало — и смешное, и страшное!.. Как умею, расскажу вам по порядку, если желаете...

Тут вошли и дети, и молодежь, и все уселись слышать его рассказ.

— Я, как видите, монах Бернардинского ордена и жил в монастыре под Гродно, — начал свой рассказ квестор. — Но меня настоятель послал пешком в доминиканский монастырь, так как там просили дать им опытного сборщика. Получив благословение от настоятеля, вышел я пешком один-одинешенек, лошади мне не дали. Окрестности Гродно кишат мародерами. Я их тогда еще не боялся. «Что возьмут с меня? — думаю. — Не стацат же моей рясы. Да и не находка она для них: вся ведь в заплатах». Единственный червонец, который я взял с собой в дорогу, был запрятан мною на самое доньшко берестяной тавлинки, и под густым слоем табаку не оцупать его было. Привязал я за спину простой деревянный ящичек со всеми принадлежностями для письма, взял в руки посох и иду себе не спеша. Однако не долго мне пришлось идти одному; вскоре явились ко мне незваные това-

рищи — четыре француза. «Это все люди образованные!» — думаю, и заговорил с ними по-латыни. Они, однако, только поглядели на меня с недоумением и затрещали по-своему. Я стал рассказывать им по-латыни, кто я такой и откуда иду. «Bon, c'est bon, camarade!» — сказал мне один из них. Затем двое схватили меня за руки, двое других сняли с плеч моих ящик, уселись с ним наземь и хотели палашом сломать замок. «Не трогайте! — кричал я. — Денег тут нет, вот вам ключ!» — «C'est bon!» — сказал, потрепав меня по плечу, один из них. Отомкнули они мою канцелярийку, выбрали из нее все, что там было, видят, одни только бумаги и принадлежности для письма. Бросили все и ушли. «Ну, — думаю, — счастливо отделался!» Подобрал я разбросанные ими бумаги, уложил все снова, надел ящичек на спину и пустился далее. Но не успел я отойти нескольких шагов, как они вернулись и навьючили на меня два своих ранца, обтянутых телячьей шкурой. Как я ни кричал, как ни протестовал и по-латыни, и по-польски, они в ответ показали мне штык и крикнули: «Марш!». Что было делать? При-

шлось повиноваться и тащить на спине и свою, и их ношу. Каждую минуту сменяли они по очереди свои ранцы, а я все тащил их по два сразу. Устану, присяду где-нибудь отдохнуть — это они мне не запрещали... Вот как-то сел я на камень, вынул табакерку, сам понюхал и их потчую. Они понюхали да как расчихались. Я им кричу «Vivat!», а они мне: «Bon, camarade!». А того не понимают, что у них под носом червонец. «Вот нюхайте! — думаю. — А не унюхаете, что под табаком спрятано». Дошли мы так до Щучина. Все там уничтожено: господский дом, хаты, корчма. Жилище священника без окон, костел отворен, все в нем расхищено, даже склепы открыты и в гробах все перевернуто. Нигде ни души, только несколько камрадов, подобных моим, шныряют, разыскивая, не осталось ли чего на их долю. Несколько собак выли в деревне да петухи перелетали с забора на забор и пели свое «ки-ки-ри-ки», словно поддразнивая грабителей. Но торжество их продолжалось недолго. Мародеры крикнули: «Целься, пади!» И петух повалился, а за ним другой и третий... Свинья вылезла откуда-то, и той пу-

стили заряд в лоб. Насобирали горшков по хатам и принялись готовить обед.

Я улегся на траву и снял с плеч свою шкатулочку, а они у меня взяли ее и положили подле себя — вероятно, для того, чтобы я не вздумал бежать. А куда тут убежишь от таких милостивцев, которые не пожалеют послать тебе пули вдогонку?..

Разложили мародеры огонь в вишневом садике какого-то крестьянина и стали мне кричать: «Клеба! Клеба!» — «Откуда возьму я вам хлеба? — говорю я им. — Нет хлеба!» — «Нет клеба!» — повторили они грустно и стали мне показывать, чтобы я поискал в избах.

Но что найдешь после того, как побывали тут сотни подобных мародеров?

В досаде, что ничего не нашли, они разбили и уничтожили все, что еще уцелело в избах, и снова заохали: «Нет клеба!» — «Ага! Нет хлеба!» — подтвердил я.

Вернулся я с ними в садик, а там остававшиеся камрады открыли уже мою шкатулку и разжигают моими бумагами костер. Зло тут меня взяло, и я выхватил свое добро. Разжигавший костер сперва удивленно на меня по-

глядел, а затем хотел рубануть меня палашом, но мои спутники стали за меня заступаться и схватились тоже за оружие. Чтобы предупредить кровопролитие, я бросился между ними и стал просить знаками, чтобы они остановились, и затем передал собственноручно мою шкатулку тому, кто растапливал костер моими бумагами. Он не взял ее и, посмотрев на меня ласково, отошел: остальные бросились ко мне, пожимали мне руку, обнимали, крича: «Bon, bon, camarade! Vivat, camarade!».

Затем они снова принялись варить похлебку — суп, как они ее называли. Достали из своих манерок соли и риса, подправили и принялись есть, посадив меня на почетное место и отдавая мне лучшие куски.

Когда поднялись мы с привала, каждый из моих камрадов подтягивает свой ранец, а жегший мои бумаги захватил себе на спину и мою шкатулку. «Ну, пусть ее лучше берет себе, чем драться из-за нее!» — подумал я. Он, видно, понял мой взгляд, поговорил о чем-то со всеми остальными. Те пожали ему руку и стали мне объяснять жестами, что он несет

мою шкатулку, чтобы облегчить меня в пути. И я тоже пожал ему руку в знак благодарности...

— Вот и поймите этих людей! — молвил монах, нюхнув табаку. — Понимают благородство, а грабят!

К вечеру вошли мы в Слоним. Там грабить нельзя было, там находилось поставленное французами начальство, которое наблюдало за порядком. Камрадам моим указали квартиру. На прощание я собрал их всех вокруг себя, сам из тавлинки понюхал и их попотчевал. Затем, запустивши пальцы в глубь тавлинки, вынул оттуда червонец и повертел его перед носом каждого из них. Они взглянули друг на друга и покатались со смеху. Я тут же разменял червонец, на целый полтинник купил баранок и угостил моих французов.

«Bon, bon!» — говорили они, потрепав меня по плечу.

Но я, однако, дорого поплатился за эту шутку. До доминиканского монастыря довез меня писарь. Я там был встречен с распростертыми объятиями. Вся братия ничего не ела в последнее время, кроме хлеба. Да и того

оставалось уже мало.

«Salve, frater! — сказал мне настоятель. — Спасай нас от голодной смерти. Все у нас отобрали французы. А мои доминиканцы квесторами никогда не бывали. Поезжай за сбором, привози все, что дадут, зернышко к зернышку, и выйдет мерочка. Поезжай, frater, у нас и коней-то всех забрали, поезжай!»

«На чем же я поеду, reverendissime, когда коней у вас всех отняли?»

«Они оставили нам одну свою клячу. Худа и заморена, но свезти тебя может».

«А как я уберегу от мародеров то, что наберу?»

«А ты ступай леском, по тропинкам, мимо болот. Барана-проводыря я в ближайшем лесу припрятал, возьми его там. И поезжай!»

Пристроил я кое-как таратаечку и на следующий же день выехал на рассвете с благословением настоятеля.

Как видите, Бог пожалел меня. Удалось мне собрать более двух десятков овец, и червонцев немало лежало в тавлинке, а мешков с хлебом, овсом, картофелем и другими Божьими дарами набралось столько, что мне в

одной помещичьей усадьбе дали воз и мальчика вместо возницы... Ну, думаю, пора возвращаться к голодной братии. Дело шло к вечеру. Дай, думаю, заеду в вашу усадьбу. Слышал, что вы щедро награждаете нас, бедных квесторов, доеду, думаю, до заката солнечного, лишь бы мне только не повстречать опять камрадов. Еду по большому тракту, а сам все привстаю на таратайке и осматриваюсь во все стороны, как аист. Пришлось проезжать мимо корчмы, а тут как из нее высыплет целая ватага. Ну, думаю, придется мне распрощаться с моими овцами; хорошо хоть денежки сумел припрятать, не доберутся до них: тавлинка глубока!

И точно, ухватились было мародеры за мое стадо, да один из камрадов указал на меня рукой и стал что-то рассказывать товарищам, упоминая Щучин и Слоним. Э-э, думаю, да это один из моих старых приятелей, он меня защитит! Подали мы друг другу руки. Но затем он засунул руку в мой карман, вынул тавлинку, высыпал весь табак из нее в свой кивер, а с табаком посыпались туда и мои червонцы.

Его товарищи хотели расхватать у него эти

деньги, но он не дал, а разделил червонцы поровну между всеми. Затем высыпал снова табак в мою тавлинку и весьма любезно подал ее мне.

Нахохотавшись вдоволь и обыскав всю мою одежду, они было бросились снова на моих овец, но тут послышался лошадиный топот и нежданно-негаданно появился уланский офицер, а за ним вскачь неслась и его команда. Офицер закричал что-то мародерам по-французски, потом обратился по-польски к подъехавшим уланам: «Это те самые птицы, которых велено по приказанию Наполеона поймать и отправить в Минск. Окружите их и — марш вместе с ними!».

Приказание его было мгновенно исполнено. Мародеры не успели даже схватиться за оружие, оставленное ими в корчме, иначе бы дело не обошлось без кровавой схватки.

«А ты, отец святой, что тут делаешь? — спросил меня сурово офицер. — Помогаешь мародерам грабить своих?»

«Что вы, милостивец! — воскликнул я в ужасе. — Они меня самого ограбили. Ехал я за сбором от доминиканского монастыря, а они

на меня здесь и напали, чуть было всех моих овец не перерезали, а деньги все до последнего червонца отняли».

Офицер так грозно крикнул на мародеров, что я даже вздрогнул, а когда те ему проворчали что-то в ответ, он выхватил свой палаш из ножен и принялся бить им плашмя кого ни попадя, скомандовав и своим уланам также бить их.

Мародеры видят, дело плохо, закричали «Pardon! Pardon!» и стали возвращать мои червонцы.

«Все ли тут?» — спросил меня офицер, отдавая мне горсть золота.

«Должно быть все! — ответил я, не пересчитав еще червонцев. — Если они и утаили какой-нибудь из них, так Бог да простит им».

«Вот тебе еще один!» — сказал он мне, вынимая из собственного кошелька золотой с вычеканенным на нем изображением Наполеона Бонапарта.

«Спасибо вам, милостивец! — молвил я, кланяясь. — Весь монастырь станет Бога молить, чтобы Он Всеблагой послал вам здоровье и счастье».

Надев сапоги и снова припрятав свои червонцы в тавлинку, я вызвал из кустов спрятавшегося там мальчонку, сел на таратайку и направился прямо к вам, надеясь встретить гостеприимный прием, какой и точно встретил.

— Не совсем-то гостеприимно мы вас встретили! — сказала Пулавская с улыбкой. — Но у страха глаза велики. Моей прислуге показалось, что двигаются к нам мародеры.

— Понял, понял я это, сударыня, и после всего, за последнее время виденного мною, нахожу всякую предосторожность вовсе не лишней. Хотя ваша усадьба и в стороне, и защищена леском, а все-таки не мешает быть настороже.

Тут подали ужин, и хозяйка обратилась ко всем с приглашением откусать, чем Бог послал.

Все уселись за стол и принялись за молодой, только что выкопанный картофель со свежим маслом, мастерски сбитым привычной рукой панны домовой, или ключницы.



Глава XXI



Олько что Роевы, приехав в Катюшино, обратились с вещами, и Анна Николаевна велела подавать самовар, как явился к ним Григорий Григорьевич.

— Ну слава Богу! — обрадовалась Анна Николаевна. — А то я уж боялась, что ты не приедешь сегодня. Садись пить чай. А знаешь ли, какую оплошность я сделала? Не взяла с собой среднюю подушку. Теперь просто и не знаю, что под ногу Николушке подложить.

— Что вы это, маменька! — возразил молодой Роев, сидевший уже у чайного стола. — Вы обо мне, словно о ребенке каком хлопчете!..

— Не так как о ребенке, а как о больном! — заметила на это мать.

— Я уже почти совсем здоров... — начал было Николай Григорьевич.

Но мать снова его перебила:

— Как бы не так! Я тебе не поверю! Точно я не знаю, что перед дождем больную ногу тебе ломит! Вот тут-то подушка небольшая и необходима. Да я, погоди, за ней нарочного пошлю.

— Что ты! Что ты это, матушка! — сказал быстро старик Роев. — Французы уже в Дмитрове.

— Ах Господи! То-то ты поспешил так!

— Пришлось скакать верхом. Я еще не успел выехать из Дмитрова, они уже в Подлипечье были. Да что же это Пашеньки не видеть?

— Все в детской возится, полог детям устраивает да решетки у кроваток ситцевыми подушками закрывает, чтобы малютки не ушиблись.

— Эх, затей-то у вас, женщин, вечно много. Такое ли время, чтобы о пологах думать!

— Да как же это, батюшка Григорий Григорьевич, не заботиться матери о детях! Без полога они простудиться могут, и глазки у них заболят от солнца.

— А Ольга Владимировна где? — обратился Григорий Григорьевич к Нелиной.

— Прасковье Никитичне помогает. Они нынче неразлучные. Только тогда Оля и не тоскует, пока они вместе в детской хлопочут.

— А что это Краевых не видно? — любопытствовал старик Роев.

— Ось у них сломалась. Пришлось запасную в соседней деревне поставить, — отвечала старушка Роева.

— Вот и они — легки на помине! — добавила Нелина. — Да кто ж это с ними? Военный, кажется!

— Митя! Митя! — закричал со двора Павлуша, выбежавший встречать приехавших.

— Митя! — раздался в комнатах веселый женский крик, и Ольга пробежала мимо сидящих за чаем и была уже возле мужа.

— Как? Зачем? Как пустили? — посыпались со всех сторон вопросы на входившего в столовую Бельского.

— Нас защищать приехал! — говорила с торжеством его жена. — Он все время останется с нами!

— Как? — удивились мужчины. — Разве он ранен?

— Что вы! Нисколько не ранен! — ответи-

ла быстро Ольга Владимировна, однако сама с беспокойством стала осматривать мужа и, увидав, что рукав у него разрезан и завязан ленточками, ахнула и побледнела.

— Чего испугалась? — успокаивал ее Бельский. — Это лишь легкая царапина. Доктор не велел только утруждать еще руку, продевая ее в рукав, хотя она давно уже у меня здорова. Вот и доказательство, — добавил он, вынимая раненой рукой пакет из кармана. — Это вам письмо! — обратился он к старушке Краевой.

Марья Прохоровна взяла письмо дрожащими от волнения руками и стала читать его про себя. Анюта между тем стала за стулом бабушки и мигом прочла письмо отца, так как в нем было не много строк. Краев писал, что работы — головы не поднять. Но он чувствует себя бодрым и здоровым. Одно его только сокрушает — это постоянное отступление русских войск, словно драться русские разучились. Князь Багратион лежит раненый в имении князя Голицына, недалеко от города Покрова. Ему отняли ногу.

Пока бабушка с внучкой читали и перечитывали письмо, Ольга Владимировна болта-

ла, не умолкая; она суетилась около мужа и быстро расспрашивала его обо всем. Но тот отвечал весьма кратко и казался озабоченным или сильно уставшим.

Воспользовавшись случаем, когда супруга его пошла распорядиться, как поместить его удобнее, а другие дамы разошлись тоже по своим комнатам, он подошел к Роевым.

— Оля сказала верно! — шепнул он им. — Я защищать вас сюда явился. Поступил в партизанский отряд и буду с ним действовать в окрестностях Дмитрова.

— Вот как-с!.. — протянул старик Роев. — То-то я удивился: неужели с такой незначительной раной — да на отдых!..

— Такое ли время, Григорий Григорьевич!.. Но, знаете ли, вам и здесь небезопасно. Придетя, может быть, всем в лес забираться. Тут мародеры большими шайками ходят. Того и гляди нагрянут!

— А мы-то на что! — приободрился вдруг старик. — Мы их дубьем встретим. Я говорил с крестьянами. Они все готовы выйти по первому моему зову.

— Это и нам на руку! — молвил весело

Бельский. — Мы, партизаны, одни ничего сделать не можем по своей малочисленности, если попадем на большой отряд французских войск. А когда крестьяне помогают, мы и на большие отряды смело идем.

— Уж и до нас доходили слухи о партизанах! — сказал Павлуша. — Пребесстрашные они. Только я не знаю хорошо, в чем состоит их деятельность и кто их высылает.

— Это отряды, действующие самостоятельно и не имеющие ничего общего с армией. Их дело состоит в том, чтобы вредить неприятелю, чем только можно, и не давать ему возможности подвозить в войско провиант и фураж.

— Кто же первый придумал составить партизанский отряд?

— Начало партизанской войне положил подполковник Ахтырского гусарского полка Денис Васильевич Давыдов. Он был адъютантом при Багратионе и перешел от него в гусары, чтобы составить отдельный партизанский отряд. Но это ему не удавалось. Когда войска наши еще только двигались к Бородину, он писал Багратиону, что до сих пор ему

приходится действовать лишь в рядах товарищей и просил у него дозволения явиться к нему лично для объяснения плана своих действий. «Будьте надежны, — заканчивал он свое письмо, — что тот, который носил звание адъютанта Багратиона пять лет сряду, тот поддержит честь эту со всей ревностью, какую бедственное положение нашего любезного отечества требует». Переговорив с Давыдовым, Багратион стал просить Кутузова послать отряд в тыл неприятеля, совершенно отдельно от остальных наших войск. Но главнокомандующий находил подобное предприятие слишком рискованным и согласился дать только пятьдесят человек, требуя, чтобы с ними шел сам Давыдов. Когда князь Багратион передал эти слова Давыдову, тот ответил: «Я стыдился бы, князь, предложить опасное предприятие, уступив исполнение его другому. Вы сами знаете, я готов на все, но надо, чтобы дело вышло с пользой, а для этого пятидесяти человек мало». — «Он более не даст! — сказал Багратион. — Говорит, что и этих он обрекает на верную смерть». — «Если так, — сказал Давыдов, — то я иду с этими пя-

тьюдесятью. Авось, открою путь большим отрядам!.. Верьте, князь, партия будет цела, ручаюсь в том честью! Для этого только нужны, при осторожности в залетах, решительность в крутых случаях и неусыпность на привалах и ночлегах. За это я берусь... но только людей мало. Дайте мне тысячу казаков и увидите, что будет!» — «Я бы дал тебе три тысячи! — сказал Багратион. — Но об этом нечего и говорить: фельдмаршал сам назначил силу партии, нам следует повиноваться».

— Молодец Денис Васильевич Давыдов! — воскликнул торжественно Павлуша. — Взятся и исполнил. Но зато он не был в деле под Бородиным.

— Как не был? Был! И дрался на славу. А затем отпросился к генерал-адъютанту Васильчикову с письмом от князя Багратиона, прося Васильчикова назначить в партизаны лучших гусар. Кланяйся Павлу Алексеевичу Тучкову, смеялись над Давыдовым бывшие тут генералы, уверенные, что он вскоре попадет к французам в плен. Но Дениса Васильевича не смутишь насмешками. Взяв полсотни гусаров и восемьдесят казаков, он зашел с ни-

ми в тыл неприятельских обозов, двигавшихся по Смоленской дороге к Москве, напал на транспорт из тридцати повозок с прикрытием из двухсот пятнадцати человек пехоты, захватил в плен до ста человек, остальные все были убиты. Затем он взял еще небольшой обоз, брошенный струсившим прикрытием, и навел такой страх на французов, что они теперь не смеют отходить небольшими отрядами от войска и высылать фуражиров с малым прикрытием.

— Вот молодец! — воскликнули в один голос Роев и Павлуша; последний даже припрыгнул на стуле от восторга.

— С легкой руки Давыдова стали всюду появляться партизанские отряды! — продолжал Бельский. — Вы бы послушали про проделки Фигнера... Одно только нехорошо: беспощаден к неприятелю, редко кого в плен берет, всех убивает.

— Кто у него под командой? — спросил Павлуша.

— Есть и ахтырские гусары, есть и уланы, есть тоже и драгуны, и казаки. Говорят, Фигнер хочет во что бы то ни стало убить Напо-

леона, которого ненавидит. В начале кампании он все молился, а когда неприятель занял Москву, он несколько раз пробирался в город, одетый то во фрак, то в крестьянскую сермягу; входил в дома, занятые французами, высматривал, выведывал, что ему нужно, а ночью, подобрав себе товарищей, нападал на шнырявших по городу французов и убивал их. Ему, однако, ни разу не удалось застигнуть Наполеона врасплох, и он продолжал действовать со своим отрядом неподалеку от Москвы. Он убивает всех французов,двигающихся небольшими командами, уничтожает их артиллерию и боевые снаряды и старается истребить весь провиант и фураж, который может дойти до неприятельских войск. Фигнер хорошо знает французский язык и часто, переодевшись во французский мундир, беседует с неприятелем, как со своими, и узнает от них все необходимые сведения. При этом он поражает всех своим хладнокровием. Както ему надо было узнать численность одного отряда. Он переоделся французским кирасиром, надел белый плащ и, спрятав свой отряд в лесу, выехал на просеку у большой дороги и

остановился в тени у лесной опушки. Когда показались на дороге французские кирасиры, он дал пройти трем эскадронам и затем крикнул: «Qui vive?»[5]. Один из офицеров подъехал к нему и поговорил с ним. Но ему этого было мало. Он вернулся к своему отряду, провел своих по глухим тропинкам, велел им сойти с коней и притаиться в чаще, а затем с двумя уланскими офицерами, мундир которых был похож на мундир польских улан, служивших во французских войсках, поехал в неприятельский лагерь. Отряд остановившихся тут французов оказался довольно велик. Фигнер со своими товарищами подъехал рысцой к лагерю и с таким беззаботным видом, что часовым не пришло и в голову окликнуть его, и он прямо направился к кирасирскому полку, проходившему ночью мимо его отряда, и стал разговаривать с подъезжавшим накануне к нему офицером, как со старым знакомым. В это время его товарищи принуждены были вступить в разговор с другими офицерами, их обступившими. Один из них мог кое-как говорить по-французски, но другой не понимал ни слова. Но так как фран-

цузы приняли их за поляков, то нисколько не удивлялись их незнанию французского языка. Разведав, что ему было необходимо, Фигнер распрощался с офицерами, повернул лошадь и отъехал несколько шагов; но, будто вспомнив что-то, опять вернулся к ним, поговорил еще немного и хладнокровно поехал обратно в лес.

— Вот так отвага! — воскликнул Павлуша в восторге. — Если бы он не был таким безжалостным, я бы непременно поступил в его отряд. А теперь не хочу и поступлю лучше к вам! — обратился он к своему зятю.

— Я употреблю все, от меня зависящие, средства, чтобы это тебе не удалось! — решительно сказал Бельский.

— Это почему? — обиделся Павлуша. — Ты думаешь, я струшу, что ли?

— Нет, такого я не думаю. Наоборот, боюсь, чтобы ты не бросался безрассудно в опасность и не портил бы этим дело. В партизанском отряде надо действовать наверняка и не давать неприятелю возможности сообщить своим о случившемся. Поверь мне, ни один порядочный партизан не станет подвергать

свою жизнь опасности без особой нужды и пожертвует жизнью только тогда, когда нет другого выхода.

— Сумею и я выдержать характер, не беспокойтесь! — крикнул Павлуша запальчиво. — Если ты помешаешь мне поступить в ваш отряд, я пойду в другой!

— Ну, это мы еще увидим!

Павлуша примолк, не желая скрывать свою досаду, но вскоре снова заговорил.

— А где ваш отряд? — спросил он Бельского.

— Прячется в лесу неподалеку от Катюшино.

— И скоро вы будете в деле?

— Как только узнаем, что идет такая партия неприятеля, которую наши могут осилить.

— Не забудьте, что я с крестьянами помогу вам! — напомнил Григорий Григорьевич. — Только предупредите меня за несколько часов, а я соберу крестьян и кого нужно из дворни.

— Мы сами иногда не знаем, куда через каких-нибудь полчаса двинемся, — отвечал

Бельский. — Все зависит от вестей, которые доставят нам крестьяне, высматривающие неприятеля со всех сторон.

— Так я сейчас пойду и переговорю со своими, — сказал Григорий Григорьевич, поднимаясь. — Научу их, как действовать, и сообщу им условный знак, по которому они тотчас должны явиться ко мне вооруженные и готовые двинуться в путь.

— И я с вами! — молвил решительно Павлуша и пошел вслед за уходившим старым Роевым.

Молодой Роев стал двигать раненой ногой, но вдруг почувствовал в ней такую боль, что чуть не застонал.

— Плоха еще! — сказал он тихо.

— Уж и вы с нами не собираетесь ли? — спросил его Бельский.

— Отчего бы и нет! Если бы я только мог ходить свободно... Вот и вы ведь ранены, а участвуете в схватках!

— Какая это рана! Просто глубокая царапина на левой руке: палашом зацепили, просекли только рукав и верхние покровы тела. Из одного только желания скорее ею действо-

вать и согласился я оставить руку забинтованной.

— Не успокоюсь, пока сама не увижу твоей раны! — сказала озабоченно Ольга Владимировна, вошедшая в эту минуту в комнату.

— Хорошо, хорошо! Сама убедишься, что пустяк. Пойдем, мне кстати нужно поправить бинт на руке.

В продолжение нескольких дней все три семьи жили спокойно в Катюшине, отдыхая от всех пережитых лишений и тревог. Они все сходились за большим столом к чаю, завтраку, обеду, ужину, и тогда велся нескончаемый общий разговор и сообщались друг другу разные новости.

Старик Роев и Бельский ездили каждый день верхом в лес, но эти отлучки не тревожили дам: они были уверены, что мужчины ездят на охоту. Брали они иногда с собой и Прокофия, который недавно вернулся со своей женой и занимал всю деревню рассказами о том, что делается в Москве.

Раз вечером, когда все сидели за ужином, прискакал казак и привез Бельскому какое-то письмо.

— Что такое? Откуда? — встрепенулась Ольга Владимировна.

— Наш полк проходит неподалеку! — ответил ей спокойно Бельский. — Так товарищи мои просят меня приехать, чтобы повидаться с ними.

— Зовите их сюда! — предложила гостеприимная Роева.

— Весьма вам благодарен! — сказал Бельский. — Но полк наш проходит сторонкой, остановится довольно далеко отсюда, а офицерам в военное время нельзя отъезжать от своей команды... Не тревожься, если я не вернусь к утру! — обратился он тут к жене. — Мне предстоит часов шесть пути да с товарищами проведу несколько часов.

— Павлуша! — сказала Анна Николаевна племяннику. — Распорядись, чтобы дали поужинать казаку и угости его чаркой водки.

Это неожиданное поручение сильно, обрадовало юношу. Он сидел, как на иголках, выжидая конца ужина, а тут вдруг он может тотчас встать из-за стола и бежать именно туда, куда он стремился. Он пустился стрелой на задний двор, куда увели казака, усадил того

на крылечке, стал угощать всем, что только мог выпросить у ключницы, а сам старался выведать от него, куда направлялся партизанский отряд, так как он понял, что за Бельским прислал начальник отряда и что готовится ночное нападение наших на неприятеля.

— Когда выступаете? — спросил он казака, словно зная о ночной экспедиции.

— Не можем знать! — отвечал тот, засовывая себе в рот ложку, полную каши, щедро приправленной маслом.

— Ну а оружие готовят?

— Чего его готовить? — говорил нехотя казак, снова протягивая ложку к каше.

— Ну... сабли острят, патроны готовят...

— Пики и сабли у всех отточены, — продолжал медленно казак. — Патроны тоже всегда наготове. Хоть сейчас в бой!

Не узнав от казака положительно ничего, Павлуша поставил перед ним большую чарку водки. Затем, не дожидаясь, когда он кончит ужин, побежал к Прокофию. Тот был в казачьей шапке и крепко стягивал широкий кожаный пояс, на котором висели охотничий нож и

сумка с патронами.

— Голубчик, Прокофий, куда идете? — спросил Павлуша как можно ласковее.

— Куда идем, про то ведает барин, — отвечал довольно сурово Прокофий. — А мы пойдем, куда прикажут.

— Так все наши двигаются?

— Мне почем знать!

— И я пойду с вами!

— Ну нет, сударь! Этого не полагается. Кто же тут с барынями останется?

— Николай Григорьевич...

— Они больны. Каждый день пробуют ступить на раненую ногу, да никак не могут.

— А распорядиться все-таки может!

— Да кем распоряжаться-то! Считай, вся деревня идет с нами.

— А?! Так все идут?

— Да ну вас! — буркнул сердито Прокофий, недовольный тем, что все-таки проговорился. — Нашли время, когда разговоры вести! А я вам вот что скажу: коли только увижу, что вы примкнете к нашим, тут же старому барину доложу..

— Полно, голубчик Прокофий! Я и не соби-

раюсь... я так только...

— То-то! Я слово свое сдержу, так и знайте. Хоть по дороге примкнете — тотчас же объявлю.

Павлуша, видя, что Прокофий точно может выдать его, решил ехать следом за Бельским. Он воспользовался общей суматохой, забрался в конюшню, оседлал там своего конька, вывел его незаметно в ту сторону, откуда приехал казак, отнес туда свое ружье, кинжал и все необходимое для похода и стал ожидать в кустах.

Он слышал, как во дворе его звали и даже искали, затем все стихло, и на дороге показался Бельский в сопровождении казака. Как только Павлуша его завидел, он тотчас же вскочил на свою лошадь и стал пробираться боковой тропинкой в том же направлении, прислушиваясь к топоту коней, гулко раздававшемуся в ночной тишине. Ехали они так уже часа с три, пробираясь все леском. По расчету Павлуши, они должны были уже объехать Дмитров, как вдруг он перестал слышать топот коней. Он остановился, стал прислушиваться... Нигде ни звука, словно ехавшие

сквозь землю провалились.

Павлуша чуть не заплакал с досады. Он не знал, куда ему ехать.

А дело было в том, что Бельский, подъехав к опушке леса, примыкавшей к дороге из Дмитрова в Москву, остановился. Казак соскочил с коня, подвязал рогожками копыта обеим лошадям, и они оба поехали далее в полнейшей тишине. Отряд их был неподалеку, и, примкнув вскоре к нему, они пошли вместе с ним, двигаясь по опушке вдоль большой дороги и прислушиваясь к малейшему шороху. Тишина у них была полнейшая. Никто бы в нескольких саженьях не услышал, что двигается целый отряд. Слышно было, как совы перекликались или кричал заяц, попавшийся в когти какого-то хищника.

Прошли так довольно долго, когда ехавший впереди начальник отряда громко командовал: отдых!

Все остановились, сошли с коней, закурили трубки и расположились, как кому было удобнее. Кто вытащил сухарь и грыз его, макая в воду, взятую из ближайшего родника, кто поправлял седло и осматривал ружье.

Офицеры окружили начальника отряда.

— Будет нам помощь? — спросил тот у Бельского.

— Вся деревня Катюшино идет со своим помещиком Роевым. Двигаются они ближайшей дорогой, которой проехал и я.

— А что? Можно на них положиться? Не струсят?

— Господин Роев ручается, что не струсят.

— А вот увидим!

Стало светать. Повеял легкий ветерок, багровая полоса показалась между деревьями, набирало силу веселое щебетание птиц, и, наконец, величественно выплыло из-за леса солнце, рассыпало свои золотые лучи, отразившиеся в каждой капле росы.

Не прошло и получаса, как послышался вдалеке топот многих лошадей. Начальник отряда тихо скомандовал:

— Смирно!..

И все затихли, спрятавшись по кустам.

Топот становился сильнее и сильнее и, наконец, громко понесся по затихшим окрестностям. Весь партизанский отряд замер в ожидании. Вскоре показалась первая

партия фуражиров, двигавшаяся с сильным конвоем.

Ехавшие впереди офицеры беспечно разговаривали, покуривая коротенькие трубочки. Между ними ехал старик в штатской одежде.

— Странно, — говорил старику один из офицеров. — Не даются нам в руки сокровища из самого богатого монастыря. Я два раза ходил с герцогом де-Мартемаром, чтобы захватить их, и оба раза неудачно. А монастырь от Москвы милях в десяти — не более.

— Это вы ходили в Троицкую лавру, — пояснил ему старик.

— Ну да! Вы верно назвали монастырь.

— Да, в нем собраны громадные богатства. Но и стены его крепки.

— Что стены! С нами были пушки... Но первый раз мы сбились с пути, побоялись столкнуться с партизанами и вернулись; а во второй раз такой туман застлал местность, что и в двух шагах ничего не было видно; даже на самых храбрых из наших солдат напал какой-то панический страх, и мы, переночевав в двух милях от Москвы, вернулись в нее обратно, хотя герцог сильно опасался гнева

Наполеона, велевшего во что бы то ни стало овладеть неоцененными сокровищами этого монастыря.

— Вообще, — заметил другой офицер, — в России много золота и серебра, драгоценностей, но провизии ни за какие деньги не достанешь! Пора доставить запасы в Москву, а то там уже принимаются стрелять кошек и ворон. Питались кониной, теперь и ее не стало. А о хлебе давно и помину нет. Говорят, у короля Неаполитанского войска давно голодают.

В эту минуту они поравнялись с засевшими в кустах партизанами. Те осыпали их градом пуль и, выскочив из кустов, мгновенно окружили.

— Сдавайтесь! Не то всех перебьем! — прокричал по-французски начальник отряда.

Но французы выхватили сабли и бросились на тех из наших, которые преградили им дальнейший путь. Началась ожесточенная схватка.

Уже несколько убитых и раненых лежали в пыли, как в лесу послышались крики, и на опушке леса показался Павлуша на взмылен-

НОМ КОНЬКЕ.

— Наши бегом идут! — кричал он что было мочи. — Сейчас здесь будут!

Но на него никто не обратил внимания.

При виде раненых и убитых Павлуша остановился. Сердце у него сильно билось. «Так вот она, война-то! — мелькнуло у него в голове. — Неужто и мне стрелять в этих несчастных?» И ему стало невыносимо жаль французов. Но вот неприятельский гусар, держа саблю наготове, скачет прямо на Митю. Павлуша прицелился во врага, выстрелил, и тот ткнулся лицом в шею лошади.

«Неужто убил?» — подумал Павлуша, невольно вздрогнув. Но раздумывать было некогда, надо было показывать пример подошедшим крестьянам, и Павлуша смело бросился вперед.

Французы храбро отбивались, но, увидев нагрянувшую на них из леса толпу крестьян, вооруженных вилами, топорами, кольями и даже ружьями, они сообразили, что не пробьются к Дмитрову, и начальник их отряда поднял белый платок на сабле в знак того, что они сдаются.

Сражение прекратилось. Французы с суровыми лицами молча отдавали оружие. Раненые стонали, стараясь приподняться. Павлуша, до тех пор храбро действовавший, помогая своим, с ужасом смотрел на страдания раненых и на убитого им француза, свалившегося с лошади и лежавшего ничком у кустов. Ему захотелось увидеть его лицо и узнать, не жив ли он еще... Павлуша подошел к нему и повернул его на спину. Это был совсем еще молодой, красивый гусар с едва пробивавшимися усиками. На шее алела глубокая рана, мертвое лицо все еще было прекрасно. Павлуша не выдержал, отвернулся и заплакал.

Вдруг ему послышалось, что гусар говорит по-французски:

— Умереть... не увидав...

Павлуша быстро обернулся и тут только увидел, что в кустах за убитым лежит старик, обливаясь кровью.

— Я вам помогу! — сказал Павлуша по-французски, бросаясь к старику. — Боже! Да это господин Санси! — вскричал он вне себя, узнав лицо раненого старика. — Несите сюда носилки! — крикнул он крестьянам, испол-

нявшим обязанности санитаров. — Зовите скорее фельдшера! Наш знакомый ранен!

— Ах, это вы, monsieur Paul!.. — прошептал Санси. — Вы мне не дадите умереть... Я ехал к сыну...

Санси не договорил и лишился чувств. Павлуша помог фельдшеру поднять старика и остановить кровь, обильно лившуюся из пробитого пулей плеча.

— Ничего! — сказал фельдшер. — Пуля только задела кость. Одно нехорошо: много крови вышло. Для такого слабого старика это может быть смертельно.

— В путь! Скорее в путь! — торопил начальник отряда. — Выстрелы могли быть слышны в Дмитрове. Того и гляди, нагрянут французы.

Поспешно подняли раненых, оттащили в кусты убитых, завалили тела их сучьями, и отряд двинулся в глубь леса.

Бельский обратился к начальнику отряда: — Дозвольте отнести раненых в имение господина Роева. Там есть кому за ними ухаживать.

— Сделайте одолжение! — согласился

тот. — Возьмите с собой и раненых французов. Они нас только стесняют. А велеть их добить язык не поворачивается...

Пожав Бельскому руку, начальник отряда поехал со своими в противоположную сторону, уводя пленных, чтобы сдать их в ближайший город. А Бельский, Роев и Павлуша со всеми ранеными, окруженные крестьянами, направились напрямиком в Катюшино. Павлуша ехал возле самых носилок, на которых лежал Санси, и беспрестанно просил фельдшера посмотреть, жив ли он, и велел нести его как можно осторожнее. Это, наконец, так надоело фельдшеру, что он крикнул:

— Да кому, сударь, знать — вам или мне, — как лучше нести раненого!..



Глава XXII



Число нескольких дворян, не успевших выехать из Москвы до входа в нее французов, находился богач Яковлев. Он до последней минуты не желал верить, что Москва будет занята неприятелем, и велел закладывать лошадей в то время, когда тот уже был в городе. Семья его только что разместилась в экипажи, когда к ним во двор ворвались французы и отняли у них все, начиная с лошадей и экипажа, кончая обувью и последней провизией. Ограбленные, испуганные и голодные, они скитались по пылавшей Москве, где было у них много собственных домов, но все они сгорели. Наконец Яковлев решился обратиться к маршалу Мортье, поставленному Наполеоном московским генерал-губернатором, прося его дать ему пропуск для выхода из Москвы.

Узнав, что проситель — брат того Яковле-

ва, который находится резидентом в Штутгарте, Наполеон пожелал его видеть. И когда тот явился, стал, по обыкновению, объяснять ему все свои действия — разумеется, объяснять в свою пользу.

— Мои доблестные войска, — говорил он, — занимали почти все европейские столицы. Но я не сжег ни одной из них. А вы сами решили сжечь Москву. Москву священную! Москву, в которой покоится прах всех предков царей ваших!

— Мне неизвестно, — ответил Яковлев, — кто именно виноват в общем бедствии, но я сам на себе испытываю все последствия его.

— Россия — прекраснейшая страна! — продолжал Наполеон. — Вся она обработана, населена. Но дома я нашел пустыми или подожженными. Вы сами разоряете вашу прекрасную страну. И зачем? Это не помешало мне идти вперед. Пускай бы поступали так в Польше. Поляки того заслужили, они встречали нас с восторгом... Пора положить конец кровопролитию. Нам с вами легко поладить. Я не требую от вас ничего, кроме неукоснительного исполнения Тильзитского договора.

Я готов возвратиться, потому что главное дело для меня — справиться с Англией. Если бы я взял Лондон, то не скоро оставил бы его. Если император Александр желает мира, пусть только даст мне знать, и мы тотчас же помиримся. Если же он хочет войны, будем воевать. Мои войска просят, чтобы я их вел на Петербург. Пойдем и туда... В таком случае и Петербург подвергнется одной участи с Москвою.

Затем Наполеон заговорил о русском войске и стал превозносить свои силы и способности, понюхав табаку, перешел разом к другому.

— Вы хотите уехать из Москвы? — спросил он. — Я согласен на это. Только с тем условием, что вы, проводив своих, поедете тотчас в Петербург и, как очевидец, расскажете вашему императору обо всем, что делается в Москве.

— Я не имею права надеяться быть представленным государю! — заметил Яковлев.

— Постарайтесь быть представленным или встретить императора Александра на прогулке.

— Я нахожусь теперь вполне в вашей вла-

сти, — заметил Яковлев, — но я подданный императора Александра и останусь им до последней капли крови. Не требуйте от меня того, чего я не могу обещать.

— Хорошо! — кивнул Наполеон. — Я напишу вашему императору и скажу ему, что я послал сам за вами, но вы доставите это письмо...

На следующий день Яковлев получил письмо Наполеона к императору Александру и вместе с ним свободный пропуск из Москвы через передовые посты французской армии. Он вышел из города пешком со всей своей семьей, дворней и находившимися в Москве его крестьянами. К ним еще примкнули все те, которые рады были воспользоваться случаем уйти из города. Всего с Яковлевым вышли 500 человек.

Будучи уверен, что император Александр охотно согласится на мир, Наполеон не заболтался о том, чтобы его войска преследовали наши, и спокойно ждал ответа от государя. Однако император Александр не только не отвечал, но даже не принял приехавшего в Петербург Яковлева, чтобы не дать никакого

повода думать, что он желает вести какие бы то ни было переговоры с Бонапартом.

В это время русская армия отступала по Рязанской дороге, чтобы перейти на Калужскую и обойти французский авангард, стоявший тут на реке Чернишне. Армия наша двигалась так скрытно, что когда Мюрат захотел возобновить наступательное движение, он был сбит с толку нашими отдельными отрядами и казацкими и башкирскими полками, которые он принял за главную армию и, преследуя их, отошел в сторону от русских главных сил.

Чтобы не допустить Наполеона к Калуге, где находились склады продовольствия и все необходимое для войска, нашим надо было непременно занять Калужскую дорогу, укрепившись на которой, можно было также защищать весьма важные для нас пункты: Тулу с ее оружейным заводом и Брянск. От Москвы на Калугу ведут три пути; самый кратчайший — это через Красную Пахру. Кутузов пошел по ней и устроил свою главную квартиру в Красной Пахре, а затем отступил далее за реку Нару в селение Тарутино, вокруг которо-

го главная наша армия расположилась лагерем, так как не только необходимо было дать войскам отдых и запастись провиантом, но следовало еще приучить вновь сформированные полки к строю.

В Тарутинский лагерь стали подвозить со всех сторон все нужные припасы. Отправляя обозы, хозяева говорили своим приказчикам не брать ни одной лишней копейки. Пожертвования от подмосковных деревень и южных губерний были так щедры, что можно было отпускать нашим солдатам почти ежедневно порции мяса и вина. Этот безопасный отдых и изобилие припасов весьма ободрили русские войска, приунывшие после сдачи Москвы.

Кутузов говорил впоследствии: «Каждый день, проведенный нами в этой позиции, был золотым днем для меня и для всей нашей армии, и мы в полной мере воспользовались этими днями!»

И точно, он отлично воспользовался этим отдыхом, чтобы привести в полный порядок наши войска, расстроенные потерями в сражении под Бородиным.

Даже и погода способствовала нашей стоянке. Дни были ясные, только ночью приходилось разводять костры, так как чувствовалось уже приближение суровой осени.

При свете этих бивачных огней наш известный поэт Василий Андреевич Жуковский начал лучшее свое произведение «Певец в стане русских воинов», в котором так ярко охарактеризовал многих из наших славных героев-предводителей, начиная с Кутузова:

*Хвала тебе, наш бодрый вождь,
Герой под сединами!
Как юный ратник, вихрь, и дождь,
И труд он делит с нами.*

По вечерам, перед зарей, играла в русском лагере музыка и раздавались веселые песни. Множество крестьян из соседних деревень приходили в лагерь к своим знакомым или просто полюбоваться на веселье солдат.

Совсем иная атмосфера царила в лагере короля Неаполитанского, остановившегося на реке Чернишне верстах в десяти от Тарутина ближе к Москве. Место, им занимаемое, не было хорошо защищено от внезапного нападения, и французам приходилось постоянно

быть настороже. Возвращаясь после утомительной форпостной службы, солдаты не находили в лагере другой пищи, кроме крупы и конины. Если случалось им добыть сколько-нибудь ржи и пшеницы, они толкли зерна на камнях и варили себе похлебку, употребляя порох вместо соли и сальные свечи вместо сала. Непривыкшие к холоду французы и итальянцы сильно зябли в осенние ночи, а между тем у них не было дров, чтобы развести костры; они дрожали от стужи и сильно страдали от зубной боли. Лошадей приходилось им кормить соломой с кровель, если только удавалось отыскать ее.

Ксавье Арману пришлось сильно поубавить золота из своего кошелька, а кошелек у него был презамысловатый: он сшил его в Москве из кожи, да такой длинный, что он охватывал вокруг его стан и служил ему поясом. Кошелек этот он туго набил червонцами и разными золотыми вещами, добытыми им грабежом, и считал себя Крезом. Но он не приучил себя переносить разные лишения и любил полакомиться, а при такой бескормиде каждый кусок повкуснее стоил ему весьма

дорого, хотя не всегда попадал ему в рот. Бывало, купит он за несколько золотых белого хлеба и вина, а товарищи отнимут да еще, смеясь, повторят его же любимые слова: «На войне, если не грабить, умрешь с голоду!».

Это лагерное затишье продолжалось две недели, от двадцатого сентября по шестое октября, но партизанские наши отряды не переставали тревожить французов и наносить им всевозможный вред.

Фигнер и гусарский поручик Орлов переоделись во французские мундиры и отправились в самый лагерь короля Неаполитанского. Пробравшись с помощью крестьянина, указывавшего им дорогу, помимо ведетов, они благополучно подъехали к мосту через речку, за которой находился лагерь. Пехотный часовой, стоявший на мосту, окликнул их и потребовал отзыва. Фигнер, чтобы не дать заметить, что он не знает отзыва, разобрал часового за такую формальность по отношению к рунду, проверяющему посты. Часовой, сбитый с толку такой неожиданной нахлобучкой, пропустил их в лагерь, куда Фигнер явился, словно свой. Он преспокойно

подъехал к кострам и разговаривал с офицерами.

Разузнав все, что ему было нужно, он смело отправился назад к мосту, снова прочел нотацию часовому, чтобы он никогда не смел останавливать рунда, и доехал шагом до самых ведетов. Тут его снова окликнули: «Qui vive?». Но он и Орлов дали шпоры коням и пронеслись мимо ошеломленных солдат, выстреливших по ним наудачу, однако пули просвистели мимо, не задев смельчаков.

После одной из таких проделок Александр Фигнер писал в главную квартиру:

«Ныне в полдень между большой армией и авангардом побью и возьму нескольких пленных. Немалая часть кавалерии неприятельской, находящейся в авангарде, будет обращена против меня. Уведомляю для того, что, может быть, наша армия сим воспользуется».

В другой раз он уведомлял:

«Вчера мне стало известно, что вы беспокоитесь узнать о силах и движениях неприятеля; чего ради вчера же

был у французов один, а сегодня посещал их вооруженной рукою, после чего опять имел с ними переговоры. Обо всем случившемся расскажет вам посланный мною ротмистр Алексеев, ибо я боюсь расхвастаться».

Другой партизан, князь Кудашев, узнал, что двадцать седьмого сентября остановился в селении Никольском, близ Серпуховской дороги, довольно большой отряд французских фуражирщиков. У него самого было только пятьсот казаков, но он все-таки пошел к Никольскому и нашел там две тысячи пятьсот фуражиров с прикрытием из шести эскадронов под начальством двух генералов. Многочисленность французов не остановила его. Он послал в тыл им сотню казаков, а сам с четырьмя сотнями бросился смело прямо на них и обратил их в бегство. В этот день были убиты более ста человек и захвачены в плен более двухсот, тогда как наших убили и ранили только троих.

Через два дня сотня казаков из отряда того же князя Кудашева перебралась через реку Мочу, выгнала из селения французскую пехо-

ту, и, когда та построилась на поляне, чтобы дать отпор, казаки так стремительно бросились на нее, что убили более сорока человек и шестьдесят увели в плен.

Вообще наши партизаны наносили французской армии страшный вред. В продолжение десяти дней от двадцатого до тридцатого сентября они взяли в плен до шестидесяти офицеров и более трехсот солдат, причем ими было истреблено еще большее число. Были все страшно озлоблены на французов за их кощунство над святыней, даже башкирцы негодовали на них за это и, указывая на мучившихся в судорогах от голода французов, говорили: «Вот француз умирает за то, что вашу мечеть (церковь) грабил».

В тот же день, как князь Кудашев двигался к Никольскому, другой партизан, Дорохов, по приказанию главнокомандующего отправился с небольшим отрядом к Верее. В этом городе засели вестфальцы, возведя в нем земляные укрепления для защиты Смоленской дороги от нападения партизанских отрядов. В Боровске Дорохов встретил партизанский отряд Вадбольского, который поджидал его там.

Дорохов оставил в Боровске часть партизан наблюдать, чтобы неприятель не отрезал его от нашей армии, другую часть отправил в Верею преграждать путь к отступлению сидевшим там вестфальцам, а сам с остальными партизанами пошел к Верее. Не доходя трех верст до этого города, он велел своим партизанам сложить в одном селении ранцы, переправился налегке через реку Протву и двадцать седьмого сентября до рассвета подошел к Верее. Город этот расположен на горе, и был укреплен французами земляным валом с палисадами. Сказав солдатам краткую речь, Дорохов повел их на приступ, приказал идти тихо и атаковать неприятеля без выстрела — штыками. Вестфальцы были застигнуты нашими врасплох и кинулись к оружию тогда уже, когда наши ворвались в город; но все-таки защищались упорно. Они засели в домах и церквях, отбивались отчаянно и сдались только тогда, когда значительная часть их была перебита. При этом взято нашими в плен: один полковник, четырнадцать офицеров и триста пятьдесят солдат. Только что Дорохов овладел городом, как из Можайска по-

казался сильный неприятельский отряд с несколькими орудиями; но увидав, что Верей занята русскими, отряд сей не решился подойти к городу и ушел обратно. Священник верейского собора явился к Дорохову с несколькими сотнями крестьян, чтобы разрушить земляные укрепления вестфальцев. Дорохов отдал горожанам пятьсот ружей и все запасы, отнятые у неприятеля.

По примеру наших партизан крестьяне стали собираться в отряды и нападать на французов. Когда войска Нея заняли в конце сентября город Богородск, крестьяне села Павлова отправили всех стариков, женщин и детей в лес, а сами решили умереть или отомстить злодею, оскверняющему святыни. Начальником своей дружины они выбрали крестьянина Герасима Курина и не ошиблись в своем выборе. Прежде всего Курин приказал всем, кто может, купить ружья, а остальным сделать пики, и когда в пяти верстах от Павлова появились французы, он перешел со своими через реку и повел их на неприятеля. Сначала крестьяне с непривычки оробели, но Курин ободрил их словами: «Для чего же мы

христиане, если не пострадаем за веру? Для чего же мы православные, если не умрем за веру и царя!». Ободренные словами и примером Курина, крестьяне дружно бросились на врага и прогнали его в лес, захватив две повозки с четырьмя лошадьми и десять ружей.

Двадцать первого сентября Курин узнал, что французы хотят сжечь соседнюю деревню. Он пошел со своими на защиту и тоже прогнал неприятеля.

Двадцать седьмого сентября явились французские гусары в шести верстах от Павлова, и начальник этого отряда прислал ему сказать, что желает жить с ним и его дружиной мирно. Но Курин не поверил этому обещанию, бегом пустился со своими на неприятеля и бился с ним от одиннадцати часов дня до двух часов пополудни. В этой стычке неприятель потерял восемнадцать человек убитыми. Были захвачены трое пленных и с десятков лошадей.

Двадцать восьмого сентября французы послали новый отряд отыскивать своих пропавших гусаров. Курина в это время не было в Павлове, он поехал в город Покров просить

князя Голицына дать ему подкрепление. Получив в помощь двадцать человек конницы, он вернулся в Павлово и напал на французов, шедших туда. Те, застигнутые врасплох, побежали, а Курин преследовал их на протяжении нескольких верст и захватил десять лошадей и две повозки.

Увидав, что Курин со своей дружиной действует так успешно, крестьяне соседних деревень тоже стали собираться толпами, вооружаться и отбивать у неприятеля все награбленное им.

Французы решили наказать крестьян и послали довольно сильный отряд в эту местность. Узнав об этом, все соседние крестьяне из сел и деревень, лежащих близ Павлова, примкнули к Курину, и у него образовался отряд в пять тысяч человек. Отстояв обедню, они отслужили молебен, простились друг с другом и поклялись перед алтарем не выдавать друг друга до последней капли крови.

— Постоим за отечество и за дом Пресвятой Богородицы! — сказал Курин. — Французы грозят сжечь все наши дома и содрать кожу со всех нас. Так что же нам жалеть себя в

битве с ними!..

Затем Курин разделил свою дружину на три части, поручил старосте Стулову всю конницу и немного пеших, другому крестьянину тысячу пеших и, расположив их в засадах, не велел трогаться без его повестки, а сам с остальными засел скрытно в Павлове. Ничего не подозревая об устроенных засадах, французский отряд выслал два эскадрона в село Павлово, требуя от крестьян муки, крупы и овса, обещая за все заплатить по цене, какую сами крестьяне назначат. Один из эскадронов остановился вне Павлова, а другой — на площади села. Курин вышел к французам вместо старшины и сказал, что все будет доставлено, а сам послал дать знать Стулову, чтобы тот напал на эскадрон, стоявший вне села, не подозревая, что большой отряд неприятеля находится в трех верстах от Павлова. Сам он заманил вошедший в Павлово эскадрон в крестьянский двор, велел завалить ворота и истребил его почти весь. В это же время Стулов со своими бросился на второй эскадрон, перебил многих и преследовал остальных до деревни Грибовой. Но тут на них напал весь от-

ряд французов, погнался за ними и вместе с ними ворвался в селение Павлово. Плохо пришлось бы Курину и его дружине, если бы не подоспели к ним на помощь пешие, спрятанные в оврагах. Французы, не ожидавшие нападения с этой стороны, пришли в замешательство и побежали, а наши преследовали их восемь верст, и только наступившая темная ночь спасла французов от окончательного истребления. Нашим досталось в добычу двадцать пар конных повозок с лошадьми, двадцать пять ружей, сто двадцать пять пистолетов и четыреста сумок с патронами. На следующий день Курин повел свою рать к городу Богородску, чтобы выгнать неприятеля из сего города, но он не нашел уже там французов, ибо они выступили на соединение с главной армией.

Между тем, в разных местах России стали появляться крестьянские дружины. Крестьяне выставляли на возвышенных местах своих сторожевых, зорко следивших за движением неприятеля, и лишь только узнавали, что подходившие отряды малочисленны, нападали на них и истребляли до последнего челове-

ка. Если же подходивший отряд был велик, сторожившие подавали весть в ближайшее село, а там набатом собирали в условленное место крестьян со всех соседних деревень и сообща нападали внезапно на неприятеля.

В Смоленской губернии народ тоже весьма упорно боролся с французами. В Сычевском уезде майор Емельянов прославился истреблением множества неприятеля, а в Гжатском уезде успешно напал на врагов гусар Самус. Помещики Энгельгардт и Шубин были расстреляны французами за вооруженную борьбу с ними.



Глава XXIII



Наполеон, видя, что война довольно быстро принимает народный характер и что ему приходится бороться не с войском, а со всем народом, решил выступить из Москвы и еще раз попытаться завести мирные переговоры. Он послал к Кутузову своего генерал-адъютанта, но император Александр сделал строгий выговор главнокомандующему за то, что тот переговорщика принял, и отказался наотрез мириться с Наполеоном, пока войска его находятся в России.

Между тем Наполеон делал уже все распоряжения к отступлению. Он приказал маршалу Виктору расположить свой корпус между Смоленском и Оршей и, поддерживая французские войска, находившиеся близ Волыни и за Двиной, управлять Литвой и Белоруссией, наблюдая за заготовлением провианта.

Поставленному им в Смоленске комендан-

ту Браге-д'Илье Наполеон приказал расположить войска у Гжатска, Вязьмы и Дорогобужа, а вестфальцам оставаться в занятой ими местности между Москвой и Можайском. Общим маршалам было приказано тоже собрать как можно больше повозок и вывезти всех раненых из госпиталей, устроенных по Смоленской дороге в Можайске, Рузе, Колоцком монастыре и Гжатске.

Призвав к себе Дюма, Наполеон приказал ему разделить раненых, находящихся в Москве и в окружности ее, на два разряда: в первом поместить всех тех, которые могут идти пешком и безнадежных, а во втором — всех прочих.

— О первых заботиться нам нечего, — сказал он ему. — А потому обратите только внимание на остальных.

Вместе с тем он велел склонять жителей Московской губернии на свою сторону, всевозможными обещаниями заставляя их разведывать, что делается в русской армии, и распускать там слухи, будто бы в Москве сохранилось много хлеба и французы намерены тут зимовать. С этой же целью он рассы-

лал всюду и свои воззвания; но граф Раstopчин старался уничтожить своими афишками вредное действие, которое Наполеон мог иметь на народ.

Он писал:

«Крестьяне и жители Московской губернии! Враг рода человеческого, злой француз пришел в Москву, предал все мечу и пламени, ограбил храмы Божьи, осквернил алтари и церковные сосуды, надевал ризы вместо попов, посорвал оклады и венцы со святых икон, поставил лошадей в церквях. Он разграбил дома и имущество, обижал женщин и детей, осквернил кладбища; заловил кого мог и заставил таскать вместо лошадей вещи, им украденные. Морит наших с голоду, а теперь, как самому стало есть нечего, пустил своих ратников, как лютых зверей, пожирать все вокруг Москвы и вздумал лаской сзывать вас на торги, мастеров — на промысел, обещая порядок и защиту всякому. Неужели вы, православные, верные слуги Царя вашего, кормильцы матушки каменной Москвы, на его посулы положитесь и дади-

тес в обман лютому врагу, кровожадному злодею? Отнимет он у вас последнюю кроху, и придется вам умереть голодной смертью. Проведет он вас обещаниями, а коли деньги даст, то фальшивые; с ними же вам будет беда. Оставайтесь, братцы, покорными христианами, воинами Божьей Матери; не слушайте пустых слов. Почитайте начальников и помещиков: они ваши защитники. Истребим остальную силу неприятельскую; погребем их на святой Руси; станем бить где ни встретятся; уж мало их осталось, а нас — сорок миллионов людей; слетаются со всех сторон, как стаи орлиные. Истребим гадину заморскую, предадим тела их волкам, вороньям, а Москва опять украсится, покажутся золотые верхи, дома каменные, повалит народ со всех сторон. Отольются зверю лютому горькие слезы; еще недельки две, так кричат „пардон“ будет, а вы будто не слышите. Уж им один конец: съедят все, как саранча, и станут мертвецами непогребенными. Куда ни придут, тут и вали живых и мертвых в глубокую могилу. Солдаты

русские вам помогут; который победит, того казаки добьют. А вы не робейте, братцы удалые, дружина московская, и где удастся, поблизости, истребляйте нечистую гадину. А кто из вас злодея послушается, тому гореть в аду, как горела наша мать Москва!»

В отряде, посланном конвоировать раненых французов, лежавших в Дмитрове, находился и Ксавье Арман. Он нашел Этьена Ранже уже выздоравливающим, но еще очень слабым.

Вместо того, чтобы порадоваться выздоровлению своего земляка, он испытывал сильную досаду. «А каково! Не умер! — подумал Ксавье. — Ишь какой живучий!.. Того и гляди, скоро выздоровеет и займет место еще выше прежнего, за большое сражение его произвели в ротмистры... а что он такого сделал? То же, что и мы все, да вдобавок угодил еще под пулю».

Этьен, не подозревавший страшной злобы и зависти в бывшем своем сотоварище, был искренне рад встрече с ним. Он давно простил ему его жестокий поступок в ту минуту,

когда был ранен и, узнав, что в лагере Мюрата Арман голодал вместе со всеми, поспешил поделиться с Ксавье всем, что только у него было, и согласился, чтобы тот переночевал в соседней комнате, поскольку Этьен, Как офицер, занимал особое помещение в устроенном наскоро госпитале.

На следующий день Этьен проснулся довольно поздно и, к своему удивлению, услышал скрип колес отъезжающих повозок. Он стал звать госпитальную прислугу, но в соседней комнате никто не откликнулся. Встревоженный этим странным молчанием, он кое-как добрался до окна и вдруг увидел, что транспорт раненых уже двинулся и даже последние повозки выехали на большую улицу.

Он стал кричать им, спрашивая, отчего они его оставляют, но его голос в транспорте не услышали.

— Что это все значит? — спросил он вошедшего в эту минуту Ксавье. — Отчего меня не везут вместе с транспортом раненых?

— Оттого, — отвечал тот совершенно хладнокровно, — что ты записан в число безнадежных.

— Как? Еще не далее как вчера доктор говорил мне, что я скоро совершенно поправлюсь.

— Все доктора обыкновенно говорят это больным, но нужно иметь свой рассудок и не верить им. Говорю тебе это прямо, зная, что ты храбро становишься лицом к лицу со смертью.

— Но я сам чувствую, что начинаю поправляться! — продолжал Этьен. — У меня нет больше той изнуряющей лихорадки. Вот вторая уж ночь, как я сплю очень крепко.

— Ну и отдыхай себе тут на просторе, а мне пора.

И Ксавье, взяв свой палаш, который забыл накануне в комнате Этьена, протянул руку земляку на прощание.

— Когда же повезут слабых и опасных? — спросил Этьен, пожимая протянутую ему руку.

Рука Ксавье заметно дрогнула в его руке, но голос не изменил ему, и он сказал спокойно:

— Почему я знаю? Я ведь не офицер, как ты, а простой рядовой. Прощай!

И Ксавье оставил комнату, отлично зная, что второго транспорта для раненых не будет, сел на коня и поскакал догонять товарищей.

Первое время Этьен лежал недвижно, устав от продолжительного разговора с Ксавье. Но чем дольше он лежал, тем ему становилось удивительнее, что никто не навещал его и не справлялся по обыкновению о том, проснулся ли он и не пора ли ему делать перевязку. Прошел так целый час. Он, наконец, более не выдержал и, хватаясь за мебель, дошел до выхода и начал стучать. Никто ему не ответил.

Встревоженный тем, что его оставили совсем беспомощного, он толкнул дверь, та открылась, и он вышел на крыльцо и снова окликнул госпитальную прислугу. Но везде было пусто.

Этьен попытался сойти с лестницы, но не удержался за перила и грохнулся на землю. От сотрясения и боли в раненой ноге он лишился чувств.

Когда он пришел в себя, он уже находился в чистой, удобной комнате и около него хлопотал доктор, перевязывая ему рану. Оказа-

лось, что его перенесли в дом командира одного из полков дивизии, которая стояла в Дмитрове. Все были удивлены, что Этьена не увезли вместе с остальными ранеными, и когда навели справки об этом, то оказалось, что бывший его товарищ по полку, которого он оставил у себя ночевать, взялся сам с помощью доктора усадить его в отдельный экипаж, вследствие чего остальные и не заботились более о нем.

Этьену крайне тяжело было узнать, как отблагодарил его Ксавье за радушный прием, но он все-таки пощадил своего земляка и объяснил все дело недоразумением. Полковой командир обещал дать ему экипаж и фельдшера до Москвы, но вдруг пришло ему предписание выступить налегке и немедленно со своим полком в Москву. Пришлось оставить весь обоз в Дмитрове, и Этьену ничего более не оставалось, как терпеливо ждать, когда обозу велят двигаться и он поедет вместе с ним.

Этьен грустно следил глазами за отъезжавшими, но считал себя в полнейшей безопасности и надеялся тоже вскоре быть в Москве. Он спокойно заснул, но вдруг был разбужен

страшным шумом и криками. Взглянув в окно, он увидел, что русские партизаны напали на обоз и дерутся с оставшимися при нем французами.

Не ожидая себе пощады от русских, он кое-как выполз из дома и спрятался в сарае в разном хламе. Из укрытия своего он слышал, как победившие партизаны заняли дом, как кто-то расхаживал по двору и распоряжался, словно хозяин. В то же время он заметил, что в соседнем доме было тихо: если кто и входил в него, то тотчас же возвращался. Вследствие этих наблюдений он решился при первом удобном случае туда перебраться. Когда все затихло во время послеобеденного отдыха, он ползком перебрался в соседний сад и оттуда — во двор. Не имея силы вползти на крыльцо, он долго сидел, скорчившись, возле ступенек и прислушивался. Но слыша, что в доме никого нет, он, как неумелый ребенок, взобрался-таки на крыльцо — опираясь на руки и волоча раненую ногу — и очутился в небольших сенях. Тут, отдохнув, он пополз дальше. Найдя небольшой темный чуланчик, Этьен забился в угол за большую кадку.

Пока французы выступали из городов, занятых ими далее Москвы, русская армия продолжала отдыхать. Однако Винценгероде не дал спокойно дойти до Москвы дивизии Дельзона и сильно ее потрепал. Казаки между тем постоянно шныряли вокруг французского авангарда и высмотрели, что на опушке большого леса, примыкавшего к лагерю короля Неаполитанского, не выставлены охранные разъезды. Генерал Толь осмотрел весь лес тщательно и несколько раз по всем направлениям и доложил Кутузову, что с этой стороны легко подойти к неприятелю незамеченными и атаковать его. Главнокомандующий не скоро согласился на такое опасное предприятие: он боялся этим нападением на Мюрата вызвать Наполеона из Москвы, что имело бы следствием генеральное сражение. После долгих совещаний он, наконец, согласился и поручил генералу Беннигсену начальство над войсками, назначенными идти в обход неприятеля, а сам с главными силами должен был атаковать неприятеля пятого октября с фронта.

Приказано было всем русским войскам,

находившимся в лагере, перейти четвертого вечером за реку Нару и стать в указанном каждому отряду месте. Чтобы неприятель не заметил этого движения, велено было оставить в лагере от всех полков барабанщиков и музыкантов, чтобы они в надлежащее время били зарю. Для поддержания лагерных огней и для наблюдения за порядком в оставленном лагере назначили по одному унтер-офицеру от каждой роты. Нашим партизанам, Дорохову и Фигнеру, предписано было двинуться к селению Воронову — истребить стоявшие там два полка и отрезать Мюрату отступление к Москве.

Но приказания не были вовремя и точно переданы, шедшие на позицию русские войска встретили непредвиденные препятствия и вместо того, чтобы напасть на французов ночью, Беннигсену пришлось двигаться на них утром. Кутузов, прибыв к войску, нашел его совсем не готовым к выступлению: большинство людей еще спали, лошади стояли неоседланными, орудия не были заряжены. Тем не менее по данному ранее приказанию Беннигсеном Багговут пошел со своими на

неприятеля, а Орлов-Денисов повел казаков в атаку.

На передовом посту Себастиани французы готовили себе завтрак. В больших котлах варились похлебка с мясом павших лошадей. Офицеры расположились на скамьях, составленных из больших образцов, подле столов, устроенных таким же образом, и ждали своего кофе.

Ксавье, пристроившись к костру, устанавливал собственный кофейник, озираясь во все стороны. Он боялся, чтобы его товарищи не заметили лакомства, добытого им у Этьена. При этом он ни разу не вспомнил о бедном Этьене и с наслаждением думал о том, как он сейчас станет пить кофе, закусывая белым хлебом, тоже данным ему Ранже...

Вдруг в лесу послышался шум и, прежде чем Ксавье и его товарищи опомнились, показались казаки. Они неслись тучей прямо на французский полк.

— Седлай! Стройся! — закричали офицеры, вскакивая со своих мест.

Между тем пехота строилась в каре.

Но казаки смяли пехоту, ворвались в ла-

герь и разграбили все, что в нем нашли.

В это время показались русские войска под предводительством принца Вюртембергского и Багговута. Но последний вскоре был убит, и замешательство, произведенное его смертью, весьма повредило русским. Тем не менее Беннигсен опрокинул неприятеля и отнял у него множество пушек. В плен было взято нашими до полутора тысяч человек, а убито — не менее тысячи. В числе последних были начальник гвардии короля Неаполитанского Дери и генерал Фишер.

Шестого октября около полудня Наполеон делал смотр войскам маршала Нея, прибывшим в Москву, когда пришло ему известие о Тарутинском деле. Он был поражен тем, что русские войска стали нападать на его лучшие отряды, и отдал приказание тотчас же готовиться к выступлению. Он решился вызвать Кутузова на большое сражение, пройти в Калугу и остаться там зимовать или же перейти в Малороссию. В это время были уже отправлены из Москвы все раненые, которые могли скоро поправиться. Их увезли по Смоленской дороге вместе с теми награбленными веща-

ми, которые французы называли своими трофеями. Это были турецкие и персидские знамена, взятые русскими и стоявшие по церквям, золоченый крест с колокольни Ивана Великого и древнее русское оружие, хранившееся как редкость. Маршалу Мортье велено было оставаться в Кремле и по выступлении войск Наполеона взорвать его стены.

В тот же день оставили Москву корпуса вице-короля и Даву. Выйдя к вечеру на заставу, они расположились на бивуаках близ Москвы на старой Калужской дороге. Корпус Нея и гвардия ночевали еще в Москве.

Седьмого октября выступил Наполеон из Москвы, сказав: «Весьма может статься, что я еще вернусь в Москву!».

Но этому никто не поверил, и все старались увезти с собой свои пожитки и все захваченное, награбленное в России.

За армией потянулся нескончаемый обоз со всевозможными экипажами, нагруженными доверху всяким добром. Маркитанты вместо провизии везли тоже разную добычу; ею же были наполнены артиллерийские повозки, госпитальные фуры и навьючены все ло-

шади кавалеристов и ранцы пехоты.

За каждым корпусом двигался его обоз.

Жены генералов и офицеров с детьми, прислугой и пожитками ехали в обозе.

За ними тянулись толпы всевозможных мастеровых со своими семьями, прислуга, жены и дети солдат. Все это растягивалось на громадном пространстве, загромождая путь другим корпусам, за ними следовавшим.



Глава XXIV



Когда Санси привезли в Катюшино, он был в сильной лихорадке, а по временам находился в беспамятстве. Его поместили возле комнаты молодого Роева, а остальных раненых французов устроили на сене в отдельной избе. Все три старушки и молодая Роева попеременно наблюдали, чтобы все необходимое было у больных, а Анюта с Бельской поочередно дежурили у Санси.

Видя страдания раненых, старушка Нелина охала, что Павлуша ее *ходил на француза*, как тогда выражались, и не раз всплакнула, слушая его рассказ о происходившей с ними стычке. Она требовала, чтобы сын дал ей слово не ходить более с партизанами, но тот уклонился от этого, так как решил снова идти с ними при первом удобном случае.

Ольга Бельская и старуха Роева тоже тревожно следили за всякой поездкой своих му-

жей в лес, зная уже причину их частых отлучек, но пенять им не смели, чувствуя, что невозможно ни одному русскому человеку сидеть спокойно, когда его братья умирают за отечество.

Проснувшись как-то ранее обыкновенного, Ольга Бельская узнала, что муж ее уехал со стариком Роевым еще задолго до рассвета. Взгрустнулось ей бедной, и она пошла разбудить брата, чтобы расспросить его о причине такого поспешного отъезда, но и того уже не оказалось дома, а Анисья передала ей по секрету, что вся деревня двинулась куда-то, и Прокофий взял с собой запас на двое суток.

Встревоженная старушка Роева и ее гости сидели за утренним чаем, сообщая друг другу свои догадки и предположения насчет этой новой поездки с партизанами. Их не порадовало даже сообщение Анюты о том, что Санси уже гораздо лучше. Всем им казалось, что конца не будет этой ужасной борьбе. Они стали уже толковать, что им брат с собой, если придется бежать в лес.

— Да, — вздохнула тяжело Прасковья Никитична, — заботишься о том, чтобы устро-

ить детям все поудобнее, чтобы ветерок не пахнул на них, а тут вдруг придется укладывать их где-нибудь в лесу, между деревьями и пнями, да кормить всухомятку холодным, чтобы не догадались мародеры, куда мы спрятались.

— Можно будет деток парным молоком поить! — заметила успокоительно старушка Роева. — Но надо только корову с собой в лес взять.

— А как неприятель окажется так близко, что корова мычанием выдаст нас? — заметила бабушка Краева.

— Кто знает! — отвечала грустно старушка Роева. — Все может случиться. Того и гляди, что неприятель, преследуя наших, ворвется к нам в Катюшино.

— Так наши и поскачут домой! — возразила Бельская. — Они заведут французов куда-нибудь в тущобу, а сами пустятся врассыпную по лесу: ищи их там!..

— Тяжелое время переживаем! — вздохнула бабушка Краева. А сама в это время думала: «Где-то сейчас мой сын? Жив ли?..» И с грустью взглянула на внучку. Та сидела молча,

опустив голову и сложив руки на коленях. Может быть, и Анюта тоже думала в эту минуту о своем отце.

— Добрым путем Бог правит! — сказала бабушка Краева, чтобы немного приободрить Анюту и других. — Может быть, и наша возьмет: все в руках Божьих. И бедным французам не легче нашего. Вот хотя бы Санси наш... Как страдает за сына!..

— Да, только и бредит им! — сказала Анюта с грустью в голосе. — И в бреду, и в памяти только о нем и толкует. Все заботится скорее поправиться и ехать его разыскивать. Уверяет, будто он в Дмитрове лежит раненый.

— Молодой барин Павел Владимирович сюда скачет! — оповестила Анисья, широко открыв дверь.

Вся молодежь быстро выбежала на крыльцо. И точно: Павлуша несся во всю прыть, еще издали махал рукой и что-то кричал.

«Верно, добрые вести!» — подумали радостно выбежавшие на крыльцо.

— Французы из Дмитрова ушли! — уже явно донеслось до них.

— Куда? — спросили все разом.

— Отступают! — продолжал Павлуша, еле переводя дух. — Говорят, Наполеон уходит из Москвы.

Все слышавшие в волнении перекрестились.

— Слава Тебе, Царь Небесный! — молвила набожно Нелина, вышедшая тоже на крыльцо встречать сына. — Да правда ли?

— Не знаю, как в Москве, но в Дмитрове своими собственными глазами видел, что все французы выступили. Только обоз их остался. И мы его забрали.

— А раненые? — спросила Анюта.

— Раненых там нет. Видно, их увезли раньше, чем выступило войско.

— Не проговорись только об этом Санси! — сказала ему сестра. — Бедный старик только и живет надеждой свидеться с сыном... А тут вдруг узнает, что его нет более в Дмитрове.

— Не бойся, не проговорюсь! — ответил Павлуша, входя за всеми в столовую.

— Садись скорее и пей чай! — сказала ласково племяннику старушка Роева.

— Митя где? — спросила брата Ольга Бельская.

— Его отряду поручено очистить местность от мародеров, — ответил Павлуша, усаживаясь за стол и принимаясь за лепешки, испеченные к утреннему чаю. — Я приехал взять белье и все необходимое для Мити. Он раньше недели не будет здесь. Я, может быть, тоже не вернусь скоро, маменька! — обратился он к Нелиной. — Но лишь только узнаю, что французы точно выступили из Москвы, тотчас примчусь сказать вам об этом, и тогда можно будет вам всем снова вернуться в Дмитров.

— Куда там! — сказала грустно старушка Роева. — Французы, верно, разорили весь дом.

— Представьте, что наш дом целешенек. Да еще как убран: ковры везде, картины, много разной посуды.

— Полно шутить! — остановила его мать. — Тут не до шуток!

— Я и не шучу! — несколько обиделся Павлуша. — Григорий Григорьевич ахнул, когда вошел в дом, и тер себе глаза, думая, что все это ему мерещится... Оказалось, что у вас в доме стоял один из полковников дивизии Дельзона, а мы нагрянули, когда слуги его не успе-

ли еще все уложить, чтобы двинуться с обозом...

— Вот так диво! — покачала головой Роева. — Кому убыток, а нам прибыль в дом! Где же Григорий Григорьевич?

— Он там остался распорядиться. Хочет оставить Прокофия стеречь дом, а ему в помощники даст нескольких крестьян потолковее и подюжее.

— А в наш дом вы не заходили? — спросила Краева.

— У вас прибыли мало! — отвечал Павлуша. — Порядочно-таки все перепорчено и переломано... а мусору сколько всюду и всякой дряни!.. Не скоро все приведете в порядок.

— Хорошо еще, что не сожгли! — кивнула Краева.

— Ничего в городе не жгли. Думали, что всю зиму проживут. Взятые нами в плен говорят, что, выступая, они не знали, вернутся ли назад или нет.

— Может быть, и точно вернутся? — вскинула глаза старушка Роева.

— Этому не бывать! — живо возразил Павлуша. — Говорят, наши войска под началь-

ством Винценгероде двигаются к Дмитрову.

В эту минуту вошла Бельская, за ней — Анисья с тюком.

— Вот все нужное Мите! — сказала Ольга сквозь слезы, указывая брату на вьюк.

— Чего это ты плачешь? — удивился Павлуша. — Все радуются, а ты горюешь.

— Чем еще все это кончится! — отвечала тихо Бельская. — Разве не могут французы и теперь убить Митю?.. Скажи ему, чтобы берегся.

— Не глуп он и сам! — воскликнул Павлуша. — Без нужды в огонь не пойдет... Однако прощайте! Надо спешить к своим...

Он поцеловал руку матери, которая его благословила, обнял сестру, распрощался со всему тут бывшими, ловко поднял одной рукой тюк, с трудом принесенный Анисьей, и направился к крыльцу. Тут его встретил один из крестьян-воинов. Павлуша переговорил с ним тихо о чем-то и сразу же вернулся с ним в комнаты.

— Винценгероде разбил дивизию Дельзона и занял Дмитров! — объявил он радостно.

— Ну слава Богу! — воскликнули старуш-

ки. — Он не даст больше французам бесчинствовать.

— И нам теперь можно собираться восвояси, — добавила бабушка Краева.

— Погостите у нас, голубушка Марья Прохоровна! — сказала старушка Роева. — Слышали, какой у вас в доме беспорядок! Пусть прежде прислуга уберет все, тогда и поезжайте.

— Спасибо вам за гостеприимство, дорогая Анна Николаевна, но согласитесь, какая же уборка без хозяйского глаза! Вот если позволите, оставлю вам мою Анюту и все вещи, а сама сегодня же съезжу поглядеть, что в доме делается.

— Ни за что не пущу вас одну! — живо возразила Анюта. — Я дала слово батюшке не расставаться с вами до его приезда.

— Ну, ну! Что с тобой станешь делать! Поедем вместе! — согласилась старушка. — Только как ты оставишь своего друга Санси?

— Мы за ним станет ухаживать вдвоем, — заверили молодые женщины, Бельская и Роева.

— А вы навещайте почаще больного! — до-

бавила добродушно старушка Роева.

— Спасибо вам за ласку, родная! — сказала Краева, обнимая Анну Николаевну. — Искренний, радушный прием всегда дорог, а в такое время, какое мы переживаем, просто неоценим... Ну, внучка, собирайся!

— Без завтрака ни за что не пущу! — молвила решительно старушка Роева.

— Будь по-вашему! — согласилась Краева. — Только с условием: приедете в Дмитров, первые три дня у меня обедать. Иначе обижусь!

— Ваши гости! — отвечала Роева.

Тотчас после завтрака бабушка с внучкой распрощались со всеми, еще раз поблагодарили добродушную хозяйку, сели в свой тарантас и поехали в Дмитров, оставив большую часть своих вещей в Катюшине и взяв с собой одну только подводу, на которой поместили нескольких людей из прислуги и самые необходимые вещи...

Дом свой они нашли в страшном беспорядке. Мебель была переломана, многие вещи перепорчены, но зеркала и картины остались нетронутыми, а в кухне появилось много

небывалой там прежде посуды — медной, оловянной и деревянной. Ясно было, что тут стояли солдаты и устроились по-своему.

Долго бабушка с внучкой и со всей своей прислугой устанавливали все и приводили в порядок. Отобедав, они обе стали готовить себе комнаты для ночлега и, напившись чаю, разошлись по своим спальням. Старушка вскоре заснула, а Аня все еще не раздевалась, продолжая приводить в порядок свою комнату, которую содержала всегда чистой, как стеклышко. Одна дверь из ее комнаты выходила в небольшую девичью, где спала ее горничная, Люба; подле этой комнаты были сени, а в них темная каморка, куда Люба прятала свою постель на день.

Устроив все для барынь, Люба хлопотала в своей комнатке, беспрестанно охая, что проклятые французы не то что сена не оставили, а даже и соломы — чтобы подостлать для спанья.

— Нет ли в каморке? — спросила она сама себя, отворила быстро дверь и осветила все углы; но вдруг она чуть не уронила подсвечник и громко вскрикнула: — Господи! Никак

тут француз!..

Анюта, услышав ее крик, мигом подбежала к ней.

— Чего кричишь? Разбудишь бабушку! — сказала она ей. — Где тут может быть француз? В уме ли ты!..

Но в ту же минуту и сама вздрогнула, услышав стон. Анюта быстро взяла свечу из рук остолбеневшей от испуга Любы, осветила каморку и увидела в дальнем углу, за кадкой, скорчившегося человека.

— Сжальтесь над несчастным раненым! — произнес приятный мужской голос по-французски, но так тихо, что она едва разобрала сказанное.

— Вы как сюда зашли? — спросила она незнакомца тоже по-французски.

— Меня оставили при обозе... чтобы избежать страшной участи быть добитым партизанами. Я уполз и спрятался в эту каморку.

— Наши не убивают раненых! — сказала Анюта с достоинством. — Я распоряжусь тотчас уложить вас в постель и позову доктора... Люба! — обратилась она к горничной. — Ступай, милая, к Григорию Григорьевичу и ска-

жи, что у нас в доме лежит раненый француз. Пусть он устроит его поудобнее.

— Все теперь спят, барышня! Как я пойду?

— Верно! Тогда давай вдвоем устраивать ему постель.

И, привыкшая ухаживать за ранеными, Анюта быстро вытащила свою кровать в девичью, поставила рядом столик с питьем и свечой.

Потом спросила все еще лежавшего в каморке француза:

— Можете вы сами выйти или надо помочь вам?

— Мне трудно только подняться! — отвечал тот. — Но я могу кое-как дойти до следующей комнаты... Только, ради всего для вас дорогого, не выдавайте меня партизанам...

— Вы, кажется, считаете русских извергами! — выразила обиду Анюта. — Но вскоре вы сами убедитесь, как сильно ошибались на наш счет.

С этими словами девушка вошла в каморку, несмотря на все предостережения испуганной Любы, и старалась приподнять раненого, но тот до того глубоко забился в угол за

кадку, что она никак не могла его оттуда вытащить.

— Люба! Помоги же мне! — позвала она горничную.

Но Люба не слушалась. Напротив, она пятилась от каморки, словно в ней сидело какое-то чудовище. Анюта, сделав еще усилие, отодвинула, наконец, кадку и старалась помочь французу подняться. Но тот никак не мог этого сделать.

— Вы очень слабы! — сказала Анюта.

— Я сегодня весь день ничего не ел и непил, — прошептал раненый.

— Люба! — обратилась девушка опять к горничной. — Отыщи оставшуюся от обеда курицу и принеси сюда. Да смотри, не проболтайся другой прислуге, кто у нас тут!..

— Ни за что не оставлю вас, барышня, одну с проклятым нехристом! — бросила решительно Люба. — Он вас обманет и убьет тут.

— Полно вздор говорить! — остановила ее Анюта. — Иди и исполняй, что тебе велено.

— Воля ваша... Но я пойду и позову барыню.

И Люба, прежде чем Анюта успела сказать

ей слово, выбежала из девичьей, промчалась стремглав по комнате своей барышни и быстро отворила дверь в комнату старушки.

— Это ты, Анюта? — спросила та, проснувшись от шума.

— Нет, это я, матушка барыня. Не извольте беспокоиться и не бранитесь... Барышня велит... — горничная осеклась.

— Да говори же, бестолковая, скорей, что с ней! Заболела? Дурно ей, что ли?..

— Нет, сударыня! Но она французка на свою кровать укладывает!..

— Что ты глупости мелешь! Спросонья тебе мерещится, что ли? Какого такого французка?

И старушка, переполошенно поднявшись с постели, накинула себе на плечи капот и направилась в комнату к внучке.

— Где же барышня? — спросила она у Любы, не найдя в комнате не только Анюты, но даже и кровати ее.

— Там, в девичьей! — указала смущенная горничная рукой в полуотворенную дверь.

Удивленная и отчасти встревоженная старушка быстро вошла в девичью. И вошла она

в ту самую минуту, когда раненый, хватаясь за руку Анюты, старался выползти из чулана.

— Бабушка! — воскликнула Анюта, видя удивление и неудовольствие на лице Краевой. — Мы с Любой нашли в каморке вот этого несчастного раненого. Он за весь день ничего не ел и не пил. Велите накормить его. А питье я ему уже сама приготовила.

Марья Прохоровна тотчас же приняла участие в больном и приказала Любе принести ему кусок курицы, белый хлеб и вино.

«Ишь как они басурмана окаянного берегут!» — подумала Люба, но послушаться барыни не посмела и пошла к ключнице.

Между тем Анюта при помощи бабушки усадила раненого на свою постель и подала ему питье.

Это был молодой красивый француз, по видимому, офицер. Лицо его было смертельно бледно. От выступившего на лбу пота вьющиеся слегка волосы прилипли к вискам. Руки у него от напряжения дрожали.

— Вам делали сегодня перевязку? — спросила старушка с участием.

— Нет, сударыня! Со вчерашнего вечера ра-

на моя не перевязана.

— Я пошлю за доктором.

— Поздно, сударыня. Я кое-как сам могу перевязать себе ногу... Если бы только нашелся у вас лишний лоскут полотна и немного корпии.

Анюта исчезла за дверью и через минуту вернулась, неся все необходимое для перевязки.

— Вы, видно, ухаживали за больными! — сказал ей раненый. — Знаете все, что необходимо для перевязки.

— Я дочь доктора! — отвечала девушка. — К тому же в деревне, из которой мы только что вернулись, лежат несколько раненых, за которыми мы ухаживали. Между ними есть и ваши соотечественники, — добавила она с легкой укоризной в голосе. — Мы заботились о них словно о своих. Один из них — господин Санси, друг нашего дома.

— Граф Санси де-Буврейль? — прямо-таки вспыхнул молодой человек.

— Я не знаю, граф ли он. Господин Санси никогда не рассказывал мне о своем прошлом...

— Его знает госпожа Тучкова?

— Вы разве знакомы с госпожой Тучковой?

— Она мне сказала, что знает моего отца — графа Санси де-Буврейль...

— Так значит, господин Санси ваш отец?! — всплеснула руками Анюта.

Если вы говорите о графе Санси де-Буврейль... так это мой отец.

— А я все смотрю, — подала голос старушка, — что лицо ваше мне будто знакомо... Вы очень похожи на вашего отца — трудно ошибиться и не признать. Дайте же мне обнять вас, как сына.

И она обняла Этьена. А он целовал ей руки и плакал от радости.

— Успокойтесь, молодой человек! — говорила старушка, утирая слезы, выступившие у нее на глазах. — Вам не следует так волноваться. Берегите себя ради вашего отца, который только и живет мыслью увидеть вас.

— Но вы говорите, он ранен? — спросил Этьен с беспокойством. — Неужели он дрался против своих соотечественников?

— Он ни с кем не дрался! — отвечала старушка, погладив его по груди. — Это просто

несчастливая случайность. Он шел с отрядом французов, разыскивая вас. И на отряд напали наши партизаны.

Этьен взглянул на Анюту, словно говоря ей: «Вот видите, я был прав, опасаясь ваших партизан».

Затем он спросил с живостью:

— Рана его не опасна?

— Он не опасно ранен. Однако столько крови вытекло при этом, что он очень слаб. Бедняга, он ехал в Дмитров. Ему сказали, что вы в Дмитрове...

— Ужасная случайность! — заметила с грустью Анюта. — Он ехал впереди с офицерами. И одна из первых пуль, пущенных нашими, ранила его в плечо.

— Да, война — страшное зло! — вздохнула старушка.

— Вы совершенно правы! — согласился с ней Этьен. — Она ожесточает самых добрых людей.

В это время горничная принесла на подносе все, что ей было приказано. А за ней появились в дверях и остальные слуги. Лица их были сумрачны. Они не старались даже скрыть

свою досаду, увидев, как ласково обращается сама старая барыня с проклятым басурманом.

— Это сын нашего Егора Карловича! — поспешила успокоить их старушка Краева. — Тот самый, которого он так долго разыскивает.

— Ишь ты! — заметил кучер Фома, ходивший тоже с партизанами. — Также ведь француз!.. Ну да что, коли он сын нашего Егора Карловича! Знать, не басурман! Тот-то ведь о нем убивается. Известно — родное детище! А как зовут-то его?

— Ваше имя? — спросила Анюта.

— Этьен...

— Степан Егорович, — отвечала кучеру Краева.

— Имя-то христианское! — сказал Фома, почесав себе затылок.

Такое решение человека, бывшего проклятых басурман, смягчило разом всю прислугу.

— Что ж!.. — заговорили они. — Егор Карлович — душа-человек. Даром что не говорит по-нашему. А как собака — все понимает. Может, сын в него!

Лакей Андрей вызвался даже помочь раз-

деться Степану Егоровичу и уложить его в постель.

Старушка Краева распорядилась поместить Этьена в спальне Никанора Алексеевича, а кровать Анюты отнести обратно в комнату внучки.

Этьен от всей души поблагодарил бабушку и внучку и, пожелав им спокойной ночи, пошел в отведенную ему комнату, опираясь на руку Андрея и на плечо Фомы...

Когда на следующий день старушка Краева проснулась и спросила о своем госте, ключница Матрена доложила ей, что он проспал всю ночь, даже не пошевелившись, а теперь встал и пьет чай.

— Пусть Фома сходит за полковым доктором, — распорядилась Марья Прохоровна, — да попросит Григория Григорьевича прийти к нам чаю откусать. Все ли у тебя, Матрена, в чайной прибрано?

— Все чистехонько, матушка-барыня! До света все мы встали, и я с Палашкой все сама убирала. А Марфа испекла уже к чаю ваши любимые булочки и крендели. Только вот сливочек нет. Пыталась было достать... да где

теперь! Всех коров француз съел.

Через каких-нибудь полчаса старушка сидела в большом мягком кресле подле круглого чайного стола. По одну сторону ее поместился Григорий Григорьевич, по другую она усадила Этьена. Они между собой познакомились и разговаривали с помощью Анюты, разливавшей чай.

Этьен вовсе не был похож на несчастного француза, только что спасенного от голодной смерти. Счастье найти отца и надежда вскоре обнять его придали ему сил. К тому же он принарядился. Ему принесли из дома Роева, где он жил у полкового командира, все его вещи. Он побрился и надел офицерский сюртук.

— Теперь вы еще более похожи на вашего отца! — сказала старушка, любуясь молодым человеком, словно своим внуком. — То-то он обрадуется, увидев вас. Как только вы почувствуете себя в силах ехать, я сама отвезу вас в Катюшино.

— Я могу и сегодня туда отправиться! — ответил с живостью Этьен.

— Об этот надо еще спросить доктора! — заметила старушка. — Радость иногда прида-

ет больному неестественные силы.

— Я спрашивал об этом доктора, — сказал Роев. — Он находит, что раненый ваш бодрее и сильнее многих здоровых. Если бы он не разбередил недавно свою ногу при падении и не провел бы такого тревожного дня, как вчерашний, он был бы весьма скоро совсем здоров.

— В таком случае сегодня же после завтрака можно повезти его в Катюшино. Не поедете ли и вы, Григорий Григорьевич, с нами?

— С удовольствием! Меня так растрясла верховая езда, что рад буду, если вы меня посадите с собой в экипаж.

Анюта устроила в тарантасе место для раненого точно так же, как они это устраивали с молодой Роевой для Николая Григорьевича, и когда Этьен сел и вытянул больную ногу, ему было преудобно, и он весело разговаривал всю дорогу, рассказывая о случившемся с ним в России и жадно слушая рассказы о своем отце.

Через час они подъезжали уже к Катюшину. Их увидела полоскавшая белье Анисья и побежала оповестить об их появлении моло-

дую Роеву. Та испугалась, не вернулись ли французы опять в Дмитров; иначе почему же Краевы едут так скоро к ним. Не сказав ни слова свекрови, молодая Роева побежала встречать гостей.

Узнав, какая радость ждет больного Санси, она пошла на всякий случай его подготовить.

Войдя к старику в комнату, она сказала:

— А к нам нечаянные гости приехали! Угадайте — кто?..

— Неужто Краевы? — спросил Санси, оживляясь; ему сильно недоставало общества Анюты, которой он привык поверять все свои мысли и чувства.

— Именно они! — весело воскликнула Роева. — Да еще привезли с собой двоих мужчин.

— Вашего свекра и господина Бельского?

— Один точно мой свекор. Но другой не Бельский, а ваш давний знакомый...

— Неужели генерал Тучков?

В эту минуту вбежала в комнату сияющая Анюта, спрашивая по-французски Роеву, предупредила ли она, кого они привезли?

— Нет еще! — отвечала так же весело Прасковья Никитична. — Господин Санси никак

не может догадаться, кто это.

— Тот, кого вы давно-давно не видели и сильно желаете видеть! — выпалила Анюта.

— Полноте шутить и томить меня попустому! — сказал не без некоторого раздражения больной. — Я жду одного только, кого вы, разумеется, никак не могли мне привезти. Этьен мой, Этьен, увижу ли я когда-нибудь тебя?

— Мы вам привезли товарища вашего сына. И он расскажет вам о нем.

— Где же он? Отчего вы его прямо не привели ко мне? — бормотал старик торопливо. — Где же мой сын?

— Он в Дмитрове, и вскоре доктор позволит ему сюда приехать.

— Этьен! — вскричал вне себя Санси. — Неужто вы привезли мне Этьена?

Молодой человек, сидевший все это время у двери, выжидая, когда отца подготовят к свиданию с ним, услышал свое имя и вошел.

Старик, увидя его, приподнялся на постели и, протянув ему свою здоровую руку, воскликнул, задыхаясь от радости:

— Сын мой!.. Мое дитя!..

Но силы тут изменили ему, и он снова повалился на подушки.

Этьен, поддерживаемый Григорием Григорьевичем, приблизился к кровати отца и, упав к нему на грудь, зарыдал, как ребенок.

— Сын мой!.. Мой Этьен! — говорил старик, проводя дрожащей рукой по волосам молодого человека, будто лаская ребенка. — Нет, такого не может быть!.. Это сон — и какой прекрасный сон!..

Санси приподнял голову сына и долго вглядывался в его лицо.

— Неужто я нашел тебя? — шептал он дрожащими губами. — Такой! Совсем такой! Таким ожидал я тебя увидеть... Глаза и волосы матери. Остальные черты — мои... Да скажите же, — обратился он ко всем присутствовавшим, которые не могли удержаться от слез при этой трогательной встрече, — скажите, я не во сне все это вижу?

И бедный старик схватился здоровой рукой за лицо, желая удостовериться: открыты ли у него глаза.

— Это я, отец!.. — сказал, наконец, Этьен.

— Отец! — повторил Санси. — Неужто небо

возвратило мне сына?

И старик весь затрясся от рыданий, прижимая Этьена к груди.

— Успокойтесь, дорогой друг! — сказала Анята, стараясь произнести эти слова как можно серьезнее. — Не то заболете, и вам доктор не позволит долго видеть вашего сына.

— А, это вы, мой ангел-хранитель! — проговорил сквозь рыдания старик, взяв руку девушки своей горячей сухой рукой. — И как я не догадался, что вы, именно вы привезете мне моего сына?.. Не будь этой девушки, — указал он Этьену на Аняту, — я бы давно сошел с ума!..

— А я бы без нее умер с голоду, — добавил молодой человек.

— Как! Она и тебя спасла? — поразился Санси.

— Да, она! — кивнул Этьен. — Вы полежите, отец! — продолжал он. — А я присяду возле вас и расскажу, как мадемуазель Аннет нашла меня в камерке.

— Рассказывай, рассказывай!.. — поторопил его больной.

— Я расскажу все по порядку! — сказал весело молодой человек. — Но только с одним условием: чтобы вы лежали спокойно и не волновались.

Старик Санси притих, словно послушный ребенок, ожидающий сказки, все остальные вышли. И Этьен начал рассказывать отцу, как Анята нашла его в Дмитрове, и затем рассказал вкратце свою жизнь, стараясь излагать по возможности непринужденнее и веселее, чтобы не слишком волновать больного.

— Теперь постарайтесь заснуть, — сказал он, подавая старику успокоительное лекарство, оставленное ему заботливой и предусмотрительной Анятой.

— А ты тут ляжешь? — спросил Санси.

— Да, я тоже прилягу. Вот на этом диване. Засыпая, старик все поглядывал — тут ли сын.

Наконец, лекарство произвело свое действие, и он заснул.



Глава XXV



Тот день, когда Наполеон выступил из Москвы (7 октября), наш партизан Давыдов получил известие о том, что большой французский транспорт под прикрытием трех полков движется из Москвы в Вязьму. Узнав при этом, что два конных полка неприятеля пребывают в весьма плохом состоянии, он решился напасть на этот транспорт, хотя прикрытия его было гораздо многочисленнее его отряда. С этой целью он расположил своих партизан между Вязьмой и Смоленском и, разделив их на три части, стремительно напал на врага с разных сторон. Транспорт был отбит. Оказалось, что везли полное обмундирование на один из вестфальских полков. При этом были убиты партизанами 375 человек, взяты в плен 500 человек, отбиты 40 больших фур с сухарями, овсом, одеждой и 140 пар волов. При транспорте отправлены

были 60 человек пленных русских, большая часть которых сразу присоединилась к партизанам, воспользовавшись вооружением убитых и плененных французов.

В это время неприятельская армия, обремененная фурами и всевозможными экипажами, битком набитыми кладью, с навьюченными донельзя лошадьми и полными ранцами солдат, имела вид кочевников, переселяющихся со своими пожитками. Впереди шел корпус вице-короля (пасынка Наполеона, принца Евгения Богарне) и составлял авангард армии. Легкие кавалерийские бригады двигались по сторонам всех войск, прикрывая их с флангов. Им было дано приказание жечь все селения, оставляемые ими по пути.

На всяком мосту, всюду, где приходилось проходить потеснее, войска слишком скупивались и движение замедлялось, тогда как и без того шли весьма медленно — из-за тяжелой ноши пехоты и громадных вьюков кавалерии. Тяжелые орудия, двигавшиеся в четыре ряда по дороге, тоже изрядно мешали движению, преграждая путь экипажам, в которых ехали семейства офицеров и множество

иностранцев, поспешивших оставить Москву вместе с войсками Наполеона. Беспорядочность и неправильность остановок утомляли солдат более, чем быстрое движение с короткими, но правильными отдыхами.

Известие о том, что Наполеон ушел из Москвы, сильно обрадовало Кутузова. Но он не сразу поверил этому.

— Расскажи, мой друг, — сказал он офицеру, привезшему ему эту весть, — неужто в самом деле Наполеон оставил Москву и отступает? Говори скорее. Не томи мое сердце: оно дрожит...

Когда ему было рассказано самым обстоятельным образом о том, как французские войска выступили и как сам Наполеон ушел со своей гвардией, фельдмаршал зарыдал и, обратясь к образу Спасителя, принялся молиться:

— Боже, Создатель мой! Наконец Ты внял молитвам нашим! С сей минуты Россия спасена!

Желая обойти русскую армию слева, Наполеон направил свои войска по старой Калужской дороге. Чтобы скрыть план своего дви-

жения, он старался вновь завести с Кутузовым мирные переговоры, прося его придать войне более гуманный характер и сохранять тем города и селения от погрома...

Кутузов отвечал Наполеону, что он передал письмо своему императору, а сам позволит только себе повторить истину: «Трудно, хотя бы кто и желал, удержать народ, раздраженный всем совершающимся в его глазах, народ, уже двести лет не подвергавшийся неприятельскому нашествию, готовый жертвовать собой за отечество и неспособный обсуждать, что принято или отвергается в обыкновенных войнах. Касательно вверенных мне армий, льщу себя надеждой, что все признают в образе их действий правила, свойственные народу храброму, честному, великодушному! Я никогда не знал иных правил в продолжение моей долговременной службы и могу сказать, что неприятели, с которыми я сражался, всегда отдавали мне в этом отношении справедливость».

Стараясь выиграть время переговорами, Наполеон двигался далее и так скрытно, что, не будь наших партизан, ему бы удалось

обойти нашу армию. Но Кутузов получил от генерала Дорохова уведомление, что восемь тысяч французских войск появились у селения Фоминского, за которыми, вероятно, следует вскоре и вся армия. Кутузов, призвав к себе Ермолова, объявил ему о своем желании, чтобы Фоминское было немедленно занято нашими войсками, и прибавил:

— Ты пойдешь с Дохтуровым, я буду спокоен. Уведомляй меня чаще о том, что у вас будет.

Генерал Дохтуров с двумя корпусами, подкрепленный артиллерией, казачьими полками и партизанскими отрядами Фигнера и Славина, выступили десятого октября из Тарутинского лагеря. Весь этот день и всю ночь шел мелкий осенний дождь, от которого и без того плохие дороги совсем испортились. Пехоте приходилось постоянно останавливаться, чтобы вытаскивать завязшие в грязи тяжелые орудия. Ермолов предложил оставить их с прикрытием и идти с одними только легкими орудиями, которых было с ними достаточно много. Пройдя Аристово, Дохтуров остановился на ночлег и решил атаковать неприятеля.

ля неожиданно на следующее утро, прежде чем начнет светать. Было уже за полночь, приближался час выступления наших войск, как прискакал Сеславин, посланный с партизанами на разведку. Он донес, что, спрятавшись со своим отрядом в лесу, не доходя четырех верст до Фоминского, он видел Наполеона,двигающегося туда с гвардией и остальными войсками. Дав им пройти мимо, он захватил нескольких отставших и привез их как очевидное доказательство того, что французы уже у Боровска. От этих пленных Дохтуров узнал, что главные силы Наполеона двигаются на Малоярославец.

Дохтуров тотчас же послал уведомить об этом Кутузова, а сам поспешил со своими силами прямо к Малоярославцу. Прежде чем вступить в город, наши сделали обстоятельную рекогносцировку, причем узнали, что вице-король и Даву стоят у реки Протвы, а в Малоярославце находятся казаки, присланные туда Платовым.

Дорога, по которой надо было идти нашим войскам, пролежала по местам трудно проходимым, а тут еще, не дойдя до Спасского, они

узнали, что тамошние жители, проведав о наступлении французов, уничтожили плотины на Протве, отчего поднялась вода, и войскам без мостов трудно будет переправиться. Начали наши строить мосты на плотах, как подошел казацкий отряд под начальством Платова, присланный Кутузовым на помощь Дохтурову. Казаки тотчас же отыскали место для переправы и не только переправились сами, но и помогли перейти егерям. Убедившись, что дно у реки твердое, они перетащили бродом несколько орудий и зарядных, ящиков, не подмочив зарядов. Остальные войска переправились по наведенным мостам и, узнав, что Малоярославец занят уже передовыми французскими войсками, стали на рассвете по обеим сторонам Калужской дороги и в пять часов утра пошли в атаку. Началось одно из самых кровопролитных сражений; оно длилось восемнадцать часов. Сражались до сорока тысяч человек. Французы во что бы то ни стало старались пробиться на Калужскую дорогу, где могли найти запасы, наши употребляли все усилия, чтобы не дать им пройти. Ермолову удалось овладеть городом и сво-

им примером и быстрыми толковыми распоряжениями поддержать стойкость и храбрость в войске, наступавшем на неприятеля. Французский генерал Дельзон, видя, что войска его оттеснены русскими и отступают уже к мосту, за которым местность идет понижаясь, что дало бы большое преимущество нападающим русским, кинулся вперед, чтобы ободрить своих и показать пример. Он неустрашимо отстаивал выход из города, но был убит пулей в голову. Брат его бросился к нему на помощь и тоже был убит. Но пример дивизионного генерала и брата его не остался без подражания; французы дрались отчаянно и, снова овладев городом, засели в церкви и домах, выходящих на большую дорогу, и оттуда отбивались от наших, не перестававших наступать. Восемь раз Малоярославец переходил из рук в руки.

К вечеру прибыл фельдмаршал и, расположив приведенные им войска на высотах по обе стороны Калужской дороги, сам отправился в город, в то время занятый нами, и долго следил за ходом битвы и делал разные распоряжения в самом пылу дела, ежеминут-

но подвергая опасности свою жизнь.

— Ты знаешь, как я тебя берегу! — сказал он Коновницыну. — Но теперь прошу тебя очистить город от неприятеля.

Однако, несмотря на все усилия начальников удержать за собой город и на отчаянную храбрость войска, наши были вытеснены к вечеру из Малоярославца и расположились на бивуаках в полутора верстах от него. Чтобы дать возможность нашей артиллерии громить неприятеля и ночью, вызвали желающих проникнуть в Малоярославец и поджечь в нем крайние дома, которые еще не сгорели. Нашлись двое солдатиков, готовых исполнить указанное, и вскоре наши артиллеристы могли уже метко стрелять в толпы неприятеля при свете вспыхнувших пожаров.

Понятно, что после пожара и упорного боя улицы города Малоярославца представляли собой груды развалин. Дома были выжжены дотла, и направление улиц угадывалось только в скоплениях окровавленных мертвых тел. Под дымящимися еще развалинами погребены были убитые и раненые; истерзанные трупы раздавленных орудиями валялись гуда-

ми, обозначая путь, по которому проходила артиллерия. Те из раненых, которые еще оставались живы, взывали о помощи, тщетно стараясь выползти из-под трупов и обрушившихся бревен.

Но жертва, принесенная русскими, решила участь армии Наполеона. Все очень ясно понимали необходимость не допустить его выйти на дорогу к Калуге. И Милорадович, находившийся со своим отрядом за пятьдесят верст от Малоярославца, сделал такой быстрый переход, что Кутузов встретил его словами: «Ты ходишь скорее, чем летают ангелы».

Наполеон, видя, что русские войска не допустят его к цели его стремлений, долго оставался в мучительном раздумье. В ночь после сражения он сидел в избе ближайшего к Малоярославцу селения, положив голову на руки и навалившись грудью на стол, на котором разложена была перед ним карта той местности, по какой ему надо было идти. Маршалы, созванные им на совет, с удивлением взирали на своего повелителя, не скрывавшего перед ними смущения от испытанной им неудачи. Прошел целый час в этом то-

мительном молчании, и, наконец, Наполеон отпустил маршалов, так и не сказав им ни слова относительно того, что он намерен предпринять.

На следующий день, тринадцатого октября, донесли Наполеону, что русские войска стоят все на той же позиции и, по-видимому, готовятся к сражению. Наполеон направился к Малоярославцу осмотреть местность. Он ехал со своим штабом, опередив отряд, ему сопутствовавший. В это самое время казаки Платова устремились с трех сторон на селение, где Наполеон провел ночь, и если бы передовой взвод французов не заметил их вовремя, они бы окружили Наполеона со всей его свитой. Наполеон, предуведомленный о грозившей ему опасности, бежал со всей своей свитой, а штабные офицеры и гвардейцы вступили в бой с казаками. В это самое время другая партия казаков сделала набег в тыл неприятельской армии, отбила обоз с церковным серебром и захватила весьма важные бумаги, из которых наши узнали о распоряжениях Наполеона. Третий отряд напал на передовые войска Понятовского, разбил их и мно-

гих захватил в плен — в том числе и генерала Тышкевича.

Кутузов вслед за этим писал графу Витгенштейну:

«Последствия сего дела были значительны. Неприятель претерпел большой урон в людях, отбиты нами 16 пушек, взяты в плен генерал Тышкевич, несколько офицеров и 300 нижних чинов. Десять тысяч казаков под начальством Платова и три отряда партизан беспокоят тылы неприятеля, жгут его обозы и заставляют взрывать собственные зарядные ящики. Таковые обстоятельства принудили его отступить вчерашнего числа перед рассветом. Кавалерия наша под начальством Милорадовича сильно его преследует. Он, по-видимому, берет направление обратное — к Боровску».

И точно, Наполеон, обложенный со всех сторон, двинулся по старой Смоленской дороге, окрестности которой были опустошены его же войсками при походе на Москву...

В день выступления Наполеона из Москвы в Слониме еще ничего не знали о его намере-

нии оставить древнюю столицу и продолжали считать его армию непобедимой. К одному из тамошних богачей-аристократов собралось большое общество. Время уже близилось к полуночи. Молодежь по обыкновению танцевала; к ней присоединились и все пожилые, любившие принимать участие в общем веселье, и только степенные товарищи хозяина дома сидели у него в кабинете, ведя оживленный разговор.

— Пляшет, — говорил громажор Таньский про генерала Конопку, указывая слегка по направлению зала, — а между тем вести до нас доходят все более тревожные... Дунайская армия, двинутая императором Александром на Волынь, состоит из боевых опытных воинов. Говорят, численность ее достигает тридцати пяти тысяч. Да еще более двухсот орудий! Косинский, Рейнье и Шварценберг поневоле должны отступать.

— Правда ли, что они отступили за Буг? — спросил Пулавский.

— Мы скрываем это, — тихо ответил Таньский. — Но вам можно сказать по секрету, что в Брест-Литовске уже главная квартира рус-

ских, и отряды их заняли Пружаны. Того и гляди нагрянут к нам...

— Нет ничего хуже этих партизан! — заметил веско хозяин дома. — Говорят, они не дают покоя Шварценбергу.

— Да, Луковкин со своим казачьим отрядом тревожит его сильно.

— Не только тревожит Шварценберга, но опустошает берега Вислы и больше наносит вреда жителям, чем все контрибуции начальника Дунайской армии адмирала Чичагова. Мне пишут из Варшавы, там чистая паника. Жители уходят толпами, унося с собой, что могут. Комендант Дютальи принял меры к защите города. Он запер заставы, призывает Жителей к общему вооружению и в то же время отбирает у них лошадей, стараясь сформировать конный отряд. Но, должно быть, он очень глуп... Представьте, вздумал перефразировать известную речь Наполеона перед боем около пирамид и обратился к варшавянам со следующим воззванием: «Поляки! Великий Наполеон смотрит на вас с московских колоколен!».

Все присутствовавшие расхохотались.

— Не может быть! — говорил Таньский, трясясь всем телом от смеха.

— Мне пишет тот, кто сам слышал это воззвание! — утверждал хозяин дома. — Просто досадно было читать!..

— Правда ли, что Чичагов откомандировал сюда к нам отряд под начальством генерала Чаплица? — спросил Пулавский.

— Да, поговаривают, — отвечал Таньский. — Того и гляди нагрянет неожиданно. А у нас никто и не думал об этом...

— Что же вы не говорите генералу?

— Сколько раз говорил, он все только шутками отделяется. Последний раз, знаете, что он мне ответил? «Хочу, чтобы пришли сюда русские. Пусть мои уланы понюхают пороху!»

— Все это хорошо! — заметил хозяин дома. — Но береженого Бог бережет. Все ли у вас, майор, готово для отражения неприятеля?

— Какое там готово! Сами знаете, полк наш еще до сих пор не сформирован, вследствие чего и обязанности офицеров не распределены... Нагрянет к нам Чаплиц — мы

пропали!..

— Можно ли поручать полк такому беспечному человеку, как Конопка? — заметил Пулавский. — Ему бы только взвод в атаку водить, а не формировать полк. Для этого не одна опрометчивая храбрость нужна, а еще опыт и рассудительность. Отчего он не ведет нас в Вильно? Давным-давно семнадцатый, восемнадцатый и девятнадцатый уланские полки примкнули к бригаде генерала Вавржецкого, и он отправился с ними в Вильно к начальнику дивизии князю Гедройцу.

— Вы сами причиной тому, что наш полк до сих пор не сформирован! — обратился Таньский к Пулавскому. Мало денег вы нам даете.

— Помилуйте! — воскликнул Пулавский. — Больше тех поборов, которыми обложили нас, несчастных жителей, и враг требовать не может. Мы отдаем не только седьмую часть всех наших доходов, но платим процент со всех продуктов.

— Даже шубами! — заметил Броньский, вошедший в эту минуту в кабинет, чтобы покурить.

— Как шубами? — удивился хозяин.

— А вот послушайте!.. — сказал Броньский, садясь и закуривая трубку. — Приходит раз ко мне Шварцёнберг — надо было ему переговорить со мной о деле. Переговорили мы, он собирается уже уходить и вдруг спрашивает: «Господин подпрефект, я видел, у вас на дворе выколачивают прекрасную шубу. Она ваша?» — «Да, моя!» — ответил я. «Сколько она стоит?» — «Я заплатил за нее в Вильно сто червонцев». — «Это недорого... Мы, я думаю, пробудем здесь, в России, до зимы. Мне шуба необходима, но я не знаю, где бы мне купить ее. Не можете ли вы уступить мне вашу за то, что вы за нее дали?» Что мне было делать? Пришлось отдать! И вот я сижу теперь без шубы...

— Но деньги он вам отдал? — спросил Таньский.

— Если бы отдал! А то, видно, забыл. Так и до сих пор ни одного его червонца я не видел.

— А еще князь!

— Вот куда идут и все наши поборы, — заметил Таньский. — А нам ничего не перепадает.

— Зачем вам деньги? — возразил Пулавский. — Ваш полк формируется из дворян, и каждый обязан сам иметь одежду, коня и оружие.

— Вы забываете, пан президент, что есть между нашими и бедные студенты...

— Пускай богачи снабдят их всем необходимым...

— Пане! Пане!.. — перебил Пулавского внезапно вбежавший лакей; он был смертельно бледен и дрожал от страха.

— Что случилось? — встревожился хозяин дома.

— Русские остановились в корчме — в трех верстах от Слонима.

— Откуда эти вести?

— Шмуль прибежал, как шальной... пробирался он кустами, а то всюду пикеты расставлены.

Таньский быстро вышел и через несколько минут вернулся в сопровождении генерала Конопки, эскадронных командиров и старших офицеров.

— По-моему, нам надо как можно скорее отступить к Вильно для соединения с брига-

дой генерала Вавржецкого! — сказал Таньский решительно.

— Как! Бежать? — воскликнул с досадой Конопка, боявшийся представить начальнику бригады свой полк не вполне сформированным. — Нам? Бежать?.. Ни за что! Мы должны показать, что умеем бить неприятеля. Показать, что мы недаром называемся императорскими гвардейцами!

— Не отступим! В бой! Покажем себя врагу! — кричали заносчиво офицеры.

Таньский пытался их образумить:

— Храбрость не в том, чтобы кидаться без толку на верную смерть, а в том, чтобы пожертвовать жизнью с пользой для отечества. Мы не можем устоять против прекрасно обученных, привыкших к походной и боевой жизни русских войск. И нечего нам вступать в неравный бой с ними: лучше отступить с честью, чем попасть в плен.

— Не сдадимся! Умрем! — кричали офицеры.

— Это — по моему! — одобрил их Конопка. — И не станем больше терять время на пустые разговоры! Сядем на коней и — в карьер

на неприятеля!..

Уже через минуту все уланы седлали своих коней и готовились к немедленному выступлению. Их окружили родные и знакомые, осыпая их на прощание всевозможными пожеланиями. Конопка в это время прощался со своей женой.

— Будь спокойна, душечка! — говорил он ей. — Мы не позволим Чаплицу войти в Слоним. Оставайся тут с нашими милыми детками.

— Хорошо, хорошо, мой друг! — отвечала супруга грустно. — Останусь тут, пока не будет явной опасности.

— Все готово, генерал! — доложил громажор Таньский. — Прощайте, сударыня! — обратился он к госпоже Конопка и тихо прибавил ей: — Увозите поскорее детей и сами уезжайте в Вильно. Дела наши плохи...

Зная, что старик Таньский не станет пугать ее понапрасну, госпожа Конопка сразу же после ухода мужа велела закладывать лошадей и, собрав наскоро деньги, все мелкие ценные вещи и серебро, уложила все это в экипаж, посадила детей с няней, села сама и,

велел прислуге размещаться в двух бричках, где было уложено все необходимое для дальнего пути, приказала ехать по дороге в Вильно.

— Победят наши, — наказывала она оставшемуся работнику. — Садись верхом и догоняй нас. Мы тогда тотчас же вернемся.

Она выехала по Виленскому тракту в то же самое время, как беспечный муж ее строил к выступлению свой полк, составленный из блестящей, самой образованной молодежи всего края. Но не успели уланы хорошо построиться, как со всех сторон грянуло русское «ура!», и войска генерала Чаплица с трех сторон окружили их. Завязалось жаркое дело. Молодые уланы дрались отчаянно, но не могли долго стоять против многочисленной, опытной в бою кавалерии. Они были смяты и побежали в беспорядке по разным направлениям.

— Щадите юнцов этих! — приказал генерал Чаплиц, видя, что многие из противников даже не вооружены как следует и дерутся только саблями и пиками, тогда как в них стреляют из пистолетов.

Офицеры разнесли это приказание, и большая часть бежавших уланов была захвачена в плен.

Генерал Конопка, видя, что его полк уничтожен, поскакал по черному Новогрудскому тракту. За ним пустился Алоизий Пулавский с несколькими товарищами. Они надеялись укрыться в дремучем лесу, окружающем усадьбу Пулавских, и, не щадя своих коней, мчались три версты без остановки. Уже лес чернел перед ними, еще каких-нибудь полчаса — и они спасены. Но вдруг конь Конопки захромал, зашатался и рухнул на дорогу. Молодежь спешила и бросилась поднимать своего генерала. В это время их окружили казаки и всех взяли в плен.

Уланы, поскакавшие в другие стороны, подвергались той же участи. Избежали плена только те, которые бросились бежать по Виленскому тракту.

Догнав госпожу Конопку, они сообщили ей о несчастье, постигшем их полк, и поскакали далее в Вильно.



Глава XXVI



аршал Мортье, оставленный Наполеоном в Москве с восемью тысячами войска, должен был поджечь Кремлевский дворец, казармы и все общественные здания, кроме воспитательного дома, изрубить лафеты и колеса зарядных ящичков, изломать ружья и, заложив мины под кремлевские башни, вывести последние войска на Можайскую дорогу, но самому оставаться в Москве, пока не будет взорван Кремль.

Немногие жители, оставшиеся еще в Москве, ожидали с нетерпением и страхом, когда выступят отряды Мортье. Они боялись, чтобы те не принялись снова грабить и бесчинствовать. Слухи о том, что под кремлевскими стенами и башнями заложены мины, нагнали на них еще более страха. Никто не выходил на улицу, многие даже завалили двери и окна своих убежищ.

В эту, доживающую свои последние часы и минуты, Москву въехал десятого октября Винценгероде в сопровождении гусарского ротмистра Нарышкина. Впереди их вместо трубача ехал казак с белым платком на пике в знак того, что они едут для переговоров. Наполеоновские гвардейцы задержали их и представили Мортье. Но тот, вместо всяких переговоров, сказал Винценгероде: «Отдайте вашу шпагу и извольте идти за бароном Сикаром, который укажет вам назначенную комнату. Вы — военнопленный. Ваш жребий зависит от императора, к которому я отправляю курьера с донесением о вас».

На следующий день около полудня все французы и другие иностранцы, поселившиеся в последнее время в Москве, направились к Кремлевским воротам, чтобы выйти из Москвы с последними французскими войсками. В шесть часов пополудни выступил и Мортье со своим корпусом, составленным из солдат почти всех европейских наций. Сброд этот при огромном обозе, нагруженном добычей, награвленной в Москве, имел вид переселяющегося цыганского табора. Тут же, среди

отборных жандармов и щеголеватых солдат молодой гвардии, вели захваченных в плен Винценгероде и Нарышкина.

Вскоре по выступлении французов наступила темная осенняя ночь. В ее непроглядном мраке показалось вдруг в Кремле пламя и раздался страшный гул взрыва, за ним другой, третий — и так до шести. Некоторые из башен и часть кремлевской стены были взорваны. Причем были разрушены дворец, Грановитая палата, пристройка к колокольне Ивана Великого, арсенал и Алексеевская башня. Никольская башня тоже была повреждена, но образ, находившийся под ее воротами, остался в целости и даже лампадка не пострадала. Точно так же огонь не коснулся соборов, хотя древняя церковь Спаса на Бору была заметана горевшими головнями от пылавших вокруг зданий, и внешние двери Благовещенского собора совершенно обуглились. На Спасских воротах, посреди пламени, остался невредимым образ в золотой ризе, даже железный навес над ним и шнур, держащий лампаду, остались в целости.

При этих страшных взрывах земля заколе-

балась, как от землетрясения, полетели камни от разрушенных зданий, стены соседних домов треснули во всю свою высоту, двери и окна оказались вышиблены.

Обезумевшие от страха жители выбегали из своих убежищ почти нагие, изрезанные осколками стекол, ушибленные обвалившимися бревнами и кидались бессознательно то в ту, то в другую сторону, не зная, где искать себе спасения. Мародеры и разные мошенники, пользуясь безначалием и общим испугом, принялись снова грабить и буйствовать.

Бесчинства эти прекратились только с рассветом следующего дня, когда в Москву вступили русские войска под начальством генерала Иловайского четвертого, заступившего место взятого французами в плен Винценгероде. Узнав о печальной участи своего начальника и о выступлении французов, генерал Иловайский вошел в Москву вместе с казачьими полками и тверским ополчением, прекратил грабеж и отправил часть бывшего с ним войска для наблюдения за неприятелем. Сам же он остался в Москве с князем Шаховским, находившимся тогда в тверском ополчении, и

полковником Бенкендорфом.

После последнего погрома от Москвы оставались одни развалины. Только кое-где сияли уцелевшие позолоченные маковки церквей и возвышались колокольни и некоторые дома, все остальное следовало назвать одной сплошной развалиной, почерневшей от пожара. Нельзя было узнать, где были улицы и площади в этом хаосе обломков и пепелищ, по которым валялись трупы людей и лошадей и целые груды всякого хлама и сора. Среди этих пустырей блуждали полунагие, босые тени, готовые на все, чтобы только продлить свое жалкое существование.

Князь Шаховской и Бенкендорф стали водворять, по возможности, порядок в городе и подавать помощь несчастным жителям. Для прекращения грабежей и убийств были расставлены Иловайским караулы и рассылаемы разъезды. Торговцы, узнав, что Москва снова занята нашими, стали свозить туда всякие продукты: муку, овес, сено. На площадях продавали свежий хлеб и сбитень. С торговцами явились было и мошенники с пустыми телегами, надеясь нагрузить их награбленным

добром, но Бенкендорф приказал взвалить на их повозки трупы, валявшиеся по улицам, и отправил их вон из города.

На третий день по вступлении наших войск в Москву загудел торжественный благовест по всем уцелевшим колокольням, но литургию можно было служить только в большой церкви Страстного монастыря, так как она одна не была осквернена французами из жалости к престарелым монахиням, умолившим их не делать из церкви конюшни или провиантского магазина.

Когда после совершения литургии начался благодарственный молебен, не только все православные, но и калмыки, и башкиры упали на колени, благодаря Бога за избавление от страшного нашествия беспощадного неприятеля.

В то время, когда Москва первый раз вздохнула свободно после пятинедельного томления и стала вновь возрождаться, войскам Наполеона становилось все тяжелее и тяжелее. Настали холода, а у французов не было ничего теплого. При этом беспорядок в движении армии был страшный; повозки различных

обозов наезжали друг на друга и перепутывались, французы грабили припасы своих союзников, вследствие чего зачастую происходили между ними кровавые схватки. И не мудрено было им брать силой съедобное; они все страшно голодали, так как вездесущие партизаны не давали им возможности отлучаться за фуражом и провиантом. А тут еще Наполеон получил известие, что русские две армии двигаются на него: Дунайская с юго-запада под начальством адмирала Чичагова, а с севера идет Витгенштейн и занял уже Полоцк.

Видя расстройство наполеоновских войск, Милорадович, шедший в авангарде, решился вместе с Платовым атаковать их двадцать второго октября у Вязьмы. Французы не выдержали и стали отступать через Вязьму. Арьергард их получил при этом приказание жечь уцелевшие в городе строения, в особенности те, в которых находились заряды и военные припасы. Милорадовичу нечего было щадить разрушенный неприятелем город, и он велел взять его штурмом. Среди пламени и облаков дыма русские войска прошли через Вязьму и, заняв Смоленскую заставу, бились

с неприятелем вплоть до позднего вечера. Неприятель отступил по Смоленской дороге, потеряв убитыми и ранеными до четырех тысяч человек и три тысячи пленными. В числе последних находились генерал Пелетье и более тридцати офицеров. Некоторые французские корпуса отступали в таком беспорядке, что вид их наводил страх и уныние на остальные войска. Несметное число отставших тянулось вразброд и большей частью без оружия, побросав все, чтобы им легче было идти. Они отступали ночью, пробираясь во мраке по дороге, загроможденной орудиями и обозом. Люди и лошади едва передвигали ноги. Лишь только какая лошадь не выдерживала и падала, ближайшие солдаты кидались к ней, добивали ее и делили между собой ее мясо, которое затем ели полусырым. Плохо одетые, почти без обуви, многие из них не выдерживали стужи и тяжести перехода без здоровой пищи; не будучи в силах идти далее, они разводили огни, ложились возле них и оставались на дороге, предпочитая плен или смерть дальнейшему походу. Вскоре выпал снег, ударили морозы, дороги покрылись го-

лоледицей, лошади, не подкованные на шипы, скользили, падали. Французы потеряли большую часть своей кавалерии и принуждены были бросить по дороге множество повозок и орудий. Солдаты до того страдали от стужи, что, добыв топлива, не подпускали к костру тех из своих товарищей и даже начальников, которые подходили погреться, не принеся полена или хвороста, и равнодушно наблюдали, как они коченеют и умирают.

Поутру, поднимаясь с места ночлегов, они оставляли за собой столько трупов, точно происходила тут жестокая схватка.

Платов и Милорадович, шедшие со своими войсками следом за неприятелем, несколько раз настигали его и наносили ему сильное поражение. Одна надежда поддерживала еще упавших духом французов — это мысль отдохнуть в Смоленске и найти там свежие припасы, как уверял всех сам Наполеон. Двадцать восьмого октября, на последнем переходе к Смоленску, поднялся такой резкий ветер при двенадцатиградусном морозе, что даже Наполеон со своей свитой принужден был слезть с коней и идти пешком, чтобы согреть-

ся. Войскам велено было остановиться и ждать доставки из города провианта. Но так как нельзя было держать в рамках дисциплины голодных, полузамерзших солдат, то вскоре город наполнился мародерами, которые кидались, как волки, на магазины, чтобы хоть чем-нибудь утолить мучивший их голод. При таких беспорядках некоторые войска оставались по двое суток без провианта и, получив, могли его съесть с опасностью для жизни, так как к тому времени нахлынули остальные, которых не велено было кормить; оттесняемые при раздаче прикладами, они, обезумев от голода, с ужасными воплями бросались на всякого, у кого видели пищу, и насильно отнимали ее, убивая при этом тех, которые сопротивлялись.

В день вступления Наполеона в Смоленск, двадцать восьмого октября, принц Евгений Богарне должен был переправиться через реку Вопь по мостам, заранее приготовленным, но внезапно поднявшаяся в реке вода разорвала мосты, и не осталось никакой возможности скоро починить их. Подоспевшие казаки, увидев столпившихся на берегу францу-

зов, открыли по ним огонь и стали уверенно теснить их к реке.

Остальные казаки под начальством Платова переправились через Вошь и показали уже на противоположном берегу. Вице-король, боясь быть окруженным, отдал приказание к немедленной переправе всех войск, кроме дивизии Бруссье, которая должна была сдерживать натиск казаков.

Во главе корпуса кинулись вброд и поплыли через реку адъютанты вице-короля, за ними гвардия, а потом и сам вице-король со всем своим штабом. Переплыв через реку, принц Евгений велел перевозить обозы и артиллерию. Первые повозки и орудия были кое-как переправлены, но при этом дно реки до того взбороздилось колеями, что следующая партия засела, перегородив собой единственный брод, по которому можно было переправиться. Между тем казаки все сильнее напирали на французов и теснили их к реке.

Отчаявшись найти спасение, те решились бросить артиллерию и обозы и переправляться самим. Оставив экипажи, они наскоро вьючили лошадей самыми дорогими вещами и

переправлялись с ними вплавь. А кто не имел лошади, должен был идти почти по самую шею в ледяной воде. Перебравшись с опасностью для жизни, несчастные понимали, что им придется еще ночевать под открытым небом на голом снегу и слышать всю ночь вопли и проклятия своих сотоварищей, перебивавшихся впотьмах по загроможденному повозками броду. После всех перешла Воль дивизия Бруссье, бросив на том берегу шестьдесят четыре орудия и почти весь обоз корпуса, а Платов еще отбил у них двадцать три орудия.

С трудом добравшись до города Духовщины, вице-король смог дать себе и войскам некоторый отдых. Хотя город был оставлен жителями, но дома в нем сохранились и даже можно было отыскать кое-какие припасы. Все рады были отдохнуть под кровлей и утолить хоть чем-нибудь свой голод. Но отдыхали они недолго. Снова нагрянули казаки, французам пришлось спешно выступить, причем они зажгли город и продолжали предавать пламени все селения, попадавшиеся им на пути.

Преследуемые казаками, они спешили к

Смоленску, надеясь встретить там спокойный, сытный отдых, и напрягали последние свои силы, чтобы скорее до него добраться. Когда они узнали, что в Смоленске нет более провианта и надо им идти далее, они сначала не хотели верить своим ушам, а затем потеряли всякую надежду на спасение. Первого ноября мороз усилился до двадцати градусов, а их не могли всех разместить даже по теплым квартирам в этом разоренном дотла городе.

От Смоленска начались постоянные стычки русских с французами. Сражение под Красным унесло у неприятеля шесть тысяч убитыми и ранеными и более двадцати пяти тысяч пленными, в том числе — семь генералов и триста офицеров. Русские захватили несколько знамен, сто шестьдесят орудий и обоз маршала Даву, в котором нашли маршальский жезл его.

Последним выступил из Смоленска маршал Ней. Ему велено было взорвать кремль Смоленска. Мины были подложены под все башни и вдоль стен, но не принесли много вреда древним укреплениям. При выступлении Ней из Смоленска осталось в городе мно-

го мародеров, чтобы ограбить его вполне. Но смольняне, скрывавшиеся в подвалах и потаенных местах, вышли из своих убежищ и в числе шестьсот человек накинулись на злобствующих мародеров и безжалостно истребили их всех. Они кидали их в пламя пылающего города или сталкивали с крутого берега Днепра в проруби.

Шестого ноября русские войска напали на корпус Нея под Красным и преградили ему путь. Видя, что ему не пробиться, Ней набрал три тысячи самых удалых из своих войск и переправился с ними через Днепр, укладывая бревна, с берега на крепкий лед, ставший на середине реки. Но Платов погнался за ним, лишь только он переправился, и Ней потерял половину своего отряда. Корпус его, оставленный по ту сторону реки Днепра, сдался русским в числе двенадцати тысяч человек при двадцати семи орудиях.

В это время адмирал Чичагов, прибыв двадцать пятого октября в Слоним, собрал все наши войска, находившиеся в окрестностях этого города, и повел их наперерез французам к реке Березине, отправив графа Ламберта

взять Минск.

Разбив в нескольких сражениях литовские войска, помогавшие французам, Ламберт взял Минск, куда пятого ноября вступил Чичагов с войсками. Ламберт между тем пошел далее и разбил при Борисове храброго польского генерала Домбровского.

Казалось, французам не было исхода. Русские войска собирались со всех сторон, чтобы окружить их и пресечь возможность отступить далее.

Между тем Наполеон готовился к отчаянному предприятию. Он решился переправиться через довольно широкую реку Березину на глазах окружавших его со всех сторон русских войск. Чтобы доказать самым наглядным образом, как опасно предпринимаемое им дело, он велел одиннадцатого ноября принести к себе знамена всех своих полков, именуемые «орлами», и сжечь их. Большая часть обозов тоже была сожжена, а лошади из-под них — употреблены для перевозки орудий.

В это критическое для французской армии время стали подходить к ней стройные ряды войск маршалов Удино и Виктора, оставав-

шиеся все время на Двине и тем избегнувшие общего погрома. Они весело приветствовали своего повелителя обычным «Vive l'Empereur!». Но увидев нестройные его полчища вместо прежних прекрасно дисциплинированных войск, они быстро потеряли надежду на счастливый исход кампании и с ужасом взирали на солдат великой армии, едва прикрытых обрывками разной одежды — дамских салопов, священнических риз, ковров и рогож — и едва передвигавших ноги, обернутые кожей, полотном и войлоком. Это были тени великой армии. Их худые лица, обрамленные всклокоченными волосами, говорили яснее всяких слов о перенесенных ими страданиях и всевозможных лишениях. Дисциплины больше не существовало: многие офицеры, даже генералы шли подле безоружных солдат; как подчиненные, так и начальники не обращали друг на друга никакого внимания; и те и другие были одинаково подавлены горем и не заботились более исполнять свои обязанности.

Ровно через пять месяцев по вступлении Наполеона в Россию началась четырнадцато-

го ноября переправа его войск через Березину близ деревни Студянки.

От сильной стужи замерзли близлежащие болота, но сама река еще не стала. Ее покрывали плывущие льдины, весьма затруднявшие возведение мостов. Но понтонеры и саперы, одушевленные присутствием самого императора, наблюдавшего за работами, бросались по грудь в воду между льдинами и работали день и ночь, не щадя ни сил, ни самой жизни для спасения армии.

Адмирал Чичагов, обманутый ложными донесениями, отошел в сторону от места переправы французских войск. Подле Березины остался только генерал Чаплиц с весьма незначительным отрядом. Он не мог помешать французам строить мосты, так как не в силах был опрокинуть артиллерию, защищавшую переправу, а орудия были поставлены Наполеоном в весьма удобной местности. Все-таки он пробовал было напасть на французов, но его оттеснили войска маршала Удино, успевшие уже переправиться.

Несмотря на то, что мосты, построенные для переправы, два раза ломались под тяже-

стью орудий и обозов, Наполеон успел-таки переправить большую часть своих войск и сам переправился со своим штабом, не обращая внимания на несчастных солдат, сброшенных с моста и гибнувших в волнах замерзающей реки.

Переправа остальных французских корпусов еще продолжалась, когда шестнадцатого ноября русские войска напали на перешедших Березину, и завязалось жаркое дело. Маршал Удино был при этом ранен. Но чем дальше двигались русские, тем более упорное встречали они сопротивление от все прибывавших с той стороны реки войск. Схватки происходили весьма кровопролитные. Перевес склонялся то на одну, то на другую сторону. Но французам удалось-таки пробиться, потеряв пять тысяч человек убитыми и ранеными. Кроме Удино, были ранены генералы Легран, Заиончек, Клапперад, Домбровский и Княжевич.

В это время подошел граф Витгенштейн со своими войсками, и его авангард под начальством Властова встретился с передовыми постами маршала Виктора, опрокинул их и рас-

положился на высотах против продолжавших еще переправляться остальных французских войск, направив орудия на обозы, скученные у мостов для переправы. Люди, находившиеся при обозах, кинулись в беспорядке к мостам. Те, у которых были лошади, сшибали с ног пехотинцев, шедших впереди; экипажи и фуры давили людей, повозки опрокидывались, лошади, притесненные к реке, тонули или, собравшись в табуны, не подпускали людей к переправе. Все, наконец, смешалось в нестройную массу под ядрами и картечью русской артиллерии, и переправа остановилась.

Напрасно маршал Виктор и французские генералы убеждали всех двигаться дальше, напрасно стращали, что мосты будут вскоре сожжены: оставшиеся при обозах не решились переправляться.

Наконец, в девять часов утра показались у мостов наши донцы, и, чтобы преградить им путь, мосты были зажжены. Несчастные — находившиеся при обозах больные, раненые, женщины и дети — были лишены последней возможности переправиться на ту сторону ре-

ки. Те из них, которые могли двигаться, бросились к пылавшим мостам. Но мосты обрушивались под ними. Другие пробовали переправиться вплавь и гибли в волнах между льдинами.

Вообще при переправе через Березину Наполеон потерял двадцать тысяч войск и весь обоз — так что награбленное в Москве досталось обратно нашим.

Когда войска графа Витгенштейна подошли к деревне Студянке, им представилось необычайное зрелище. Все пространство на квадратную версту было усеяно экипажами, фурами, повозками, между которыми среди награбленной добычи лежали кучи бездыханных тел и ползали раненые и умирающие от холода и голода. При стуже в двадцать градусов положение оставшихся было ужасное, особенно — положение женщин и детей. Они просили, как милости, кусочек черного хлеба, предлагая за него оставшиеся у них дорогие вещи. Многие из русских солдат из сострадания делили с ними свою пищу, отказываясь брать что-либо взамен.

В это время вице-король и Даву успели уй-

ти за Наполеоном к Зембину, где император провел ночь в избе с кровлей, разобранной на бивачные огни, а маршалы и его свита помещались в избах, разобранных чуть не до самого основания.

После этого поражения отступление французов было не что иное, как бегство. Русские войска следовали за ними по четырем дорогам, заботясь только о том, чтобы не давать противнику возможности остановиться и оправиться.

Наконец, подобное положение стало для Наполеона невыносимо. Он сдал начальство над всеми войсками Мюрату, приказав ему идти в Вильно, собрать все остальные войска ближе к этому городу и зимовать в этой местности, а сам уехал двадцать третьего ноября с Коленкуром; на козлах сидели капитан Вонсович и мамелюк Рустан. Следом за ним ехали гофмаршал Дюрок и генерал-адъютант Мутон.

Из всех войск наполеоновской армии только один австрийский корпус графа Шварценберга успел уйти в полном своем составе в Польшу. Шварценберг не только не остался

подать помощь войскам Наполеона, но приказал и саксонцам, находившимся под начальством генерала Ранье, примкнуть к своим войскам, когда узнал, что Наполеону приходится туго.

Генерал Дюма, добравшись до Вилковишек, отдыхал от всех перенесенных мучений, как вдруг вошел к нему человек в коричневом сюртуке, с длинной бородой и красивыми сверкающими глазами.

— Вы не узнали меня? — спросил он резким голосом.

— Нет. Кто вы?

— Я — арьергард великой армии. Маршал Ней.

Оказалось, что изо всех его войск спаслись только он и один из его генералов. Число вооруженных людей, перешедших обратно границу России, было около двух тысяч четырехсот человек старой гвардии и шестьсот гвардейской кавалерии. Во всех прочих корпусах оставались только знамена, сопровождаемые несколькими офицерами и солдатами. От всей артиллерии остались лишь девять орудий.

Глава XXVII



Иновала зима со всеми ее ужасами. Весеннее солнышко пробудило от сна вечно молодую природу, и все вновь зазеленело. Места, где происходили битвы и кровавые стычки, явились свету тучными нивами и лугами, но, тем не менее, последствия людской жестокости и вражды были еще очень чувствительны и для многих губельны. Множество трупов, валявшихся повсюду, привлекало стаи волков, а также медведей и других хищников. Продолжавшие бродить по лесам и полям остатки великой армии — голодные, больные французы, немцы, поляки и иные — заносили часто смертельные болезни в дома, усадьбы и деревни тех добросердечных людей, которые не могли видеть безучастно страдания ближнего и старались приютить их, накормить и дать им возможность отдохнуть.

Семья Пулавских была одна из самых со-

страдательных к несчастным французам. Госпожа Пулавская продолжала жить в своем поместье. Жили они тихо, часто вздыхая по участи Карла и Алоизия, отправленных на Кавказ простыми рядовыми вместе со всеми их товарищами, императорскими уланами, захваченными в плен генералом Чаплицем. На страдалась семья Пулавских страшно, узнав о поражении блестящего полка Конопки, на страдалась не менее, ожидая, что император Александр велит всех юных уланов расстрелять, как изменников, и затем рада была несказанно, что дело кончилось только ссылкой их на Кавказ.

Немало натерпелись Пулавские страха, когда французских мародеров сменили казаки, которые отчасти имели право смотреть на них, как на своих врагов, хотя начальство и приказывало видеть в них российских подданных. Привыкшие в военное время пользоваться всем отбитым при набегах на неприятеля, казаки позволяли себе зачастую и тут прибегать к праву сильнейшего и не считали грехом грабить поляков и литовцев, называя их изменниками.

По счастью для Пулавских, их племянник Ксаверий, старший брат сосланных на Кавказ Карла и Алоизия, служил артиллерийским поручиком в русских войсках, был контужен, получил бессрочный отпуск и приехал жить в имение к своему дяде. Его мундир и распорядительность спасли от бесцеремонного хозяйничания казаков не только усадьбу Пулавских, но и соседей их. Лишь только Ксаверий узнавал, что где-нибудь поблизости появились казаки, он тотчас надевал свой артиллерийский мундир, вешал орден в петлицу и ехал туда в сопровождении приказчика Корзуна, отличавшегося необыкновенной силой. Нагрянув неожиданно на казаков, Ксаверий грозно требовал от них отчета, по какому поводу они появились тут, и, если они пришли не по воле начальства, приказывал им немедленно уезжать, грозя в противном случае сообщить, кому следует, об их набегах на мирных жителей.

Сам господин Пулавский редко мог приезжать к своим в деревню, так как русское правительство оставило его в прежней должности, и хлопот у него было очень много. Отды-

хая от дел в деревне, он сообщал своим все новости.

— Ну, что Броньский? — как-то спросила его жена.

— Все такой же! — отвечал, махнув рукой, Пулавский. — Он чистый Талейран. Превратился мгновенно из французского подпрефекта в предводителя дворянства и так же горячо восхваляет императора Александра, как прежде превозносил Наполеона Бонапарта. Так же охотно угождает он русским генералам, как угождал маршалам. Мы все его дразним, не пришлет ли ему назад его шубу граф Шварценберг, так как тот сохранил весь свой обоз тем, что, не дождавшись прихода французских войск, отступил в Царство Польское и затем заключил с русскими перемирие.

— А что слышно о Вильне? — поинтересовался Ксаверий.

— Не могут еще до сих пор очистить город от заразы, хотя оставленный императором Александром генерал-адъютант граф Сен-Прист из сил выбивается, чтобы навести порядок в госпиталях. Сошедший снег открыл причины зловония, распространенного в го-

роде. Оказалось, что целые груды трупов были завалены снегом по разным закоулкам города и в особенности — около госпиталей и французских казарм. До сих пор еще находят разложившиеся трупы и закапывают их в больших ямах. Приехавший недавно из Вильно обыватель не может вспомнить без слез о доброте императора и великого князя Константина Павловича в бытность их в этом городе.

— Ну да! — заметил Ксаверий. — Все вспоминают о знаменитом манифесте, в котором он простил всех наших, сражавшихся против русских войск с французами. Государь понял, что поляки и литовцы и так уж наказаны тем, что им пришлось перенести вместе с французскими войсками, и великодушно простил их.

— Нет, не то! Он восхвалял великодушие государя к раненым и больным французам. Император входил в госпитали в самую страшную тифозную заразу, когда воздух до того был пропитан миазмами, что генерал-адъютанты не могли сопровождать его иначе, как только держа у носа платок, про-

питанный одеколоном. У государя на глазах навернулись слезы, когда он увидел, что несчастные больные и раненые валяются на голом полу в нетопленных палатах. Вы не забудьте, что это было в страшные холода; император Александр приехал в Вильно двенадцатого декабря. Его Величество был поражен, что несчастные не имеют даже чистой воды, чтобы утолить жажду, и питаются одними только сухарями. Воздух был заражен испарениями гноя от неперевязанных ран; насекомые и разные нечистоты разъедали тела несчастных. И тут же валялись по нескольку дней трупы умерших их товарищей. Император с великим князем обошел все палаты и распорядился тотчас приступить к очистке их. Они подходили к больным и вселяли своим разговором надежду на хороший исход их недуга. Многие французские генералы и офицеры обязаны им жизнью и скорым выздоровлением, так как по их распоряжению они были переведены в лучшие помещения, и великий князь лично наблюдал за их лечением. Рассказывают, что во время пожара, случившегося в одном из госпиталей, Константин

Павлович вынес на своих плечах одного раненого офицера, а по его примеру камердинер князя таким же образом спас и другого...

— Да, — вздохнула Пулавская, — это не то что Наполеон, дозволивший грабить и бесчинствовать своим войскам в той стране, которую обещал освободить и которая жертвовала всем для него.

— И ты, тетя, платишь добром за зло! — заметил Ксаверий. — Мало ли несчастных бродячих французов получают у тебя кров, пищу и деньги на дорогу.

И точно, госпожа Пулавская не могла видеть этих несчастных с обмороженными лицами или руками и пальцами ног, чуть прикрытых безобразными лохмотьями, и позволяла Грохольскому кормить их и давать им отдохнуть в дальнем от ее усадьбы фольварке [6].

Пока было холодно, она сама не видала зачастую тех, кому помогала, и детям настрого было запрещено заглядывать на фольварк, где они находились. Но когда настала весна, не было никакой возможности удержать Янека, и он нет-нет да и заворачивал во владения

Грохольского и, узнав, что там есть голодные бродяги, выпрашивал для них у панны Чернявской белого хлеба, кофе, сахара и угощал несчастных, давно не видевших подобного лакомства.

Раз Янек вбежал к своей матери, спокойно пересаживавшей цветы в садике, устроенном на заднем дворе дома и обнесенном палисадом.

— Мама, мама! — кричал он. — Мы встретили в лесу двоих французов. Один не может идти, а другой совсем уже без сил и не двигается. Позволь Грохольскому послать лесников, принести больного на фольварк.

Пулавская задумалась. Ее несколько раз предупреждал доктор, что опасно давать приют больным, не зная наверняка, не страдают ли они заразной болезнью.

— Что же ты молчишь, мама? — приставал к ней нетерпеливо Янек, сам видевший страдания несчастного француза.

— Нельзя его переносить на фольварк, — отвечала мать, — пока не осмотрит его доктор.

— Но он умрет в лесу, мама! Подумай толь-

ко, он еле дотащился до нашего имения, и мы дадим ему умереть под дождем... Если бы ты только видела, как он страдает! Ноги у него все истерзаны камнями и сучьями, рука одна отнята, худой, как скелет... Мама, не дай ему умереть в лесу!

Сострадание взяло верх над благоразумием, и госпожа Пулавская позволила перенести больного на фольварк. Но при этом она запретила Янеку туда заглядывать.

— Если только я узнаю, что ты там был, — сказала она сыну строго, — я не позволю тебе сделать и шагу из дома без гувернера.

К вечеру больному стало хуже. Послали бричку за домашним доктором матери господина Броньского, усадьба которой располагалась неподалеку от Пулавских. Приехавший доктор осмотрел больного и объявил, что у него тиф самого заразительного свойства и приказал немедленно принять все меры, чтобы не пострадали окружавшие больного.

Госпожа Пулавская не могла себе простить, что разрешила перенести больного на фольварк, и со страхом раздумывала о всех ужасных последствиях внесенной в дом зара-

зы, долго не могла заснуть. Вдруг у самого ее дома послышался жалобный крик сыча, он точно завывал и плакал. Еще грустнее стало у Пулавской на сердце, и она долго прислушивалась к крику этой ночной птицы, считавшейся у крестьян зловещей.

Наутро пришли сказать ей, что больной умер, но заболел лесник Мартын, прислуживавший больному.

— Боже! Спаси и помилуй нас! — взмолилась Пулавская, заламывая себе руки. — Никогда не прощу я себе этой неосторожности!..

Доктору удалось спасти от смерти Мартына, но с этого времени тиф стал часто появляться в округе, и уносил он многие жертвы.

Янек тоже чувствовал себя виноватым в болезни, перенесенной Мартыном, и с радости, что тот пошел на поправку, подарил ему четыре золотых. Мартын не хотел остаться неблагодарным за такой щедрый подарок паныча и через день явился к нему с молодым филином, только недавно оперившимся.

Янек был в восторге от полученного подарка, не мог он налюбоваться на свое страшилище и нянчился с филином, как с каким-ни-

будь сокровищем.

Госпожа Пулавская приказала тому же Мартыну подрезать крылья Бубо, как назвал Янек филина, и устроить ему клетку в палисаднике на дальнем дворе дома, обставить ее елками и прикрыть сверху соломой, чтобы яркий свет не слепил ему глаза и чтобы не тревожили его днем мелкие птицы, нападающие обыкновенно на ночных хищников, зная, что они ничего не видят при ярком солнце.

Бубо быстро освоился со всем его окружающим и стал вскоре до того ручным, что можно было по вечерам отпускать его гулять на свободе. Лишь только, бывало, выпустит Янек его из клетки, он тотчас же отправляется в рожь, целые поля которой начинались сразу же за цветником и тянулись до самой лесной опушки; целыми ночами он охотился во ржи за полевыми мышами и только на рассвете возвращался в свою клетку.

Все в доме любили Бубо, и даже панна Чернявская, считавшая всех ночных птиц зловецами, относилась к всеобщему баловню довольно благосклонно.

Миновал месяц. Тиф на фольварке все еще не прекращался, зачастую унося заболевших в могилу, и каждый раз, как должен был умереть кто-нибудь, в ночи раздавался неприятный плач сыча, появление которого у дома не мог объяснить даже сам человек науки, доктор, так как птица эта не питается падалью, а мышами, лягушками, ящерицами и крупными насекомыми, и запах умирающего не мог привлекать ее к жилью, где тот находился.

Однажды вечером все сидели на крыльце, выходящем в сад, и пили чай. Панна Чернявская имела вид грустный и чем-то озабоченный. Вдруг раздался снова неприятный крик сыча.

— Ох, этот проклятый! Опять заголосил! — сказала с досадой Чернявская. — Всегда какую-нибудь беду накликает! Недаром говорит поверье, что крик его не к добру. Как кому умереть — так и начинает он плакать...

— Полноте, панна Чернявская! — остановила экономку хозяйка дома. — Как вам не совестно верить в такие предрассудки!

— Как хотите, сударыня, а не я одна заметила, что как начнет он кричать, так больной

непрерывно умирает. Я уверена, что бедному Корзуну несдобровать.

— Разве и он заболел? — встревожилась госпожа Пулавская.

— Как же! Слег с третьего дня. Мы не хотели говорить вам об этом. Знаем все, как вы им дорожите... Уж и точно жаль малого — такой здоровенный и прекрасный работник.

Последние слова Чернявской были заглушены неистовым лаем цепных собак, бросившихся по направлению к воротам.

— Кого это Бог нам послал? — сказала госпожа Пулавская, обращаясь к сестре, все еще гостившей у нее с обеими своими дочерьми.

— Кто может явиться в такую позднюю пору, как не ночные рыцари! — заметила не без досады Чернявская. — Они одни бродят тут по ночам, только по звездам и находят дорогу...

И точно — в воротах показались трое оборванных, грязных французов.

— Дайте им хлеба! — приказала хозяйка дома экономке.

— Да вот еще по злотому на дорогу! — добавила госпожа Хольская, доставая кошелек.

— Балуйте вы их, пани! Еще, пожалуй, мы

с ними беды опять наживем. Теперь приказано строго: не давать приюта французам и доставлять их в Слоним.

— Я их не оставлю у себя! — заверила Пулавская. — А помочь им надо!

Пока шел этот разговор, французы подошли к крыльцу и умоляли позволить им отдохнуть.

— Не в силах мы идти далее! — говорили они. — Нош все в ранах, голова болит и кружится от усталости и голода.

— Вас запрещено принимать! — отвечала госпожа Пулавская, скрепя сердце.

Один из троих, самый молодой, поднял свои руки, едва прикрытые лохмотьями, и указал на худобу их. Это был чистейший скелет, обтянутый кожей.

— Не принимайте их! — сказал Ксаверий тетке. — Куда мы их поместим? Помните, на фольварке лежит Корзун в тифе?

— Не дайте погибнуть человеку от истощения! — говорил между тем несчастный. — Я уже не в силах идти далее. Я умру тут — подле вашего дома... А меня ждут мои... У меня отец и мать... невеста... Сжальтесь!

И он весь задрожал от внутренних рыданий. Пулавская не выдержала и позволила французам отдохнуть несколько дней в сарае, служившем некогда для выделки кирпичей.

Янек вызвался тотчас же отвести их в этот сарай, находившийся за полями около леса, но мать не разрешила ему это и, призвав управляющего, поручила ему устроить в сарае все для пришельцев и предупредила их, что в случае какой-нибудь надобности они должны в указанном месте бить в доску, чтобы вызвать к себе кого-нибудь из усадьбы.

Панна Чернявская дала им съестного на два дня, а управляющий сам отвел их прямо от цветника по меже в сарай и оставил им ружье, пороха и пуль, чтобы они могли защититься от медведей, приходявших лакомиться медом, малиной и овсом. По пути в сарай была небольшая полянка, он указал им на нее и, подав доску и палку, показал, что именно в этом месте надо и стучать в нее.

Прошло более двух дней. Французы не подавали условного знака, и о них уже стали в доме забывать, как на третий день поздно вечером раздалась на полянке усиленная трес-

котня — это колотили в доску. Ксаверий Пулявский собрался идти узнать, что понадобилось французам, а Янек вызвался отнести им корзину со съестным, приготовленную наскоро панной Чернявской.

Двоюродные братья быстро прошли межой к полянке и нашли французов, возившихся втроем около чего-то темного, бившегося на земле. Стемнело уже, и трудно было рассмотреть, что это за животное. «Неужели медведь?» — подумал Янек с любопытством и хотел подойти ближе к убитому, но один из французов загородил собой животное и обратился к Янеку со следующей речью:

— Наконец мы нашли случай отблагодарить вас за вашу доброту к нам. Мы вас избавили от страшного чудовища, скрывавшегося у вас во ржи. Вот оно!..

И он отстранился, указав на все еще трепетавшее животное. Увидав его, Янек вскрикнул и расплакался. Это был Бубо, избитый палками, бившийся в предсмертных судорогах.

Не сказав ни слова, Янек бросил корзину с провизией на землю, схватил на руки бедную

птицу и пустился с нею домой.

Домашние приняли большое участие в его горе и старались всеми возможными средствами спасти несчастную птицу. Они опрыскивали ей голову водой и вином, вливали ей в клюв валериановые капли, но ничего не помогло, и бедный Бубо испустил свой последний вздох на руках у Янека, печально глядя на него круглыми, желтыми, словно гиацинты, глазами.

Янек долго плакал над мертвым любимцем и в своем горе объявил, что ни за что не станет более ходить к этим злым французам, убившим его милого Бубо. Как ни уговаривали его старшие, что бедняги вовсе не желали сделать ему неприятное, а напротив, думали услужить, убив филина, так как они не имеют понятия о естественных науках и не знают, что филины не вредят хлебным растениям, а приносят пользу, уничтожая полевых мышей, но Янек никак не мог простить им смерти своего любимца и отказывался наотрез выслушивать их извинения.

Прошли еще два дня, французы не уходили, и к вечеру снова раздался призывный

стук в доску. На этот раз Ксаверий пошел к ним один.

— Пора бы вам и в путь! — напомнил он французам. — Вот уже пять дней, как вы здесь.

— Не можем! — отвечали они. — Вот видите, заболел наш товарищ Ксавье, — указали они на красноречивого оратора, с таким пафосом рассказывавшего Янеку об убитом ими «чудовище»; впалые щеки его были покрыты ярким, болезненным румянцем, всклокоченные волосы торчали неряшливыми космами; он лежал неподвижно на спине, закрыв глаза и вытянув руки.

— Ну, что там случилось с моим тезкой? — сказал Ксаверий, наклонясь к нему и дотрагиваясь до его лба.

Лоб у больного горел, хотя он трясся в ознобе.

— Нужно уложить его в постель! — сказал Пулавский, отдернув в испуге руку от Ксавье. — Я сейчас пришлю работника помочь вам отнести его...

Мартын, явившийся через полчаса, чтобы помочь французам перетащить на фольварк

их больного товарища, нашел только одного Ксавье, лежавшего без помощи в сарае на соломе. Больной старался что-то объяснить ему, указывая на дверь и на себя, обводя рукой вокруг своего исхудавшего стана и хватаясь за голову и грудь, но Мартын, разумеется, ничего не понял из его слов и жестов, и скорее отнес, чем отвел больного на фольварк к Грохольскому и уложил его на постель умершего Корзуна.

Между тем Ксаверий Пулавский, вернувшись в дом, застал там гостей. Явился совершенно неожиданно какой-то французский граф с сыном, имени которого хозяйка дома не запомнила сразу. Они оба были прекрасно одеты и приехали в дорожной карете, запряженной четверкой. Молодой граф объяснил, что их понесли с горы лошади, карета опрокинулась, и его отец ушиб себе раненое плечо. Опасаясь дурных последствий для старика, еще не вполне оправившегося от раны, он старался разузнать, нет ли поблизости какого-нибудь доктора. Ему указали на усадьбу госпожи Броньской, но оказалось, что ее доктор был отозван в усадьбу госпожи Пулав-

ской, а оттуда должен был проехать еще далее к больному помещику, и неизвестно, когда он вернется оттуда обратно. Эти сведения заставили их решиться беспокоить госпожу Пулавскую столь поздним визитом, в чем они и просили у нее извинения.

— Доктор находится в настоящее время на фольварке, — сказал им Ксаверий Пулавский.

— Что же он там делает? — удивилась Пулавская. — Ведь Корзун умер.

— Заболел один из французов, принятых вами, тетя!

— В таком случае можно позвать доктора сюда! — заметила хозяйка дома.

— Мы поедем на хутор! — оживился молодой граф. — И я вызову доктора взглянуть на ушиб моего отца.

— А вы не боитесь заразы? — спросил его шепотом Ксаверий. — У нас на фольварке многие умирают от тифа.

— Кто пережил в России двенадцатый год, тому никакая смерть более не страшна! — сказал молодой граф с грустью. — Отца я не допущу войти к больному, — добавил он, поразмыслив. — А вызову доктора к карете.

Кстати, мне хочется взглянуть и на больного. Может быть, он мне знаком.

— Это простой солдат! — сказал Пулавский. — По остаткам его мундира видно, что он служил в кавалерии.

— Тем более! — воскликнул граф. — Я сам тоже служил в кавалерии.

Старый граф и его сын простились с хозяйкой и ее семейством и направились прямо в фольварк. Ксаверий Пулавский велел оседлать себе лошадь и поехал следом за ними.

Когда молодой граф вошел во вторую комнату фольварка, он нашел доктора и Грохольского, хлопотавших у постели, на которой лежал больной.

— Мои деньги! Мои драгоценности! — кричал хрипло больной. — Они унесли все... Догоните их, отнимите у них мой кошелек!.. Они меня ограбили... ограбили бессильного, больного и бросили!..

Молодой граф подошел к постели больного и невольно воскликнул:

— Бедный Ксавье Арман!..

— Кто это? — прошептал больной, силясь приподняться. — Это Этьен!.. — закричал он

вдруг неистово. — Прочь, прочь, ужасный призрак! Уйди!.. Я еще не умираю... уйди... не мучь меня!..

— Успокойся, товарищ! — сказал ласково молодой граф Санси де-Буврейль. — Перед тобой не призрак, а живой человек.

— Вы знаете этого больного? — спросил доктор.

— Он служил в одном взводе со мной, — ответил молодой граф.

— Отчего же он так испугался, увидев вас? — удивился доктор, недоверчиво глядя на графа, которого солдат назвал просто Этьеном.

— Это длинная история, господин доктор! — уклонился от прямого ответа граф. — Одно могу сказать вам, что больной немного виноват передо мной. Но я давно простил ему то зло, которое он хотел мне причинить.

— Простить того, кто обрек тебя на явную смерть!.. — шептал снова больной в бреду. — Это невозможно!.. Он пришел убить меня, да, убить, как собаку... не допускайте его ко мне, он жестоко отомстит мне!..

Из несвязного бреда больного все-таки

можно было понять, что он сильно виноват в чем-то перед молодым графом, и доктор постарался своим вниманием загладить то недоверие, которое он вначале невольно дал тому почувствовать.

— Я приехал просить вас, — обратился к доктору молодой граф, обменявшись с ним несколькими любезностями, — взглянуть на моего отца. Он был ранен в плечо и сегодня ушиб его, когда карету нашу опрокинули лошади.

— Весь к вашим услугам! — сказал доктор. — Но не могу оставить больного. Грохольский один не справится с ним.

— Я тут побуду и помогу ему.

— Но вы, граф, сами можете заразиться. Он в тифе.

— А-а!.. Тиф!.. — закричал снова больной. — Я умираю... Этьен умер и пришел за мной... Пощади меня!.. Мне бы только увидеть мою Розу... только разок увидеть ее... я ей нес дорогие серьги, бриллиантовое кольцо и много, много золота... они все отняли у меня, все... Вот так товарищи... отнять все и бросить одного... А я сам-то! Я тоже бросил со зло-

радством... беспомощного... раненого... Он умер... и вот его призрак стоит тут... Ужасный призрак, пощади!..

Как ни уговаривал Этьен метавшегося в жару Ксавье, как ни старался его успокоить, совесть Ксавье упрекала так сильно, что он все более и более путал действительность с воображаемым. То ему виделось, что он грабит дом богатого московского купца, снимает кольца с холодеющих от страха пальцев жены его, вынимает деньги из шкафа и пересчитывает их. То ему казалось, что он переправляется через Березину, льдины напирают на его лошадь, он борется с ними, и его всего обдает брызгами холодной воды...

В эту минуту вошел Ксаверий Пулавский.

— По словам доктора, — сказал он молодому графу, — вашему отцу необходим отдых, и моя тетка предлагает вам переночевать в ее усадьбе. Там уж приготовлено для вас помещение — комнаты, отведенные для гостей.

— Я вам весьма благодарен! — ответил Этьен, пожимая руку Ксаверию. — И с радостью принимаю гостеприимное приглашение вашей тетушки. Я так беспокоюсь за отца. Он

только недавно оправился от раны и вот снова разбередил себе больное плечо.

— Кто это? — закричал снова больной, увидев Ксаверия Пулавского. — Это Ру? Да, это он!.. Ну чего же ты-то пришел? Я тебя толкнул при переправе... ты полетел вниз головой в воду... но я и сам чуть не утонул... Да, да! Я на силу выплыл, и лошадь тут же, на берегу, пала... О, как болят ноги! Оно и понятно: ходить в такую даль!.. Всюду казаки так вот и стараются тебя поймать... Нет, не добрались они до моего кошелька!.. А ведь хорошо придумал, право!.. Кошелек-пояс! Ха-ха-ха-ха! Немножко стер он мне правый бок, но это не беда!.. Дойду до своих, непременно дотащусь!.. И принесу им много, много золота... Отдайте мне мое золото!

И он, как бешеный, вскочил с кровати, кинулся на Грохольского и, схватив его за горло, чуть не задушил беднягу.

Описанный прилив неестественной силы очень скоро сменился полнейшим бессилием, и, когда больного положили на постель, он лежал пластом и едва дышал.

Грохольский, привыкший ходить за тифоз-

ными, взял губку и смочил уксусом виски и шею больного, промочил водой его запекшиеся от сильного жара губы и положил на голову ледяной компресс.

— Уйдемте! — предложил Пулавский. — Мы тут ничем не поможем, а рискуем заразиться тифом.

И он силой увел Этьена из комнаты.

— Вот вам уксус! — сказал он в сенях, подавая Этьену флакон. — Оботрите себе руки и опрыскайте платье. С этим шутить не следует. Помните, вы поедете в одной карете с вашим больным отцом.

Вскоре они все были снова в усадьбе Пулавских. Этьену и его отцу отвели две весьма удобные комнаты. Молодой человек, несмотря на удобство, долго не мог уснуть. Ему было сердечно жаль Ксавье, да к тому же и сыч все жалобно кричал по его окном и еще более расстраивал его нервы своим неприятным криком...

Ночью легонько постучались в его дверь.

— Войдите! — сказал поспешно Этьен, предчувствуя, что Ксавье стало хуже.

— Больной хочет проститься с вами! —

сказал Ксаверий Пулавский, приотворив дверь. — Он умирает.

Этьен наскоро оделся и вышел. У крыльца ждали две верховые лошади.

Молодые люди, вскочив на них, направились к фольварку. По дороге они разговорились, и Этьен в нескольких словах рассказал о своем походе в Россию в числе рядовых, так как он видел, что Пулавский никак не может сообразить, отчего больной не признает старого знакомого графом и называет его просто Этьеном Ранже.

Когда они вошли на фольварк, Ксавье лежал неподвижно. Он был бледный как смерть.

— Прости, товарищ! — сказал он, протягивая Этьену руку. — Очень я виноват перед тобой. Завидовал тебе, не мог смириться с твоим превосходством. Если бы ты знал, какое это ужасное чувство — зависть, — то пожалел бы меня. Чувствуешь свое ничтожество, стараешься унижить других, чтобы самому показаться лучше, а в душе-то сознаешь, что те, на которых клеветешь, много выше тебя... И чем больше зла причиняешь другому, тем га-

же становишься сам себе, тем больше тебе злобы ко всем и тем сильнее завидуешь... Прости мне, я более не в силах вредить никому... Приедешь в Нанси, не рассказывай нашим о моих поступках. Скажи им: я любил их всех... хотел принести им много денег, чтобы семья наша стала богаче всех, чтобы Роза ходила всех наряднее... Ничего не исполнилось, умираю без гроша, все с меня сняли шедшие со мною товарищи и бросили меня больного в сарае. Неужто это наказание мне!.. Вот ты вернешься домой полковником. Говорят, ты граф и богач!..

— Успокойся, Ксавье! — остановил его Этьен. — Я не останусь в нашем городе и не стану рассказывать ничего дурного о тебе. Я нашел своего отца, он точно граф, и мы уедем в наши поместья.

— И не будешь в нашем городе?

— Я заеду в Нанси, чтобы забрать стариков Ранже. Они заменили мне в детстве родителей.

— Граф, богач! — воскликнул Ксавье с досадой. — И при этом честен и добр, и великодушен! А я-то, я!..

И Ксавье тут зарыдал.

— Полно, друг! — успокаивал его Этьен. — Перед Богом мы все равны. Положим, один из нас лучше другого, но перед Божьей чистотой и правдой мы все нечисты, и всем нам приходится прибегать к Его милости, просить Его помощи, чтобы хоть сколько-нибудь стать лучше и чище... Помолимся вместе! Поверь, мы немногим лучше один другого в сравнении с тем, чем мы должны быть, если бы подражали во всем Спасителю нашему.

И Этьен, став на колени возле кровати умирающего, долго молился.

— Спасибо тебе!.. — сказал Ксавье. — Ты помог мне примириться с небом. Теперь я умру спокойно!..

Он взял Этьена за руку и хотел пожать ее, но вдруг вытянулся, тяжело вздохнул, еще потянулся и замер.

Этьен вскоре почувствовал, что рука несчастного расслабилась.

Ксавье умер.



Заключение



а стал чудесный месяц июль. Семья Краевых снова сидела в садике, но тот был больше похож на цветник, чем на прежний густо разросшийся сад. Все фруктовые деревья, ягодные кусты, липы сгорели во время московского пожара, и сад был снова распланирован самим Краевым, охотно трудившимся на чистом воздухе после своих хлопотных визитов к больным и надзора за рабочими, которые отделявали каменный дом Тучковой, сильно пострадавший от огня. Деревянный флигель, в котором жили Краевы, сгорел дотла, и они поместились в той части каменного дома, которая сохранилась более других.

Бабушка сидела в беседке из акаций, подле нее помещалась Анисья Федоровна Замшина. Самовар был принесен той же неуклюжей Палашкой, и Анюта заботливо разливала чай.

Возле Анюты сидел отец ее, задумчиво по-

куривая трубку с длинным чубуком. Он сильно поседел, выражение лица было грустное, но видно было, что он не утратил обычных своих энергии и сообразительности: лицо его наполнилось жизнью и мыслью.

— Везет этим Роевым! — говорила Замшина. — Я слышала, они целое состояние этим бузуном[7] нажили, ведь задаром его скупили, а теперь так вот и тискается к ним простой народ — находят, что бузун выгоднее негорелой соли. Неужто правда?..

— От огня больше воды из соли испарилось, — заметила Анюта.

— Ну вот поди ж! Не додумалась до этого раньше, продали за бесценок... Да тут как хотите, дело не без греха!

— Что вы это, голубушка Анисья Федоровна! — прервала ее бабушка Краева. — Дело чистехонькое. Велено было продать горевшую соль, как никуда не годную, по самой низкой цене. Григорий Григорьевич и пошел на риск, купил ее всю пополам с сыном, а теперь они в страшных барышах!..

— Знал, небось, старый хитрец, — продолжила Замшина, — что бузун не хуже обыкно-

венной соли.

— И того не знал наверное, — вмешался в разговор Краев, выпуская из губ длинный чубук свой. — Молодой Санси доказывал только, что соль от огня не может потерять своего достоинства, и те, кто неприхотлив и переносит запах гари, еще охотнее станут покупать ее, так как она стала только солонее вследствие того, что из нее испарилась вода, и на вес соль стала легче.

— Ишь, хитрый француз! Даром, что молод, а претолковый!

— Да, славный малый! — похвалил Этьена доктор Краев.

— А что, нет ли о нем каких известий? — полюбопытствовала Замшина.

— Нет. Написал только из Вязьмы и замолчал. Более мы писем от него не получали.

— Как видно, забыл ваши ласки! — прищурилась Замшина.

— Нечего особенно и помнить! — сказала просто бабушка Краева. — Сделали для них то, что сделали бы для любого человека.

— Но я уверена, — добавила Аня, — что старик Санси о нас не забудет, что любит он

нас по-прежнему.

— Вы о Санси, и мы о нем! — сказала весело Прасковья Никитична Роева, вошедшая быстро в сад. — Несу вам целый короб приветствий от отца и от сына.

— Как так? — поразилась бабушка Краева.

— Получили мы письмо от тетушки и Ольги. Проездом через Смоленск отец и сын Санси гостили у них.

— Как чувствует себя старик? — спросила Аня с живостью.

— Совсем молодцом. Ольга пишет, что сын ухаживает за ним так заботливо, что она и надивиться не может.

— Что же это вы одна, Прасковья Никитична? — спросил Краев.

— Наши все к вам собрались, — отвечала та. — Меня вперед послали узнать, дома ли вы. А я вот заболталась... побегу скорее к ним...

— Я сам пойду с вами встречать дорогих гостей! — сказал Краев, быстро поднимаясь со своего места.

— Иди, иди, Никанор Алексеевич, — поторопила Марья Прохоровна. — Веди их скорее

сюда.

Вскоре бабушка Краева хлопотала, рассаживая как можно удобнее милых для нее гостей, и угощала их всем, что было у нее лучшего.

— Ну, что Глафира Петровна? — спросила она старушку Роеву.

— Ничего, нянчится с внуком и немного смирилась с мыслью, что Павлуша поступил в гусарский полк и ушел с армией за границу. Как тут удержать молодежь! — добавила старушка Роева, взглянув искоса на больную ногу своего сына.

Николай Григорьевич все еще прихрамывал на раненую ногу и не мог ходить без помощи палки.

— Как здоровье Ольги Владимировны?

— Хорошо, и видно из ее письма к Пашеньке, что она спокойнее и веселее с тех пор, как возится со своим малюткой-сыном. Разумеется, ее сильно тревожит отсутствие мужа. И точно, кто поручится, что его не убьют.

— А где он находится?

— Со своей армией. А та все еще стоит на Одере. Митя писал, что девятого мая было

сильное у них сражение при Бауцене. Наполеон взял-таки верх над нашими войсками.

— А где император?

— Государь постоянно находится при войске.

— Правда ли, что главнокомандующий Кутузов скончался? — спросила Замшина.

— Он скончался еще в апреле в Бунцлау. Начальство над войсками принял Витгенштейн.

— Помоги им, Господи, одолеть изверга! — перекрестилась Замшина. — Помните, сколько этот кровопийца людей погубил! А наша Москва, Москва-то!.. До сих пор ведь не можем оправиться после такого погрома. Вот хотя бы мы! Живем, словно на бивуаках. Флигелек пришлось построить себе крохотный, а когда выстрою вновь каменный дом, о том и помину у нас еще нет! Разорил, окаянный, всех как есть разорил!

— Слава Богу, что Кремль-то отстраивают! — заметил Роев. — Да как хорошо! всю старину сохранили нетронутой, словно обновили только... А вот Бог даст, вся Москва построится, лучше прежнего будет, улицы ши-

ре, дома красивее, ветхих избенок не увидишь!

— А в Смоленске-то какой погром был, не лучше нашего! — вспомнила старушка Роева. — Весь город разорили французы. Больше трех месяцев вывозили возами мертвые тела, валявшиеся по улицам. Сестра Глаша пишет: когда войска наши поставили на прежнее место, над городскими воротами, икону Смоленской Божьей Матери, смоляне возрадовались не меньше нас, москвичей, когда к нам привезли икону Иверской Божьей Матери. Смоленская икона находилась три месяца при нашей армии, и когда во время благодарственного молебна в Смоленске читали Евангелие, где сказано о Божьей Матери: *Пребысть же Мариама с нею яко три месяца, возвратися в дом свой*, все зарыдали, находя в этом как бы указание на событие со Смоленской иконой, и все с особенным благоговением упали на колени, прося Заступницу не покидать их.

— Да! — вздохнула старушка Краева. — Все мы натерпелись и настрадались вдоволь. Но зато теперь отдыхаем от перенесенных бед. А сколько несчастных оплакивают до сих пор

потерю своих близких и никогда не утешатся, не успокоятся. Вот хотя бы бедная Маргарита Михайловна Тучкова. Жизнь ее разбита, и ей остается жить только прошлым. Хорошо еще, что у нее есть сын. Любовь к нему ее поддерживает, и заботы о ребенке отвлекают ее от ужасных воспоминаний о страшной кончине любимого супруга.

— Может быть, теперь она немного успокоилась, — заметил Краев. — А прежде она доходила до помешательства. И мудро ли?.. Какой ужас присутствовать при том, как сжигали трупы на Бородинском поле. От этого можно лишиться рассудка!..

— Разве она там была? — спросила Прасковья Никитична.

— Она тогда все еще отыскивала тело своего мужа и при смраде горевших грудями тел служила о нем панихиду. Через некоторое время она получила от генерала Коновницына подробное указание и план того места, где был ранен и убит ее муж.

— Я слышала от француженки Бувье, — сказала Анюта, — что Маргарите Михайловне приходило иногда в голову, будто муж ее не

убит, а взят в плен. Раз она вообразила, что он бродит вокруг их дома, и побежала в темную октябрьскую ночь, в кисейном платье, одна, отыскивать его.

— Несчастливая!

— Как же она теперь живет, бедная? — спросила с участием Прасковья Никитична.

— Она живет совершенной отшельницей. Построила себе маленькую сторожку на Бородинском поле недалеко от того места, где был убит ее муж, и живет в ней с сыном и его няней Бувье. Говорят, она хочет строить там церковь над прахом любимого человека, останки которого не смогла даже найти...

— Это ужасно! — воскликнула молодая Роева, закрыв лицо руками, словно отгоняя от себя темный призрак кровавой Бородинской битвы.

— А что мать Тучковых? — спросила Анна Николаевна.

— Она ослепла в ту самую минуту, как узнала о своем несчастье. Вы знаете, Санси не доехал до ее поместья; она жила в Тверской губернии, а он по пути встретил Маргариту Михайловну, узнал от нее о своем сыне и по-

спешил вернуться в Москву, чтобы отыскивать его. В это время Николай Алексеевич умер от ран в Ярославле, в монастыре, где поместили его на время. Старший сын Тучковой, Алексей Алексеевич, похоронив брата, приехал к матери и решил разом сказать ей о всех потерях. Когда он вошел и стал ей говорить, что Николай Алексеевич тяжело ранен, она спросила: «Умер?». — «Да, скончался!» — ответили ей. «А Павел?» — спросила она. «Взят в плен под Смоленском». — «Александр?» — «Убит под Бородиным...» Она не заплакала, не охнула, а хотела уйти, вероятно, чтобы помолиться наедине, но силы ей изменили, она опустилась со стула на колени и тихо прошептала: «Да будет воля Твоя!». Затем она провела руками вокруг себя: «Поднимите меня, я ничего не вижу...» С ней сделался удар, и она потеряла зрение. Маргарита Михайловна привозила к ней своего Кокошу. Старушка посадит его к себе на колени, обнимает, целует и не видит, как мальчик похож на ее сына...

— Это ужасно! — передернула плечами старушка Роева, живо представив себе, како-

во ей было бы не видеть милых личиков своих внуков.

Все замолчали, подавленные горем многоуважаемой старушки Елены Яковлевны Тучковой.

— А знаете что! — сказал вдруг Роев, стараясь отвлечь мысли всех от грустных представлений и воспоминаний. — Сегодня ровно годовщина тому вечеру, как мы узнали о переходе наполеоновых войск через Неман.

— Ах, да, да! — воскликнула радостно Анюта. — Мы вот так же сидели в саду за вечерним чаем, когда господин Санси пришел нам сказать об этом.

— А вы еще тогда над нами подсмеивались! — напомнила Замшина Роеву. — А мы все перенесли более, чем могло представить самое пылкое воображение нас, женщин.

— Да, да, припоминаю, — задумчиво протянул Роев. — Чего только не перенесла Россия за этот год. Вспомнить страшно!

— И все перенеслось и перетерпелось, — покачала головой бабушка Краева. — Господь посылает вместе с испытанием и силы, чтоб перенести его.

— Как грозная туча, нагрянул на нас Наполеон со своими полчищами, — сказал Роев. — И, как от тучи, не осталось от них и следа. От грозы воздух очищается; пусть и эта вражья гроза, заставит нас вострепнуться и полюбить еще сильнее свое отечество.



Примечания

Шуанами называли сторонников короля, сражавшихся во время Великой французской революции с республиканцами; они вели партизанскую войну.

[^^^]

Мой грех (*лат.*).

[^^^]

Впоследствии — Двинск.

[^^^]

4

Так называют москвичи четвертый и пятый холмы из семи холмов, на которых построена Москва.

[^^^]

Кто идет? (Франц.).

[^^^]

6

Фольварком называется в Польше и Литве хутор.

[^^^]

7

Бузуном называли сторовшую соль.

[^^^]